НЁМАН

3/2011
МАРТ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

Первый заместитель директора — главный редактор
Алесь БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонской*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *Т. С. Чуйковой*

Подписано к печати 3.03.2011 г. Формат 70×108 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 18,2. Тираж 3576. Заказ 560.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»



ВИКТОР ГОРДЕЙ

Бедна басота

Роман

Часть первая

1

Старый занудливый бобер каким-то шестым чувством отыскал это чудесное болотце посреди густого смешанного леса и осенью, еще по чернотропу, задолго до первого снега, привел сюда, в глухие дебри, молодую и на диво бестолковую бобриху. Несколько лет, едва ли не с рождения, хитрый и осторожный ловелас с жирно лоснящейся, почти черной шерстью жил за пять верст отсюда — на заросшей ивняком и олешником петляющей речке Кудаха и имел там в конце широкой затоки высокую двухэтажную хатку, крепко сложенную из хвороста и старательно обмазанную со всех сторон глиной и речным илом, чтобы зимой в ней не гуляли сквозняки. На беду, последнее лето выдалось засушливым и знойным, Кудаха обмелела так, что бобровое жилище оказалось на суше, далеко от воды. Встревоженные затяжной жарой, когда в затоке исчезли даже белые кувшинки, трудолюбивый бобер прекратил подгрызать деревья и, опершись на плоский чешуйчатый хвост, подолгу просиживал в кустах, словно молил своего звериного бога, чтобы тот послал хотя бы каплю дождя.

Молчаливая молитва, видно, была услышана, потому что к осени и в самом деле пошли частые ливни, которые успели до холодов оживить выгоревшую траву на берегах лесной реки. Кудаха разлилась, словно в весенние паводки, высокая вода затопила кормовые норы, закрыла входы в хатку и совсем уже неожиданно до основания разрушила крепкую запруду в другом конце затоки. В побуревшем ольшанике забулькал оживший в непогодь ручей, бежавший от большого и шумного людского селения, и вот как раз он, этот безымянный ручей, добавил бобровой паре и семейных забот, и неожиданных хлопот. Вместе с тем, когда в кустах послышалось не по-осеннему веселое булькание, вся затока покрылась цветными разводами, вода насквозь протухла неизвестно какой гадостью, а когда молодая да к тому же очень игривая бобриха неосмотрительно поплавала вдоль берега, то пушистая, светло-бурая шуба на ней стала непристойно свалявшейся и грязной. Старый бобер понимал, что эти мазутные пятна в Кудаху пригнало из близкого селения, и еще бобру было удивительно: зачем людям понадобилось изгадить такой звонкоструйный и всегда чистый ручей.

В затоке после слякотных дождей хватило бы корма на всю долгую зиму: вдоль берегов покачивал раскидистыми метелками пожелтевший тростник,

---

Журнальный вариант.

густо рассыпались по воде высокая осока и камыш, но беда в том, что корни растений тоже стали вонять мерзким, прежде незнакомым запахом, поэтому о зимних запасах нельзя было и думать, а строить новую запруду вовсе перехотелось. Охваченный тревогой, хозяин горемычной хатки начал искать какого-нибудь спасения от неожиданной беды, и нервы у него окончательно сдали, когда непоседливая бобриха вернулась однажды из подводного плавания измазанная мазутом, вонючая, сама не своя от того, что нежная шерстка на ней оказалась местами свалявшейся, а кое-где просто сбитой в колтун. Как только стемнело, злой как черт, нервничающий бобер повел неразумную своевольницу подальше от проклятой затоки, и, чуя где-то за людским селением чистую воду, пошел вдоль гнилого ручья вверх по течению.

Не с бобровыми короткими лапами, да еще в сплошной тьме, шлепать по грязи, перелезать через кочки, тыкаться мордами в колючие заросли можжевельника, однако за ночь лесные грызуны перешли болотистый луг, уже в самом селении вплавь одолели большой пруд и на рассвете оказались в смолистом боровом лесу. По обе стороны ручья потянулась длинная песчаная гряда, сплошь увитая ветвистым зеленым вереском с бледно-лиловыми цветами, а когда за раскидистыми елями спасительно заблестела в белом березняке широкая полоса воды, тут, пожалуй, не только бобер порадовался бы собственной сообразительности и опыту.

На широкой болотине с высокими кочками, пожухлыми дернинами осоки и небольшими березовыми островками выбившимся из сил приблудам пришлась по душе дремотная лесная тишина, множество глубоких ям, залитых студеной и, главное, чистой водой. Внимательно и придирчиво осмотрев Имшечек, бобры начали устраивать себе хоть какое-нибудь жилище, потому что зима была на носу, а построить пристойную хатку времени уже не хватало. Новоселам еще повезло, что к болотине с одной стороны подступал пригорок с крутым обрывом. Над ямой, в которой когда-то брали торф, низко свисали узловатые, толстые корни елей, и вот здесь, под обрывом, закипела ночная работа. Для старого бобра строить жилье всегда было самым приятным занятием, и надо сказать, обладая несомненным божьим даром, в этом он знал толк. На удивление, и легкомысленная бобриха, не так боясь строгого окрика, как близких холодов, помогала сколько было силы, и скоро на песчаном берегу, под обвисшими корнями деревьев, работящая семья имела уютное и теплое жилье, устланное сухой травой.

Вдоль всего обрыва, но уже ниже уровня воды, бобры выкопали коблы — просторные норы и отнорки, в которых можно спрятаться от волчьих зубов и запасти кое-что на зиму. Тростника, осоки, рогоза на лесной болотине росло много, может, даже больше, чем на Кудахе, и, напаковав коблы корнями съедобных растений, новоселы с легкой душой стали ждать первого снега, потому что теперь их уже не пугали ни трескучие морозы, ни лютые метели.

Сообразительный и неленивый бобер не зря торопился обжить песчаный обрыв: едва были проложены под водой запасные норы и выходы, как края болотца заковал лед, а старые ели на пригорке стали мохнатыми от сыпучего и пушистого инея. Пришла суровая зима, но теперь, когда быт в основном был устроен, переселенцев не очень беспокоил завтрашний день. Греясь в норе под теплым бочком своего хозяина, вертлявая бобриха, может, жалела только о том, что из сухих веток и стружек сделала ему не такую мягкую постель, какой он заслуживал.

На берег, чтобы осмотреть белые заснеженные окрестности, зверьки выбирались редко. Одев их в достойные шубы, природа почему-то ничем не прикрыла голые носы, лапы и хвосты, поэтому на холоде легко было обморо-

зиться. Опять же, по утренней пороше стало опасно оставлять свежие следы. Целомудренная тишина, что поначалу завораживала, с приходом зимы была сразу нарушена. Бобры, направляясь сюда с далекой Кудахи, безусловно не знали, что такое болото, встреченное в смешанном лесу, лежит как раз между соседними деревнями — Круговичами и Малым Селом. Первое селение они видели вблизи, когда ночью пробирались вдоль гнилого ручья, а о другом, на свою беду, не имели даже представления.

Между тем концевые хаты Малого Села, а правильнее сказать — хутора, начинаются недалеко от Имшечка, за неширoким березовым перелеском с доброй добавкой молодого рябинника и черемухи среди густого и рослого, человеку по пояс, папоротника. Старый лес по обе стороны от этого красивого места полукругом охватывает высокую гору, которую, возможно, давным-давно вздыбил здесь скандинавский ледник, оставив на память о себе тьму больших и малых камней. В центре возвышенности, на самой ее маковке, с незапамятных времен насыпаны крутые надмогильные курганы, и много их, может, десятка два, заросших посивевшим орешником. Говорят, в курганах нашли упокоение далекие предки здешних полешуков, а по другой легенде — будто похоронены здесь храбрые шведские солдаты. Среди малосельцев из поколения в поколение передается легенда, что на Горской, в этих древних Копцах, спрятаны неисчислимые клады — золото, серебро, бриллианты, и чего удивляться, что и сегодня находятся люди, верящие разной чепухе и небылицам. Древние курганы и сверху, и с боков зияют уже затравелыми ямами и свежими раскопами, но тайного лаза к подземным богатствам никто так и не нашел, хотя те золотые червонцы, видит Бог, никому не помешали бы при сегодняшней послевоенной бедности и нищете.

Отлогий склон пригорка, ближе к лесу, несмотря на сплошные камни, заселили малосельские бедняки, и их хаты, у кого лучше, у кого хуже, полукругом тянутся до самой околицы с гнилой канавой посредине. С другой стороны Горской склоны более крутые, и жилищ нет — здесь полевой простор, густо утыканный колючими дикими грушами и кое-где могучими вековыми дубами. Отсюда, из Копцов, хорошо видны в низине деревенские хаты, хлева, гумна — все Малое Село лежит как на ладони. Самые приметные строения в деревне — начальная школа и магазин, самая незавидная — маленькая, словно собачья конура, кузница-развалюха. На отшибе начинаются суходолы и луга — вперемежку с ольховым кустарником в низинках и березовыми перелесками на пригорках. Из деревни, разделяя поле пополам, подымается на Горскую неширокая дорожка, и она почти никогда не бывает пустой — ни летом, ни зимой. Бобры, которые обосновались в Имшечке, ничего не знают о Малом Селе, не догадываются о существовании этой дорожки, но вот именно отсюда возникла немалая угроза благополучию бобров, если не сказать больше — их жизни.

На замерзшую болотину, не боясь по пояс провалиться в трясину, едва ли не самым первым примчался знаменитый сельский столяр и страстный охотник Гаврила Трофимчик — человек достойный и рассудительный, худой и высокий, как без веток ствол. Ловко, по-иезуитски распутывая хитросплетения заячьих следов, зверобой бабахнул из двустволки и раз, и другой, над Имшечком понеслось эхо, и на потревоженном островке немо заверещал подстреленный заяц, который, по мудрому мнению бобра, без сомнения уцелел бы, если бы осенью не поленился выкопать под корневищами деревьев глубокую норку. После бесспорной охотничьей удачи Гаврила Трофимчик на болотину почему-то не заглядывал — или удовлетворил свою страсть, или нашел другое, более добычливое место.

Однако жить новоселам спокойней не стало, потому что едва не каждую ночь то здесь, то там на Имшечке стали загораться яркие мерцающие огоньки, и с морозным воздухом в нору под обрывом затягивало щекочущий запах дыма, паленой щетины и горелого мяса. Недалеко слышались тихие голоса, стук, треск, скрип снега. Старый бобер, выглядывая из-под корней, догадывался, что вокруг предрассветных костров люди празднуют какой-то свой тайный обряд, а для жертвоприношения им обязательно нужна осмаленная и вымытая до белизны домашняя свинья, которая перед тем очень долго и громко визжит.

Свиной визг на болоте, правда, скоро прекратился, яркие ночные огни потухли, зато на соседний островок, что напротив песчаного обрыва, из Малого Села повадились два очень веселых дядьки, один высокий, другой пониже, но молились они иному богу, и обряд у них, соответственно, был иной, хотя и с дымком, но без мерзкого запаха жареного сала и паленой щетины. Из верхнего лаза своего временного жилища ушлый бобер однажды высунул морду и сразу понял, почему двуногие создания присоседились так близко: им нужно было много воды, и они черпали ее ведром из круглой полыньи на замерзшей яме. На островке слабо поблескивал огонек, малосельские дядьки крюком висели над костерком и то тихонько припевали, то беззлобно переругивались. Этих двух несусветных болтунов бобры почему-то не боялись, привыкли часто видеть их в негустом березнячке и даже научились безошибочно различать голоса обоих пришельцев.

П е р в ы й. Пан Бронюсь, юж бэчка повная!

В т о р о й. Так и хорошо, пан Винцусь! Долей вот с этой бутылки да и заткни пробкой, чтобы не вытыхалась.

П е р в ы й. Пан Бронюсь, юж бэчки нема!

В т о р о й. Пся крэв! Да как же ты, пан Винцусь, глядел, если бочку изпод носа украли?

П е р в ы й. Пан Бронюсь, не все украли! Вот затычка осталась.

Прикрытый в лазе корнями елей, старый бывалый бобер со страхом прислушивался, как в березняке ссорятся малосельские паны, но уже совсем страшно ему стало, когда однажды утром за пригорком прогудел грузовик и остановился на наезженной санной дороге. Машина привезла тьму людей с красными околышами на фуражках и в длиннополых шинелях, которые, утопая в глубоких сугробах и, как гончаки, перескакивая через купины, молниеносно окружили березовый островок.

Среди деревьев и высоких зарослей можжевельника послышался шум, крики, стук железа, будто и впрямь шла там яростная схватка с самой нечистой силой. Красные околыши с большим успехом одолели малосельских хохотунов. Они затоптали костерок, вылили брагу, разбили деревянную кадушку. Медного змея, свернутого кольцами, погнули, разломали, остатки бросили в ледовый пролом на яме, а пана Винцуся и пана Бронюся повели с собой явно на допрос с пристрастием. Две синие шинели незаметно отлучились из толпы, спрятались под обрывом и наопрокидь приложились ртами к стеклянной посудине — в лаз пахнуло чем-то вонючим, так что старый бобер закашлялся. Сверху, уже с пригорка, в бобриную нору долетели глухие, тревожные голоса:

— Пан Бронюсь, а выпустят нас из пастарунка или нет?

— Пан Винцусь, не волнуйся особо. Выпишут квитки на штраф и прогонят.

— Езус Мария, стыдоба какая, а?

— Стыдоба стыдобой, а бэчки нема. Ах, пан Винцусь! И куда ты глядел?

События эти в заснеженном березняке происходили уже на склоне зимы, когда ослабели морозы и не столь часто над болотиной скомканной простыней колыхались вьюжные белые метели. Легкая поземка, что струилась с крутого обрыва, замела следы на островке, не оставила и знака от недавнего разбоя. Удивленные внезапной тишиной, бобры вздохнули свободней, осмелели и даже начали вылезать из норы на берег, чтобы насладиться свежей корой молодых осинок и сочными ростками ив, потому что, правду говоря, горьковатые корни растений, запасенных под водой в коблах, им давно приелись и надоели.

Печальное, тяжелое солнце с каждым днем веселело, подымалось все выше, на пригреве снег осел, стал серым и ноздреватым. Имшечек после первых мартовских оттепелей начала заливать талая вода, среди купин и вечной густой некоси матовым серебром заблестели лужи и целые озерца. За ночь, когда прижимал добрый морозец, вода замерзала, и шишковатый, с желтыми наростами, лед открывал доступ в самые глухие закутки болотины. Старому бобру, разумеется, было ни к чему без причины разгуливать далеко от норы, но из Малого Села, как-то узнав, что здесь можно ходить как по полу, приперлись странные двуногие создания — самые суетливые и болтливые из тех, кого лесным переселенцам довелось видеть.

Пришли бабы, одетые в короткие латаные-перелатаные кожушки, заржавевшими с лета серпами сжинали на дерновинах рыжую, высохшую осоку. Охапки сухой травы складывали на постилках, разостланных рядом, а когда осоки набиралось по доброй кучке, связывали углы постилок и, помогая одна другой, забрасывали грузные узлы на плечи. Эти — по зимнему времени очень странные — жнеи, сгибаясь под немалым грузом, несли свою добычу к хатам, и, пока женские фигурки мелькали в чахлом березняке, старый бобер провожал их цепким взглядом, беспокоясь, что болтливые создания вздумают притащиться на Имшечек еще раз. Однако они возвращались и с тем же упрямством, хукая на потрескавшиеся пальцы, выжинали между купин побуревшие гривки прошлогодней некоси. Ушлый бобер выглядывал из норы, но мало что понимал в людских делах, тем более ничего не мог объяснить своей не слишком сообразительной бобрихе. Лохматые зверьки, обеспокоенные, что бабы уничтожат болотце и оставят их на лето без корма, с тревогой прислушивались к почти беспрерывному и, оказывается, не такому уж веселому бабьему разговору.

— Слышишь, Федора, будут наши коровки есть эту некось? Моя Зязюля уж точно отвернет морду.

— Ясно, отвернет, если давать так, сухой. А ты, Тодорка, паренку сделай: бульбочки покроши, горсточку каких обсевок сыпни, то и будет есть, никуда не денется твоя Зязюля.

— Очень уж слабая она у меня. Боюсь, опять на вожжах поднимать придется. Выйдет в поле — одни кости несет, глядеть страшно.

— Дожились, однако! За порог своей хатки не выйди, потому как все кругом не твое. Когда своя сенажать была, то и коровке сена хватало, и еще на подстил оставалось.

— У тебя, Тодорка, сенажать была, а у нас, у Подгайских, гектар земли. Да какой земли! Все гумно, бывало, снопами завалено, а коли жита хватало, то и в хлеву что-то стояло. От того богатства и крошки не осталось. А что дивиться! Хомутович, змей подколодный, земельку в колхоз загреб, а гумно Гаврила Трофимчик разобрал и перевез на детинец.

— Ловок, ничего не скажешь. Свое гумно не тронул — стоит как стояло.

— Ты что, не знаешь, Федора? Гаврила — родня Хомутовичу, пускай себе и далекая, а родня. Как же свой своему не поможет?

— Ой, бабы! Говорят, Стефа, дочка Степана Олифера, нашлась. Помните, еще за теми Советами, перед самой войной, ее в Казахщину выслали вместе с семьей.

— И где она оказалась?

— Будто письмо из Польши пришло. Язэп Неверовский, Стефин мужик, когда-то у пана Обуховича объездчиком служил. С драными коленями ходил, а все равно раскулачили.

— Хватит, Луцея, болтать! Завязывай дерюжку, да поскорей пойдем отсюда. Глянь, как вода прибывает.

— Да, потрескивает лед. Не провалиться б да кутницы не намочить.

— Такой беды! А завтра, наверно, на Имшечек уже и носа не покажешь.

Последними днями малосельские бабы и в самом деле многим рисковали, выхватывая из дерновин сухую осоку, потому что густой туман, опустившись через пригорки в низину, съел остатки серого снега, талая вода от края до края залила Имшечек и даже кое-где притопила притихшие березовые островки. С весенними паводками, кликнув свою дурашливую бобриху, озабоченный бобер оставил обжитый песчаный обрыв и еще по морозцу перебрался на другую сторону болотины, на плес, заросший олешником и лозой. Зверьки убегали подальше от шумных зимних костров, забились в самую глухомань, и там, пока лозняки осыпались желтыми пушистыми котиками, за несколько ночей выросла пышная бобриная хатка, благо, вокруг хватало сухих веток, сучьев и всякого мелкого хвороста. Немного позже, когда зазеленели вокруг белые березняки, дошла очередь и до запруды через глубокую протоку, наискосок пересекавшую болотину. По лесной канаве талая вода незаметно сошла на далекую Кудаху — среди купин поднялись зеленые островки, и эти неожиданные обстоятельства очень встревожили старого бобра, который хорошо помнил недавнее засушливое лето.

В тот же вечер, как только из-за темных елей на соседние озерца в поисках ночлега шумно шлепнулись чирки-свистуны и утки-кряквы, вблизи бобровой хатки по всем правилам плотницкого искусства началось строительство плотины, чтобы задержать в Имшечке лишнюю каплю весенней воды. Поперек протоки легли плотными рядами подгрызенные тополя и березы, сухой хворост, мелкие ветки, прижатые комьями земли, засыпанные песком и илом, а если попадался хороший камень, то и для него находилось место в запруде. На пригорке трудолюбивый бобер облюбовал статную молодую березку и подступился к ней своими неутомимыми зубами-резцами. Дерево, если его умело опустить на протоку, должно надежно прижать плотину сверху, и тогда уже никакая вода не размоет крепко сцепленное сооружение. И, конечно, старый дровосек радовался, что у него острые зубы, есть еще немного силы, и главное, четыре ночи подряд никто ему не мешает подгрызать мягкотелую лесину. Но вот послышался сухой скрип, затем треск, и, закачавшись, окольцованная у комля береза шумно грохнулась через протоку.

Бобер отскочил в сторону, гибкая лесина легла как раз поверху довольно широкой плотины, и, удовлетворенный своим точным инженерным расчетом, усталый строитель полез в хатку отдохнуть, поскольку уже начиналось утро, небо за Имшечком сочно розовело, и все громче где-то над елями начинали звенеть лесные жаворонки.

2

Федорина хата с подслеповатыми окошками и вогнутой, как седло, соломенной крышей торчит на отшибе Малого Села, у самого леса. Ничего при-

метного, за что хотя бы мельком зацепился злодейский глаз, на запущенной усадьбе нет: забор вокруг садика частично сгорел в печи, частично лег на межу, а хлев всеми четырьмя углами поехал в землю, и если еще не упал, не рассыпался, то это большое диво. Хозяйка, собираясь в магазин или на колхозное поле, хату не замыкает, потому что всего богатства там — веник, вилы да кочерга. Однако миловидная, худенькая и совсем не старая еще Федора, хотя и надевает в слякотные дни резиновые сапоги на босу ногу, не хочет, чтобы ее считали законченной беднячкой.

Какая бедность, скажите на милость, если в покосившемся хлеву скребет рогами о ворота всегда голодноватая корова, в углу хрюкает досмотренный кабанчик, а у порога хаты каждое утро толчется неспокойный куриный выводок. Нужно немало пота и слез, чтобы накормить всю эту ненасытную живность, но если уж совсем пусто становится в коровьих яслях, ох как выручает лесной Имшечек, что начинается вблизи усадьбы, сразу за негустым березовым перелеском. На исходе зимы, в самую бескормицу, Федора ходит сюда по льду жать рыжую осоку, летом дерет между купин подсохший мох на подстилку кабанчику. И все было так хорошо, так обычно, но этот злыдень Мартин Полозок, типун ему на язык, увидев соседку с мокрым мешком на плечах, зашлепал губами от удивления и вполне серьезно посоветовал:

— Мох, женщина, не годится на подстилку. Не сушит он мокроту, увидишь, как опять будет каша. Нет соломы, так лучше уж свинье мурашник подостлать.

— Как мурашник? — не поняла Федора. — Или смеешься надо мной? Врешь, сосед!

— Надо мне врать. Сам другой раз, когда приспичит, мурашники в хлев таскаю. Иглица долго держит сухость и грязь хорошо забирает.

Случайная встреча с глазастым соседом припомнилась как раз в начале весны, когда вокруг нечего ни взять, ни срезать, а рыжий лычастый кабанчик на самом деле шлепал в грязи по уши. Благодарная Мартину Полозку за такой разумный совет, Федора в тот же день побежала в лес, на пригреве в ельнике нашла высокий, как стожок, муравейник, распотрошила его и за две ходки перенесла в хлев. С постилкой под мышкой мотнулась еще раз на Имшечек, чтобы забрать остатки сухой трухи, и когда с немалой ношкой возвращалась домой, уже издалека услышала на своем дворе невообразимый шум, визг, гвалт. Это благим матом визжал кабанчик, будто его резали, на весь белый свет кудахтали куры, будто им откручивали головы.

От неожиданного испуга Федора припустила бегом, со страхом вскочила в хлев и, глянув в поросячий закуток, охнула от собственной глупости. Вместе с иглицей, сама того не зная, она натаскала в поросячий закут тьму-тьмущую лесных муравьев, которые в тепле ожили и, разъяренные, тут же взобрались на рябого кабанчика, залезали ему в щетину. То ли от укусов, то ли от щекотки тот, словно ошалев, метался по загородке, лез просто на стену и, наконец, не выдержал муравьиного издевательства — разломал слабенькие жердочки и с обиженным хрюканьем выскочил во двор. Распатланная, потная, разъяренная Федора швырнула постилку с трухой под забор и помчалась к Мартину Полозку на расправу, потому что этому злыдню, конечно, мало и язык вырвать за дурную болтовню.

— Мартин, чтоб на тебя пранцы! Ты сдуру или нарочно ошельмовал старую бабу? Иди глянь! Мураши твои моего кабанчика до крови загрызли!

Надо было видеть, как хохотал обычно молчаливый и спокойный Мартин Полозок — хватался за живот, приседал, разве что не катался по земле. И если бы кто-то со стороны глядел в это время на хохотуна, то, скорее всего,

подумал: с ума сошел человек, сдетинился. Даже Федора, прибежавшая сюда с одной целью — вырвать соседу его никчемный язык, испуганно отступила.

— Ты что, Мартин, белены объелся?

— Ой, не могу! Ой, насмешила! Да я ж, Федора, требушу мурашники зимой, когда мураши в землю прячутся.

— Откуда мне знать, что зимой? Наносила полный закут паскудства кусачего, а теперь хоть плачь.

— Не горюй, бабка! В хлев кур загони, мурашек они любят. А завтра, глядишь, лишнее яйцо снесут.

— Опять смеешься, старая шельма? Лучше пойди да загородку поправь — рябой всю разломал.

Пожалуй, впервые за свою жизнь упрямый молчун и пересмешник Мартин Полозок послушался женщины: перестал смеяться над человеческой глупостью, взял топор и потопал на Федорин двор, резонно подумав, что его ловкая соседка даже беду умеет повернуть себе в пользу. Через несколько минут в хлеву были прибиты оторванные жердочки, рябого кабанчика вместе загнали в закут, да и то после того, как там, в иглице с муравьями, хорошо попаслись куры. На бедняцком дворе, таким образом, установились согласие и порядок. Полозков топор возвратился в дровяной сарай, а хозяйка, успокоившись после неожиданной встряски, с нетерпением стала ждать лишнего куриного яйца, о котором со знанием дела намекнул сосед.

Не год и не два, а, наверно, с малых лет, как только взяла в руки серп, Федора жаждет разбогатеть, и над этим странным ее желанием давным-давно посмеиваются люди и в Малом Селе, и в Круговичах, и Бог знает где еще. Когда-то, чтобы заработать несколько злотых, она гнула спину в маёнтке пана Обуховича, всю войну была поденщицей то у одного, то у другого богатенького, теперь вот изо дня в день раком стоит на колхозном поле, но всегда, как только приходит время подсчитывать прибыль, вдруг выясняется, что до сказочного богатства женщине не хватает как раз одного-единственного куриного яйца.

Не пророком оказался и Мартин Полозок, так как на следующий день после неслыханной расправы над мурашами яиц в гнезде лежало ровно столько, сколько было в хозяйстве кур. Федора шпионила на своем дворе, азартно бросалась в кусты, если слышалось там куриное бессмысленное кудахтанье, но напрасно — ничего лишнего нигде не находила. Ленивые куры не оставили хозяйке шанса разбогатеть, зато другая живность утешила печальную вдовину хату. С виду невзрачная, худая коровка оказалась очень удачной, *дойкой* на молоко: хватает и Федориной семье, и в Ганцевичи на базар можно когда-нибудь занести какие-то полкило масла. Рябой кабанчик, забыв про кусачих лесных мурашек, за лето вытянулся на пустой зелени, наел толстую шею: как повернется — трещит тесная загородка.

До поздней осени кабан-кормник жил не горюя, за два глотка опорожнял ведро с помоями, и, конечно, не знал, он, обжора, что в Москве его рябая шкура оценена очень высоко. Белокаменная столица вообще-то не запрещала Федоре заколоть и съесть свою откормленную свинью, однако распаневшая полешучка не должна забывать об интересах государства, это значит, забоину нужно обязательно облупить, а потом опытные сапожники пошьют замечательные хромовые сапоги если и не самому Сталину, так тоже очень большому начальнику. С таким неслыханным указанием по Малому Селу еще летом шлялся сельсоветский финагент Лакидон, убеждая селян, что «на этапе восстановления разрушенного войной народного хозяйства всем необходимо ужаться и употреблять сало исключительно без шкурки». Федора знала, какое

оно, сало без хорошо пропеченной шкурки, и с немалым риском для себя обошлась простым выслушиванием сурового приказа, тем более что именно так поступили почти все малосельцы.

Перед самыми Колядами Мартин Полозок, известный насмешник и человек бывалый, среди ночи втихаря забил соседского кормника, осмолил на острове в Имшечке, чтобы из-за леса не было видно яркого пламени, а свежину Федора уже сама перевезла на саночках к хате. Сала, посоленного с толченым чесноком и кориандром, как раз хватило почти до нового забоя, а вот с мясом было хуже: получилась небольшая кадка, да и то без коптура, то есть без верха. Федора, кажется, не часто и ходила в кладовку, все берегла кусок полендвицы и подвяленого окорока, но как убережешь, если единственная дочка Ядзюня каждый раз сторожит скуповатую мать в двери кладовки:

— Мама, хочу менца!

— Нету менца. Солонины отщипну кусочек.

— Не хочу солонины! Менца дай!

— А моя ж ты Ядзюнька! Не хочешь солонины, то съешь гувна.

— Тогда иди на кирпичню и сама глину таскай.

— Ну, так и быть. Дам тебе менца. Но без спроса, дочушка, в кладовку не лезь, потому что нечего будет кинуть косцам в торбочку, когда поедут на болото.

Шляхетским языком, правда, перекрученным на полешуцкий лад и вкус, Федора сбилась с толку еще в польские времена, когда служила у помещика Обуховича и переняла чужеземный разговор от панской челяди. Ого, сколько воды уплыло в Кудахе, сколько грозных и кровавых событий произошло на белом свете, а те слова, услышанные в девичестве, почему-то не забываются. Федора и теперь, вспоминая свою службу в богатом поместье, на солнце говорит «слонце», на мясо — «менца», а Ядзюню, когда не в духе, называет и совсем обидно — «матолак». Хорошо хоть дочка не обижается, поскольку не понимает, наверно, что мать обзывает ее обычной дурой. Уважение, если не сказать зависть к шляхетскому языку не исчезли и с годами, может, потому что в сознании Федоры этот необычный язык был связан с богатой, сытой жизнью. Две зимы бедная крестьянская девушка была у Обуховича прислугой и вполне нагляделась, каких откормленных свиней забивают мордатые повара, как вкусно пан и пани едят, аж распирает их, а глядя на блеск и едва не царское убранство чужого поместья, ей тоже захотелось жить припеваючи, ну, не совсем чтобы дуреть от роскоши, но так, чтобы и самой, и детям не давиться всухомятку.

Пан Обухович, сухой и тонкий, как палка, разъезжал по окрестным селам на рессорной коляске, звал крестьян к себе в поместье: женщин нанимал жать рожь и копать бульбу, а мужчин — ремонтировать дом, пилить дрова и строительный лес для продажи за границу. И хотя помещик был очень строг и сердит, мог даже неожиданно перетянуть ремнем лодыря и лежебоку, местные люди шли на поденщину очень охотно — Обухович был не скуп и платил хорошо. Нельзя было сравнить заработки опытной жнеи и прислуги-сморкачки, но еще и сегодня, убираясь в хате, Федора натыкается то на драное платье, то на искривившиеся отопки. Она уже и сама забыла, что покупала сама, что давала пани Тереза, что тайно дарил пан Обухович. Когда Ядзюни нет дома, Федора подолгу разглядывает старые транты, и ей, молчаливой и печальной, бывает непритворно стыдно, потому что пани Тереза вряд ли была бы столь легкой на подарки, если бы знала об ухаживаниях сластолюбивого помещика за миловидной и шустрой горничной.

Молоденькую дурочку пан Обухович так приручил, что она и сама уже не могла дождаться, когда пани Тереза поедет куда-нибудь в гости или на прогулку, и бесстыже бросалась в объятия своего вельможного благодетеля, а после

горячей, сладкой ночи осторожно кралась через лес в Малое Село, держа под мышкой то белую кофточку, то цветастый сарафан. Девичьих нарядов, собранных в основном за счет неутомимых панских ласк, было даже слишком много, чтобы с шиком, на манер богатой княжны выйти замуж за тихого, нескладного батрака Левона Чиркуна, опять же, всяких платьев, а правильнее, обносков с плеча пани Терезы хватило и на первые годы беззаботного замужества, и на беспросветные долгие годы военного лихолетья. По ниточке, по пуговичке, по большой дырке, которую уже зашить невозможно, исчезли те шикарные наряды, и теперь у Федоры от когдатошнего богатства ничего не осталось — только щемящие воспоминания, печаль да эти вот старые транты, что иной раз вытащишь кочергой из темного угла. Давно нет Обуховича — еще при первых Советах всю панскую семью вывезли в Казахстан, давно нет покладистого и доброго Левона — не вернулся с войны; пустое сердце, пустая хата, но есть у женщины высокие литые резиновые сапоги, которым, кажется, век не будет сноса и в которых одинаково удобно шлепать и в осеннюю слякоть, и в зимнюю стужу.

Однако всесезонным Федориным сапогам, измазанным то навозом, то грязью, в Малом Селе, к сожалению, никто не завидует, потому что теперь и молодые, и немолодые сельчане ходят в обуви одного фасона — то, что завезут в магазин, но кроме этих сапог-скороходов есть у Федоры очень ценная вещь: разрисованый красными цветами, окантованый белой жестью старинный сундук. Стоит он в светлице у стены, и пускай себе стоит, есть не просит. Поднимет хозяйка выпуклую крышку, молча вздохнет: на дне лежат два или три отреза полотна, домотканое одеяло, — а так красивый, как игрушка, сундук пуст, даже пауки успели заткать углы паутиной. Размалеванная деревянная коробка для шитого и тканого богатства перешла к Федоре, наверно, еще от бабули, но Ядзюня, это рыжеватое и веснушчатое создание, воротит нос, презрительно глядит на когдатошнее материно приданое. Ей, видите ли, подавай фанерный магазинный шкаф на две створки, где есть и полочки, и вешалки для девичьих нарядов. Ничего плохого, конечно, нет в том, что дочка любит одеваться не хуже подруг и хочет иметь все, что имеют они. Одна беда: где набраться тех грошей, если за каждым рублем надо гоняться, как кот в хлеву гоняется за паршивцем воробьем.

Переборливой, капризной Ядзюне еще повезло, что после войны, когда понадобилось много кирпича, в Круговичах небольшую панскую кирпичню расширили, построили новые печи, раскопали глиняный карьер, и на этом самодельном заводике деревенские девчата могут заработать несколько сотен себе на расходы. Малосельские сезонщицы на кирпичню бегут еще с первыми лучами солнца, бегут и гуртом, и поодиночке, кто по извилистой лесной дороге, а кто, как Ядзюня, на работу добирается напрямки, через болотистый, мрачный Имшечек. Летом по утрам все окрестности сотрясает зычный, басовитый гудок, установленный где-то на верхотуре красной трубы кирпични. Сперва Федора пугалась неожиданного гудка, потом привыкла, перестала сердиться на заводского крикуна: будит заспавшуюся Ядзюню, и то хорошо. Не сказать, что очень охотно подхватывается Ядзюня с кровати, умывается, одевается, еще минуту выкручивается перед зеркалом и уже на бегу хватает из шкафчика узелок с едой.

— Мама, а менца дала?

— Осталось немного после косцов, то и дала кусочек.

— А Манька Тодорчина еще и яйцо берет на полдник.

— Где ж я возьму яйцо? В воскресенье продала на базаре два десятка да и купила тебе сандалеты, — непритворно вздыхает Федора и, чтобы пере-

хитрить Ядзюню, переводит разговор на другое: — Дочушка, ты б не ходила через лес. Ходи по дороге, где людей много. Еще волки нападут — развелось за войну погани этой.

— Волков, мама, Гаврила Трофимчик давно пострелял. Ледзя его хвалилась, что батька хочет теперь бобра взять — Ледзе на воротник пальто.

— Ишь ты! Когда-то, помню, только пани Тереза ходила в бобровой шубе.

— И я хочу быть такой гжэчнай, как твоя пани Тереза! — будто поддразнивает на пороге Ядзюня и берется за ручку. — Ну, до вечера.

— Иди уже, матолак, и не дури мне глову.

Непредсказуемость поведения дочери, ее странные привычки и совсем не крестьянские, а скорее панские желания все больше начинают тревожить Федору. Ядзюня любит поспать, и разбудить ее может разве что зычный гудок кирпични, Ядзюня кушать лишь бы что не хочет — мясо ей подавай, а нету, так хоть сама мать ложись в кубелец. Рядом с этим явным панством воспоминание о бобровой шубе кажется чистым вымогательством, и здесь уже, если разговор идет о такой дорогой вещи, даже гадать не надо, чья кровь течет в жилах дочери. Если раньше Федора еще сомневалась и укоры совести мучили мало, то теперь она краснеет перед портретом покойного Левона, от которого когда-то вынуждена была утаить тайну рождения Ядзюни. Безусловно, это непростительный грех и, наверно, поэтому великую грешницу обошло стороной счастье, а богатство как ветром сдуло. Поправить жизненные дела можно только одним способом: выгодно отдать Ядзюню замуж. Думать о дочкиной свадьбе пора, потому что из неуклюжего подростка она выкинулась в хорошую девку и подбирается уже к тому опасному возрасту, когда она сама безоглядно, бездумно, потеряв разум, бросилась в горячие, трепетные объятия пана Обуховича.

Незаметно для материнских глаз Ядзюня расцвела, как майская вишня: постройнела, порозовела, налились соком груди, и это еще не все, что должно расцвести в ней, так что больших забот с женихами, похоже, не будет. Только бы не промахнуться, не купить, как говорят, блудливого кота в мешке, да к тому же лодыря и дармоеда. Из немалой гурмы деревенских кавалеров надо выбрать самого лучшего, чтобы и хозяйственный был, и Ядзюню на руках носил, и, конечно, чтобы на тещу не поглядывал искоса. Втайне выбирая себе зятя, Федора вполне принимала разве только Алексея Хомутовича, сына когдатошней своей приятельницы Алены. Рос парень, считай, на виду: и косы не избегал, и с плугом управлялся исправно, а из армии вернулся и вовсе большим грамотеем, потому и выбрали его сразу председателем малосельского колхоза. Русый, статный и лицом не плох. Хомутович ничего дурного людям не чинит, но и хорошего тоже не делает: гоняет на работу, кричит, если что не так, чуть не до белой горячки, но самое плохое у молодого председателя, что целыми днями гарцует он на вороном коне по Малому Селу как угорелый. Беды в этом, разумеется, нет: со временем Алексей повзрослеет, гонорливость пройдет, а вороной когда-нибудь сдохнет. Иные мысли волнуют Федору: замуж Ядзюне все ж таки рановато, не отгулялась еще девка на своих гульбищах, но ждать, пока нагуляется вволю, тоже нельзя, такого видного и выгодного кавалера тут же перехватят опытные вертихвостки.

Заполучить в семейные тенета пристойного жениха можно различными чарами и заговоренными травами, но самый надежный способ — если сидит оболтус в красном углу и, смакуя то ветчину, то палендвицу, удивляется необычному радушию и гостеприимству своей будущей тещи. Именно таким способом Федора надеется если не теперь, то следующим летом залучить в хату Алексея Хомутовича и с некоторого времени держит в тесном заку-

те не одного, а двух поросят. Вечно голодные лычи за версту чуют хозяйку и визжат так, что трещит хлев. Натопавшись на колхозной работе, Федора без злости кормит прожорливое зверье, рвет для них лебеду или сурепку, а когда у свинства слишком мокро, устало бежит с мешком на болотце драть сухой мох. Назад возвращается осторожно, старается кустами обойти соседскую усадьбу, чтобы случайно не встретить въедливого Мартина Полозка. Этот сивоголовый вдовец обязательно спросит, что соседка несет, и будет долго хохотать, вспоминая, как однажды она подостлала кабанчику иглицу с живыми мурашами.

В своем сарае Мартин Полозок прячет парничок и медный змеевик — эти весьма ходовые причиндалы у него нужно когда-нибудь просить, вот почему хитрая бедолага молчит, ни слова не скажет про дурную насмешку. Захотела баба попасть в рай, но знает, что в рай не входят в лаптях, и еще — просто нутром чует, что бутылка крепкой, обжигающей, как перец, самогонки будущему зятю понравится больше, чем любые чары и заговоренная трава.

3

В стороне от усадьбы Гаврилы Трофимчика, как раз посредине соток, стоит гумно, заросшее вокруг травой, с широкими, как проехать машине, воротами, с бестолковым воробьиным гамом и тихим попискиванием суетливых ласточек. Крыша, накрытая кулевой соломой-прямицей, держится на дубовых сохах, стены, каждая на двух вереях-шулах, сложены из еловых смолистых бревен, а потому простоят век. Гавриле Трофимчику иметь хилое, присадистое, кривое по углам гуменце, как у Луцеи Подгайской, было бы очень стыдно: он же известный мастер по дереву — и столяр, и плотник, не говоря уже о таком красноречивом факте, что и топор у него всегда как бритва.

Стоит только постороннему человеку взглянуть на основательное строение, сразу подумает: «Ого, оказывается, в Малом Селе тоже попадаются крепкие хозяева, а не только мерзкие голодранцы да нищеброды». Странствующий богомолец между тем очень даже ошибается. Имея каких-то пять десятин земли, Гаврила Трофимчик при поляках ходил в облезлой заячьей шапке-кучомке и латаной-перелатаной свитке, берег каждый злотый с хитрым расчетом побогатеть хотя бы к старости и поменять лозовые лапти на пристойные яловые сапоги, для крепости и важности смазанные черной коломазью или вонючим дегтем.

Просторное гумно, рассчитанное на будущее богатство, ставилось не одно лето, собиралось по жердочке, по бревнышку, пусть уж простит пан Обухович, но два раскидистых дубочка на опоры за бобровую шкуру и хороший барыш позволил спилить панский объездчик Язэп Неверовский. Лозовые лапти Гаврила Трофимчик и в самом деле сменил на солдатские кирзачи, но как ни хитрил, возникла опасность расстаться и с гумном, которое в разные годы то пустовало от недорода, то, на радость хозяину, трещало от снопов ржи.

Вскоре после войны по Малому Селу пошли настойчивые слухи про колхозы, и в конце концов люди поняли, что это не пустые разговоры, когда из Ганцевичей, грязного полесского местечка, в деревню явилась стая говорливых красных агитаторов. Острые, веселые языки на диво легко уговорили селян, и те, желая побыстрее увидеть обещанные золотые горы, с извечной белорусской покорностью, без особенных душевных мук простились с собственными наделами, а коней, у кого они были, завели в длинную, как обора, конюшню, на скорую руку собранную на краю деревни. Со дня на день долж-

ны были арестовать разве только Степана Олифера, потому что этот упырь наотрез отказался записываться в колхоз, да мало того, на виду у приезжего начальства стал ковыряться с плугом на своих сотках. И они пришли, безоружные, добродушные, взяли норовистого отшельника с поля, едва не под белы ручки повели в хату. О чем они там говорили, никто не знал, но уже на другой день мрачный Степан Олифер выкатил из гумна телегу, прижал оглоблями резвую лошадку, бросил на телегу плуг, распашник, борону и медленно потащился на колхозный двор. Домой обиженный, униженный селянин принес только свой киек и прокуренную ореховую люльку, да и ту без табака.

В первую же коллективную осень малосельцы с ужасом поняли, что красные агитаторы их просто обманули, потому что колхозного жита не хватило даже на то, чтобы выдать что-нибудь на трудодни. Без земли ненужными стали осиротевшие крестьянские гумна, и этот непорядок тотчас заметил какой-то очень зоркий начальник. Гумна начали разбирать и свозить на общий двор, где из них соорудили приземистые коровники и телятники, но хуже всего то, что рушить людское добро едва не силой заставили Гаврилу Трофимчика, имея в виду его успехи в плотницком деле. Всего за одно лето строительная бригада растребушила все пустые гумна, хлевы и пуни, и творился этот разбой под молчаливыми взглядами хозяев или, наоборот, под беспрестанной руганью заплаканных хозяек.

Сам Гаврила Трофимчик, идя по улице, боязливо втягивал голову в плечи, чтобы не видеть страшно опустевшие пригуменья, и почему-то больше всего ему не хотелось встречать босоногую, абы как одетую Луцею Подгайскую. С языком, длинным как помело, эта кусачая, мстительная женщина, наверно, уже до смерти не забудет, кто первый вскочил на ее скособоченное гуменьице. Там, на вильчике прогнившей крыши, сидел именно Гаврила Трофимчик, бросал сверху березовые связки, крепившие гнилую солому, а внизу, вокруг всех четырех углов, галопом бегала разъяренная Луцея, швыряла в него комья земли и, как только умела, кляла пустоголовое государство, дурных здешних начальников, всех своих бывших и сегодняшних врагов.

— Смык сухоребрый! Слезай с моего хозяйства! Чтоб ты свалился, дай Боже, чтоб ты, макотер, череп расколол! Чтоб ты с торбой по свету ходил! Скажи, Гаврила, или я просила, чтоб ты мое богатство рушил? Или я подсаживала тебя на крышу? О, ты, разбойник, гуменце мое и пальцем бы не тронул, кабы жив был мой Подгайский. Он бы тебе мозги вправил, он бы тебя одним махом горбатым сделал!

— Остынь, Луцея, остынь малость, — изредка отзывался сверху пристыженный Гаврила Трофимчик, осторожно ступая по уже голым латам. — Тебя не режут, не колют, чего развизжалась на всю округу.

— Кабан ты легчаный! Так уж тебе мое гумно глаза резало, если б и постояло еще! Может, и земельку вернут, тогда и коника как-нибудь пригорюю.

— Помолчала бы, баба, с гумном своим. Ногой пни — рассыплется. Труха одна.

— Погляжу, как ты свою стодолу бурить кинешься. Руки будут колотиться. Видит Бог!

— Дойдет и до меня очередь. Председатель приказал с этого конца начинать, а я вон где живу — около Степана Олифера.

— Не болтай языком, Гаврила! Нарочно ты с моего боку зашел. Чтоб себе не навредить.

— Я ей — стрижено, она мне — брито. От Луцея!

Свое трудное и совсем не почетное дело колхозные строители делали молча, старательно, аж пыль стояла над пригуменьями, и было даже стран-

но, что мастеров этих до сих пор не съела короста, что у каждого на самых ничтожных частях тела не вылезло по сорок чирьев, чего им громко, на всю деревню, желали разъяренные хозяйки. Позже, когда по всем крестьянским дворам с громом прошлись острые плотницкие топоры, стало явно видно, как оголилось Малое Село, как оно вдруг обеднело, стало убогим, оказавшись без гумен, пунь и овинов — первых примет хотя бы какого-нибудь приблизительного достатка.

— Если разобраться, на кой ляд нищему гумно? Мешало только. Раскидал Гаврила, и видишь, сколько простора! Вся деревня перед глазами, — бодро, но с печалью в голосе шутил Степан Олифер, пряча за усмешкой непривычную молчаливость и покорность. — Сам уже хотел гумно спалить, да рука не поднялась. А теперь что? Нет земли, то и гумно не надо. Что в нем прятать? Наймусь сторожем к трактористам — вот и будет копейка. — Он поправил желтые от курения усы и закончил любимой поговоркой, которую, наверно, сам же и придумал: — Тьфу! Хай Бог п*а*нам барануе!

— Не гневил бы Всевышнего, тычка лысая! Чем тебе гумно не по душе, что спалить хотел? Теперь все как в прорву — и земля, и коник, и телега, — с ношкой соломы приостановилась рядом разъяренная Марка. — Тоже дурак дураком! Стоял бы на своем, так и телегу не сдал бы, и коня не завел на общий двор.

— Нашлась разумница! С куриными мозгами только у печки тупать да горшками бренчать.

— И тупаю, и тебя кормлю, ненасытного. Ешь, аж за ушами трещит, хоть тебе свинины ввали в миску, хоть чего.

— Не ругайтесь, люди добрые, — мирно, чувствуя какую-то свою вину, произнес Гаврила Трофимчик. — Сегодня ваше гумно растребушили, завтра — мое. И ничего не сделаешь. Порядки теперь такие, что даже не сыкнешь, как гусак.

Острые разбойничьи топоры, однако, перед Гавриловым гумном, будто по команде, повернули назад, разбежались по окрестным хуторам и застенкам, где опять наделали много шума, потому что и с одного, и с другого конца деревни потянулись на общий двор телеги, груженные старыми бревнами. В тот день, когда сидел на коньке Луцеиной пуньки и сдирал крышу, Гаврила Трофимчик думал, что так же легко раскидает и свое кровное добро. Но, имея власть над деревенскими плотниками, он все оттягивал этот щемящий момент, и так получилось, что во всем Малом Селе осталось одно-единственное гумно, да и то — бригадирово.

Уже и соседи косятся, уже не только Луцея Подгайская донимает жгучими упреками, но решимости не хватает раскидать строение, которое много лет было лучшим украшением Гавриловой усадьбы. Он не знал, как оправдаться перед односельчанами за свою нерешительность, гумно начало ему сниться, в тревожных прерывистых снах оно горело очень правдоподобно, и утром потный, взволнованный хозяин выбегал из хаты убедиться, что посреди пригуменья не тлеют угли и не курится дым. Потом он придумывал себе какое-то дело, открывал гумно и опять переживал ужасы кошмарной ночи.

И, наверно, еще не один день славный плотник мрачно топал бы вокруг гумна, не зная, что делать, если б на ту беду не встретился Алексей Хомутович. Председатель как раз скакал по пыльной малосельской улице, когда издалека увидел молчаливую сутулую фигуру и повернул Вороного на дорожку, что вела вдоль соток на его пригуменье.

— По своему гумну плачешь, дядька Гаврила? Не таись — вижу, вижу! Но гумно разбирай без сопротивления власти. Возвращения к старым межам и шнурам не будет. Запомни — не будет!

— Да какое сопротивление? Ты ж, Ляксей Сымонович, первым мне кицу загнешь, если что не так.

— И загну, как хитрить станешь.

Конный или пеший, Алексей Хомутович всегда держал при себе плетеный сыромятный кнут на цевье из тонкой козьей ножки и, как только соскочил с Вороного, для чего-то обстучал цевьем переднюю стену, притопнул на гулком глинобитном току и, прислонившись к стене, загляделся вверх. «Ух ты! Высоко, как в соснах», — неожиданно выдохнул он, и в этом незначащем восхищении появилась первая ниточка, уцепившись за которую, еще можно было спасти гумно. Где-то среди стропил, освещенные сквозь щели солнечными лучами, бестолково чирикали воробьи, в раскрытые ворота туда-сюда метались ласточки-белянки, но ни на что не обращая внимания, Гаврила Трофимчик уже держал в руке эту ниточку надежды и без всякого стыда дергал за нее.

— Сымонович, может, в хату зайдешь? Родня, как-никак. Помнишь, твоя и моя бабка были одной матери, а мы с тобой, выходит, братья в четвертой встрече.

— Родня, говоришь? Один пень горел — другой бок грел. Ха-ха-ха! Не волнуйся, брат мой Гаврила. Уцелеет твое гумно. Слушай, что я надумал. Начнется жниво, не будет куда зерно ссыпать — амбар же недостроен. Надо здесь, в гумне, настлать полы, сделать засеки — вот и будем иметь хоть временное хранилище для жита. Досок бы только где расстараться.

— От голова! От голова! Министерская у тебя голова, Сымонович. Все будет, как ты хочешь. И доски найдутся. Поедем в лес, положим сколько сосенок — вот тебе и доски-целевки. Так не стой, человек, пойдем в хату. Еще ж не все выскребли из кладовки — есть и палендвица, и кольцо колбасы копченой.

Любопытные соседи, выглядывая из-за заборов, высказывали самые невероятные догадки, почему так долго пасется на пригуменье председательский Вороной и почему, когда Алексей Хомутович вывалился из хаты, его плетеный кнут в обвисшей руке тащился по земле. И это еще не все чудеса. У людей дух заняло, когда напротив Гаврилиного пригуменья вскоре вырос, подсыхая на солнце, ярус пахучих и белых, как сыр, досок, а в самом гумне, распугав воробьев и ласточек, весело затюкали топоры, звонко отозвалась пила. Любому глазу было видно, что Гаврила Трофимчик перестраивает гумно на амбарчик, и тут уж нет места укорам: жатва на носу, а хранилища для зерна в колхозе в самом деле нет.

Ближайшие соседи иной раз являлись на звон топора, молча топтались на струганых досках, которые загромоздили глиняный ток, и так же тихо расходились. С ними, соседями, не было мороки, но к вспотевшим, заморенным плотникам повадились что ни день два неудачника-самогонщика, два веселых болтуна пан Винцусь и пан Бронюсь. Как-то раз они смело вошли в гумно, сели кому где пришлось и начали мудрые, всезнающие разговоры про колхоз и урожай, про все, что само лезло на язык, и из их пустой болтовни Гаврила Трофимчик ясно понял: эти немолодые, безродные шляхтичи нарочно несут всякий вздор, чтобы поиграть на нервах и хорошенько позлить удачливого бригадира колхозных строителей.

— Ловко у тебя, Гаврила, вышло, ой, ловко! — хитро, издалека начал высокий ростом пан Винцусь. — Как говорят, и козы сыты, и сено цело.

— Да, хороший купец, хороший! — подхватил пан Бронюсь, был он пониже. — Добрая глова надо, чтобы такую хоромину выклянчить за кварту самогонки.

— Кто вас сюда звал? Болтаются по деревне, как вижи, все что-то вынюхивают, — возмутился красный от злобы Гаврила Трофимчик. — А если про самогонку, то не меня схватили за ворот на Имшечке и поперли в Ганцевичи.

Давить тайком сивуху и платить штрафы за грешный промысел в Малом Селе не считается позором, поэтому болтуны эти не слишком смутились, когда их справедливо подколол Гаврила. Бестолковые торговцы самодельным напитком удачно выпутались из того переполоха: до местечка тряслись в кузове полуторатонки, а назад возвращались пешком, всю ночь телепаясь по глубокому снегу. Конечно, их самогонный аппарат вдребезги разбили мильтоны, а вот присудили им штраф или нет — об этом беззаботные шляхтичи скромно молчат. Но разве бывают в Малом Селе какие-то тайны?

Малосельцы заметили, что после милиции пан Винцусь и пан Бронюсь начали болтать еще больше и, на удивление, не пропустили ни одного деревенского схода. В школе, куда приезжие агитаторы вечерами созывают народ, они занимают передние лавки, первыми тянут вверх руки, дольше всех хлопают и громче всех кричат, стараясь обратить на себя внимание высокого начальства. Гаврила Трофимчик, назвав их *вижами,* то есть шпионами, ничего особенного не имел в виду, но почему-то, посидев еще минуту, незваные гости быстренько вымелись из гумна, а назавтра опять появились тут, как и не лысые. Сели, огляделись и давай поучать бывалых мастеров, хотя сами ни бельмеса не соображают в плотницком деле. Кончилось тем, что разъяренный, как зверь, Гаврила силой выпихнул обоих болтунов за ворота.

— Не люди, а птицы певчие!

— Пойдем, пан Бронюсь, — произнес высокий шляхтич. — Что-то не нравится мне это гумно.

— И мне тэж не нравится, — отозвался малый шляхтич. — Гляди, Гаврила, чтоб из твоего гумна конюшню не сделали.

Для своих пустых забав старые клоуны, видно, нашли иное место, но без них в Гавриловом гумне стало скучно: казалось, тише стучали топоры и не весело, а со злостью располовинивала пила последние доски.

Избавились плотники от этой ежедневной докуки вовремя: как раз когда на Кругляке, на соседнем поле, шумным рокотом заявил о себе комбайн, а на малых и каменистых окраинках тут и там остро блеснули широкие заемистые серпы. К запаху смолы в амбаре примешался сладкий дух ржи, гора нового хлеба в засеках все росла, подводы с тугими мешками все подъезжали и подъезжали. Кладовщик Николай Гиляр сбился с ног, принимая на диво богатый урожай: сушил, веял, пропускал через арфу и на тех же подводах отправлял в Ганцевичи государственным хлебозаготовителям.

Поздними вечерами, когда Малое Село укладывалось спать и только кое-где в окнах светились лампы, вокруг своего и теперь уже чужого гумна топал взволнованный Гаврила Трофимчик. Трогал руками пудовый замок на воротах, вдыхал густой запах зерна, сочившийся откуда-то сверху, из-под смолистых застрех, и, конечно, радовался, что удалось хотя бы и хитростью, хотя бы криком отстоять свою собственность. Все может быть: возвратят власти отнятую землю и не придется по бревнышку восстанавливать разрушенное хозяйство. И все же нехорошо, не по себе было собственнику пяти десятин: за это гумно еще долго придется оправдываться перед людьми — перед Степаном Олифером и Яковом Певником, перед Луцеей Подгайской и Тодоркой Дрозд, потому как очень уж противно и стыдно, когда ловишь на себе их укоряющие, ненавидящие взгляды.

4

Поссориться с Тофилей, понятное дело, не штука, и для такой душевной надобности у Степана Олифера имеется очень подходящее место: у старого колодца, под задумчивым кудрявым вязом. Здесь, в закутке, между плетнем и замшелым забором, среди муравы с бело-желтыми ромашками лежит у самой улицы обросший мхом горбатый камень. В серый гранит вкраплены блестящие пластинки слюды, серебристые зернышки кварца, и поэтому валун сияет на солнце, как царский трон. И это наибольшая несправедливость, потому что только Тофиля — фигуристая, крутобедрая, с трескучим сорочьим голосом — могла кинуть взгляд на такое роскошное место. Но у соседки есть свой валун — как раз через улицу, напротив приземистой хаты с облупленными подслеповатыми окошками. Плоский, серый, без сверкающих вкраплений слюды и кварца. Смех, а не камень, на нем и сидеть противно, но почему-то Тофиля ни разу не позавидовала норовистому Степану Олиферу: что Бог послал, то и хорошо.

Седые, замшелые валуны редко пустуют. Теплыми вечерами, как только растает снег и подсохнет уличная грязь, на своем валуне любит посидеть с люлькой в зубах — бывает, степенный, бывает, шутливый, а чаще — сердитый хозяин старого колодца. С ногами залезает на «царский» трон, сидит, о чем-то думает и поглядывает на Тофилин двор. Она же как раз в это время хлопочет по хозяйству — бренчит ведрами, скрипит воротами хлевка, кормит свою живность. И вот, когда под кудрявым вязом уже дым висит коромыслом, Тофиля не выдерживает, сломя голову бежит на улицу, готовая и к лютой ссоре, и к вечному миру.

— Добрый день, Степанка!

— Добрый день, Тофилька! Как живешь? Как здоровье?

— А неплохо живу. Спасибо на добром слове. А ты как?

— Да так себе. Было приболел, еще и сегодня хрип в грудях.

— Простудился, наверно. Надо чай липовый пить, а еще лучше — пускай Марка вечером банки поставит.

— Кому, мне банки? Да ты, языкастая, забыла про глиняный горшок!

Похоже на то, что несмотря на такой ласковый, солнечный вечерок, вечного мира не будет, но и до лютой свары еще не дошло. С плоского никчемного валуна Тофиля все же оглянулась на покосившиеся воротца: убегать или немного подождать? О, она хорошо помнит, как однажды Степан Олифер то ли взял на зуб что-то порченое, то ли просто объелся и целый день мучался животом, не находя от боли места. Тофиля, пожалев беднягу, посоветовала Марке поставить ему на пуп горячий глиняный горшок. Изнемогший Степан сперва лежал тихо, потом застонал, а потом заревел на всю хату, как медведь в буреломе. Воспаленные кишки вместе с безвинным пупом засосало в толстостенный горшок, и закончилось лечение тем, что глиняные черепки разлетелись брызгами, мученик ошалело подхватился с кровати, Марка без памяти ринулась в дверь. Своих спасительниц Тофилю и Марку, которые спрятались где-то в темных углах, он не нашел, а пока бегал по двору, живот сам собой перестал болеть. Пусть и давно это было, но увидев, как у Степана Олифера при напоминании о банках гневно затряслись усы, Тофиля очень кстати вспомнила, сколько еще у нее дома дел, и быстренько шмыгнула с валуна в хату.

Назавтра и через день, и на третий день, если постоит теплая погода, сварливые соседи опять станут скучать друг без друга, тайком поглядывая в окна: кто сегодня первым выйдет на улицу? Наученная горьким опытом,

Тофиля, кажется, предостереглась: сидит на валуне строгая, неподкупная. Но и коварство Степана не знает границ. Нужен очень тонкий слух, чтобы в его спокойном голосе уловить насмешку и подвох. То был злой, сердитый, как сыч, то, как ни странно, такой ласковый и добрый — поделится последним.

— Давай, Тофилька, меняться камнями. Забирай мой блестящий, а мне пускай будет твой.

— Давай, Степанка. Только как такую громадину выколупать из земли?

— Лопатой. А через улицу веревками перетащим.

— Ой, наверно, опять смеешься. Ох, и врешь, злыдень!

Знаменитые валуны тут, разумеется, ни при чем: молча лежат на виду не одно столетие, и наверно, еще лежали бы никому не нужные, если бы непримиримые враги не заметили, что, сидя на камнях, очень удобно сплетничать, ругаться, вспоминать давние и свежие обиды. Ссоры, которые до коликов смешили Малое Село, обычно начинаются весной, с перерывами длятся все лето и утихают только с наступлением холодов.

На пустыре за Тофилиной хатой растет кривобокая, кряжистая береза, вот из-за нее и началась между соседями упорная вражда. Степан Олифер справедливо считает, что береза принадлежит ему, потому что стоит как раз напротив его колодца, Тофиля правильно полагает, что береза стала ее собственностью, поскольку кривой верхушкой наклонилась как раз на Тофилину хату. Еще в низинах булькают веселые ручьи, а непримиримые, упрямые соседи до хрипоты в голосе выясняют, кому в этом году выпало пускать сладкий и прозрачный как слеза березовик.

С первым настоящим теплом валуны хорошо нагреваются, на них любо посидеть и без ссоры, но заканчивается обычно это удовольствие тем, что Степан Олифер, не выдержав бессмысленных домогательств Тофили, вскакивает с валуна и, на минуту повернувшись в хате, мчит к бедной березе с топором, сверлом и заранее выдолбленным осиновым корытцем. Злой и решительный, он просверлит в комле свежую дырку, вставит деревянный лоток и всю ночь будет выглядывать в окно, чтобы вероломная Тофиля не вычерпала из корытца сок или не устроила еще какую-либо гадость.

Кто хоть раз пил летом кислый березовый сок, в котором поверху плавает поджаренный ячмень, тот понимает, что Степан Олифер не зря волнуется и ссорится за березу. Холодный березовик из темного погреба хорошо утоляет жажду, добавляет энергии, и если не слишком часто лазать в бочечку, то квас не отскочит, простоит, пахучий и резкий, до самой жатвы. Божественным напитком тогда не пренебрегает даже переборчивая Тофиля: притомится с серпом на своей нивке, возьмет у Степановой Марки глазурованный кувшин и пьет, задыхаясь, наопрокидь, пока от того кваса не останется на дне только мелкая капля.

— До вечера еще далеко, а ты, глянь, уже весь квас выжлуктила! — рассердился однажды Степан Олифер. — Мне разве не жарко? — едва не силой вырвал он из чужих рук кувшин, проглотил остатки сам и напрямую через стерню пошагал на свой двор. — Пойду в погреб, зачерпну еще, эта жлукта даже и на глоток не оставила.

— Обездолила я тебя, коли и хлебнула глоток, — обиделась Тофиля и вполне серьезно сказала: — А береза, Степанка, не твоя, потому как около моей хаты растет. От захочу, так и спилю зимой на дрова.

— Я тебе захочу! Я тебе спилю! Я тебе дам дрова!

— Увидишь, будешь в лес за соком бегать, — Тофиля мгновенно оказалась на своей полосе, но и там продолжала ворчать: — Один пенек останется за хатой.

— Людей хоть бы не смешили! — с укором остановила ворчунов Марка, красная от солнца, потная от серпа. — Как сойдутся вместе — земля дрожит.

Острый серп в жилистых руках жницы — самый верный судья и миротворец. Когда-нибудь закончится у Степана Олифера запас березового сока, опустеет хлебное поле, придет печальная осень, зима с морозами и метелями, и хотя у Тофили, как всегда, дров маловато, спилить березу она не осмелится. Сосед не простил бы такой глупости, да и корявое дерево, похоже, нужно и самой Тофиле. Долгими зимними ночами, когда в хате стоит тоскливая тишина, береза за стеной шумит нежно и успокаивающе, а накануне весны, чуя близкое тепло, березу облепят стаи крикливых ворон, и это тоже немалое утешение для одинокой души.

Тофиля не зря тревожится, чтобы и нынешней весной было все так, как и прежде. Вот уже и земля освободилась из-под снега, вот уже и валуны на улице обогреты теплым солнцем, но Степан Олифер почему-то не торопится заявить свое право на кривобокую березу. Последнее время Тофиля жаловалась на здоровье, даже полежала в кровати несколько дней и поэтому поздно узнала, что нашлась младшая Олиферова дочка Стефа, которую еще при первых Советах вывезли в Казахщину, где живут люди с раскосыми глазами. С большой радости сосед, говорят, напился, побил Маркины горшки, и ясно, — как человеку при таком волнении думать о каком-то березовом соке, если через десять лет молчания родная дочь отозвалась весточкой из соседней Польши.

Первое письмо, самое радостное и самое неожиданное, пришло от Стефы в конце зимы, когда отшумели белые метели и в окрестностях деревни одуряюще запахли молодые вербы, а в хлевах вечных бедолаг Федоры Чиркун, Тодорки Дрозд и Луцеи Подгайской от голода немо заревели голодные коровы. Невообразимо красивый заграничный конверт, со всех сторон облепленный цветастыми марками, Степану Олиферу принесла Альжбета, его старшая дочь, поскольку работает почтальонкой и каждый день ранним утром бегает в Круговичи на почту. Конверт, еще не зная, что в нем, бережно разорвали, письмо прочитали, и тогда расчувствовавшийся до слез хозяин потопал в кладовку искать оплетенную ивовыми прутьями стеклянную бутыль. Пока он успокаивал свою радость, Марка успела обежать близких и далеких соседей с неслыханной и впечатляющей новостью.

Малое Село много дней было взволновано до крайности: не может отыскаться человек, которого нет, которого давно похоронили и даже начали уже забывать. Однако Стефа Неверовская не пропала, отозвалась из неведомой дали, и о ее счастливом воскрешении убедительно свидетельствовало письмо, написанное ее рукой. Заграничный конверт, спрятанный в самом уважаемом в хате месте — за образом Богоматери, кажется, излучал такое тепло, что Марка, сразу помолодевшая, может, на сто лет, простила своему старику буйный хмель, чистенько подмела осколки разбитого горшка и начала терпеливо ждать новой оказии из далекой Польши.

В то самое время, когда происходили столь невероятные события, прихворнувшая Тофиля валялась в постели. Весть о Стефе Неверовской ее нисколько не взволновала, и потому, когда, очухавшись, вылезла на теплый двор, была озадачена молчанием сварливого, как баба, Степана Олифера. Заметно ослабевшая от болезни, она увидела за стеной хаты распушившуюся березу, готовую отдать сладкий сок кому попало, потом взглянула на пустой валун у старого колодца и с большим сожалением поняла, что у норовистого соседа нашлась, наверно, важная причина не лезть в спор из-за никчемного кривобокого дерева. Да вот же и он сам, насупленный, гроз-

ный: вышел из хаты, пахнул дымком люльки и, бренча ведром, припустил к колодцу по воду.

— Степанка, постой, подожди! Ты что, не будешь этой весной пускать сок из березы? Самое время: и земля пухнет, и теплынь, как на Юрья.

— На Юрья хватает дурья! Отстань ты, кабетка, со своим соком. Моя Стефа нашлась, — может, слышала?

— Слышала, слышала! Диво, что уцелела с детьми в том кошмаре.

— Христаради просила, очистки картошки варила. Люди в Казахщине, куда Стефку сослали, не гляди, что черные да скуластые, — добрые, уважительные, — не дали пропасть.

— Радость тебе, Степанка, большая. Конечно! Тут уж, как говорится, не грех и напиться, и Маркины горшочки поколотить.

— Какие горшочки? Один только и зацепил. Это у тебя, бедолага, нечего поколотить, постную кашу и ту из черепков ешь.

— Ты видел, как я из глиняных черепков ем? Да у меня всего-всякого хватает, аж кублы трещат. Если на то пошло, то и береза у хаты не твоя, а моя.

— Ой, баба! Ой, злыдня! Не бреши у дороги и мне солнце не засти.

— Степанка, а может, спустишь все ж сока? — с надеждой, уже на ходу оглянулась Тофиля. — Неси свое корытце, я и слова не скажу. На жатву квас — как найдешь.

— Нечего жать, так и береза не нужна. Забери себе — хоть повали, хоть так спали. Ох, люди! Хай Бог п*а*нам баранує!

Надо быть дурачком набитым, чтобы так необдуманно отказаться принять роскошный подарок, потому что и отдавала его соседка, считай, за бесценок — хотела всего лишь теплого слова, доброго взгляда. Но Степан Олифер занатурился, и белоствольная береза к следующей весне целиком, от корней до макушки, оказалась в безоговорочном владении Тофили. Кривобокое дерево она, конечно, не пустила на дрова, но даже ковшик сладкого сока добыть ей не удалось. Назло соседу Тофиля нарочно долго возилась у комля с долотцем и топором, однако пристроить деревянный лоток не смогла, плюнула с досады и ушла, а свежие раны и царапины на коре затянулись влагой, брызнули живыми каплями, и тоненькая струйка по лохматой бересте потекла на землю, разлилась маленькой лужицей и сразу привлекла к себе множество всяческих сладкоежек — жучков, насекомых, черных полевых муравьев.

Комель с солнечной стороны покрылся розовой пеной, и еще не закончилось движение сока, как береза светло зазеленела, среди зубчатых молодых листочков на обвисших ветвях выскочили шероховатые пупырышки. Тофилина кривобокая радость и утешение выбрала момент расцвести как раз на Юрья, когда деревенские женщины собирали стадо на затравевшем выгоне, и Тофиле, у которой коровы, кажется, отродясь не было, ничего другого не оставалось, как, затаившись у забора, в одиночку любоваться своей березой и ревниво прислушиваться, что говорят языкастые соседки. Впрочем, те молча и равнодушно проходили мимо; но вот в отличие от людей, немалый интерес к расцвевшему дереву проявляли исхудавшие зимой, неспокойные коровы: чесались о морщинистый комель, пытались боднуть березу острыми рогами. Известно, это не животина, что вернется с первого выпаса в хлев без кровоточащих рубцов, но можно понять и женщин, притащившихся на выгон только для того, чтобы не дать слишком разгуляться ошалевшим от счастья рогулям. Среди ольховых кустов, вдоль извилистой канавы, рассыпалось по зеленым ложбинам еще настороженное стадо, а неподалеку толпились взволнованные женщины с жертвенными дарами ласковому маю и святому Юрью.

На первый выпас Федора Чиркун взяла красное пасхальное яйцо, Тодорка Дрозд принесла освященную в церкви ветку вербы, хитренькая Луцея Подгайская прихватила и то, и другое, да кроме этого каждая на своем дворе произнесла молитву и заговоры, заклятие от суроков, от злой зависти, от всякой напасти. Стояли женщины на краю выгона, обвеянные теплым сухим ветерком, с умилением следили, как изголодавшиеся коровки хватают аппетитную молодую травку, а потом среди соседок начался спор: когда в этом году загремело: на Великдень или после, на голый лес или зеленый? Хмурятся брови, морщатся в напряжении лбы, — в такой ответственный момент очень важно вспомнить, что первогром и в самом деле пришелся не на пустые ветки, — значит, быть урожаю и можно не бояться голода и мора.

— Я же у леса живу, хорошо знаю, что гремело на зеленый лес, — привела веское доказательство рассерженная Федора.

— Не то говоришь! Перед Великоднем, помню, накопала я хрена, стерла, а он слабый, даже в нос не бьет. Хрен всегда теряет силу после грома, — возразила упрямая Тодорка.

— Ой, бабы! Чего-то сюда бегом летит Попиха, — оглянувшись, испуганно сказала Луцея.

Надо заметить, что вовсе не обидное прозвище носит краснощекая грудастая почтальонка Альжбета, и ей нечего обижаться на чужие языки, если даже родной отец Степан Олифер, когда не в духе, за глаза и в глаза называет дочку Попихой. Она и вправду иной раз молилась в Круговицкой церкви, но ни прямых, ни косвенных отношений с местным священником не имела. Альжбетин хозяин Павел Худницкий когда-то не любил стричься — ходил длинноволосый и толстый, как бочечка, за что малосельцы и уважили его заслуженным прозвищем — Попик. С войны он вернулся искалеченным, вскоре умер, но поповская кличка перешла к Альжбете, и, как ни странно, не вызвала у нее ни протеста, ни возмущения.

После себя Попик оставил кучу мурзатых детей, и не старая еще мать просто выбивалась из последних сил, чтобы прокормить сирот. Каждый день на ногах: бегом в Круговичи и обратно, бегом от хаты к хате, и, наконец, не ее вина, что в одночасье, на святого Юрья, в Малом Селе пышно расцвела Тофилина береза, сочно зазеленели озимые, а в ее брезентовой сумке оказался знакомый заграничный конверт, обклеенный цветистыми марками. Еще на почте она узнала каракули, нацарапанные рукой сестры Стефы, в лесу тайно прочитала письмо и споро припустилась по дороге, чтобы поскорее рассказать людям неожиданную новость.

— Бабы, вы слышали, что наша Стефа пишет? — подбегая, выкрикнула Попиха и взмахнула рукой так, будто сыпнула курам зерно. — Пишет сестра, что в Польше пан Обухович нашелся. Живет он теперь близко от Стефы и носит к ней стирать портки и рубашки.

— Откуда нам было слышать? — первой отозвалась в самом деле удивленная Тодорка Дрозд. — А как же пани Тереза? Про нее Стефа ничего не пишет?

— Пропала пани Тереза. Еще в Казахщине от голода померла.

— Не диво. Нежная была, жила хорошо, а человеку, если приучен к сытости, как пить дать окочуриться от бесхлебицы, — равнодушно сказала Федора Чиркун, поскольку печальная весть мало ее тронула. — Но и пан хорош, если пани не уберег.

— Хорош или нет — тебе лучше знать.

— Ты что болтаешь, сводница брехливая? Ты на что киваешь? Ну, была я у них прислугой, только ж ты, цитра болотная, не видела, как я с паном любощи крутила и платья у него брала.

— Тут и видеть не надо. Обухович горел, как подсолнечник, так и Ядзюня твоя рыжиной обсыпана, — уже свекольная от злости, выдохнула Попиха. — Обмани, распутница вола, а не меня.

— Стихните, бесстыжие, так и до волосьев дойдет, — вмешалась в горячую свару Луцея Подгайская и стала между Федорой и Попихой. — Однако пора и до хаты топать, уже отсюда слышно, как свиньи в загородке визжат.

Напрасно торчать на выгоне и в самом деле не было причины: коровы освоились, полизали одна другую и, видя сочную зелень, забыли о своих острых рогах и дурных привычках. Разошлись в разные стороны, а разволновавшаяся Попиха вскинула на плечи брезентовую сумку и помчалась обратно через пустые еще огороды.

В погожие дни гудок Круговицкой кирпичи отзывается в окрестностях басовито и протяжно, и тогда Агата Волосюк, девка-вековуха, начинает торопливо будить Алексея Хомутовича, а это совсем не то, что будить залетника в слякотную сырую погоду. Если на улице беспрерывно лупит густой спорый ливень, стелясь по земле белыми брызгами, никто из соседей, наверно, и не заметил, как с чужого двора, сутулясь, чтобы не узнали, выскочил молодой конник на вороном коне и, резко повернув за угол хаты, в мгновение спрятался под покровом рыжего олешника. Ясным утром надо с ночной гулянки убегать, когда еще и солнце не поднимется, да и то мало надежды, что какая-нибудь старая торба не прилипла к окну и не считает копыта быстрому коню.

На рассвете спать хочется, аж глаза слипаются, но зычный басовитый гудок поднимет с постели и мертвого, потому что и кирпичня со своей гремящей трубой, на счастье или на беду, стоит близко от хаты — на пригорке, за голым и грязным лугом. Агата Волосюк тоже подхватывается с постели, еще минуту любуется молодым, иконописным лицом Алексея Хомутовича, нежно касается ладонью плеча приблудника и выбегает во двор, выводит из хлева Вороного, который застоялся в закуте и нетерпеливо перебирает ногами в ожидании дороги. Сытый, горячий жеребец с широкой грудью и белыми носочками нравится Агате, пожалуй, еще больше, чем сам измученный заспанный всадник, однако крепкая, щекастая Агата, зная высокую цену залетнику и его коню, правильно считает, что лучше было бы видеть их вместе на своем дворе, а не по отдельности.

— Ляксей! Когда ты опять ко мне заглянешь?

— А вот будет время, то и загляну.

— Ляксей! Я ж помру без тебя, высохну как щепка. И хата моя сгорит, и небо на землю обвалится.

— Не горюй, Агата! Соль святой Агаты бережет от огня хаты.

— Ляксей! Ждать буду.

Каждое утро, если нет дождя, зычный гудок кирпичи разбудит одержимых любовников у себя под боком, затем, перекатившись через высокий лесок, на пригорках и в низинах начинает будить малосельских сезонщиц, а заодно и все живое на много верст вокруг. Пока в соснах, затихая, еще носится эхо, Федора Чиркун успеет отправить корову в стадо, босиком по студеной росе вернется в хату, погреет немного потрескавшиеся ступни, и только тогда в своей кровати нехотя зашевелится Ядзюня. Кирпичню с ее настырным и неподкупным гудком деревенские девчата клянут на чем свет стоит, но уже, видно, до поздней осени не выспаться им, бедным, не приснятся на рассвете милые да суженые.

Распатланная, заспанная Ядзюня бренчит рукомойником, бегом летает по хате, и ее лучше сейчас не трогать. Федора жалеет дочь, но дочь не желает

материнской жалости и ласки. Ядзюня торопится на свою обрыдевшую кирпичню и безусловно справедливо думает, что она — молодая, интересная, привлекательная, и не стоит ей начинать свару с отжившими, старыми людьми. Больше всего Ядзе не хочется видеть въедливого соседа Мартина Полозка. Сутулый черт каждый раз, словно нарочно, вылезает из хаты, занимает стежку и давай плести разную чепуху, только бы подразниться с Федориным рыжим и сердитым счастьем.

— Ядзюня, ты не знаешь, кто это вчера вечером на моей лавке сидел и лавку поломал?

— Кому надо, тот и поломал. Я вашу лавку не стерегу.

— Ой, гляди, девка, чтоб не наделал беды мурзатый тракторист Ванька Заяц. Я его хорошо разглядел в окно.

— А при чем тут я, дядька Мартин?

— А при том, что лавку вдвоем будете чинить.

— Пускай Ванька Заяц и прибивает доску, если оторвал.

Нельзя сказать, что Мартин Полозок шутит или плетет чепуху. Он стоит на стежке в мокром диком клевере и гневно насупливает выцветшие брови: вот женихи пошли! Этот Ванька Заяц если и не потащит с собой, так поломает — или забор, или калитку, или лавку. Допытливый дурошлеп глядит в глаза, ему очень важно выяснить, как, при каких обстоятельствах было сделано ночное вредительство, но и Ядзю не купиш за грош: обошла въедливого соседа и — только пятки замелькали по росной траве. Добежала до березняка, отдышалась и дальше пошла легко, сразу забыв и про Мартина Полозка, и про вконец прогнившую лавку. Солнце поднимается над деревьями, над Имшечком в клочья рвется волокнистый туман, светлеют болотные вересковые островки и болотца, заросшие тростником, осокой, рогозой. Споткнувшись на ровном месте, Ядзюня мельком глянула себе под ноги, затем скользнула взглядом вдоль канавы и едва не ойкнула от страха: по канаве только что прошел какой-то неуклюжий и, судя по следам, немалый зверь. Спускался зверь вниз по течению, а там, где вылезал на сухое, с дерезы и лесного мятлика осыпалась роса, на траве осталась широкая темная полоса, будто незнакомый зверь пробирался здесь ползком. Кто бы то ни был: волк, барсук, лиса — с этого подозрительного места надо как можно быстрее убегать, и Ядзюня, не оглядываясь, со всех ног припустила по безлюдной боровой стежке.

Еще до первого гудка кирпични, едва лишь посветлело в кустах, старый бобер проснулся и растерянно выполз из хатки, чутко прислушиваясь к окрестностям. Вот и эту ночь он коротал в одиночестве, потому что молодая бобриха куда-то сошла и не дает о себе знать. Чувствуя, как ее строгий хозяин не любит дармоедства, последнее время она крутилась около плотины: рвала пучки прошлогодней травы, затыкала и замазывала глеем дырки, чтобы не просачивалась вода. Однако это было, кажется, к вечеру позавчерашнего дня, а сегодня уже второе утро, как бобрихи нет — ни в хатке, ни в кустах у протоки. С нарастающей тревогой бобер кинулся на пустые островки, внимательно оглядел тихие озерца — не видно было даже следка.

Жалеть гуляку, конечно, было не за что: маленьких жевжиков-бобренят она так и не привела минувшим летом, но поймать своевольницу следовало уже для того, чтобы задать ей хорошую взбучку. Опытный, мудрый, он знал, чем обычно заканчиваются такие гули, и сломя голову вертелся по Имшечку, пока не выбрался на стругу — переходную полосу между холмом и болотцем, поросшую ветвистым багульником и густыми, только пролезть, кустами голубики. За стругой, в низинке между песчаных пригорков, булькал знакомый ручей, и бобер в отчаянии пошлепал вниз по течению. Где-то там, за лесом

и деревней, петляя, течет болотистая Кудаха, и может быть, туда, на далекую речку, ушла капризная бобриха.

Неожиданный гудок кирпични застал рассерженного путешественника уже на выходе из леса, когда уютный Имшечек остался позади, а в просветах между елями золотисто брызнули первые солнечные лучи. Лес скоро расступился, и по ольховым кустам ворчливый ручей привел на берег продолговатого глубокого пруда. Лениво плескались волны, вдали из-за кустов торчал ржавый купол церкви с высоким крестом. Растерявшийся бобер оказался на былой усадьбе пана Обуховича, с краю селения. Недавно в поместье расположилась машинно-тракторная станция, и пруд, в котором когда-то помещик растил серебристых карасей, как нельзя лучше пригодился для мытья грязных машин и тракторов.

Только теперь, уловив в свежем воздухе вонь солярки и бензина, старый отшельник опомнился, понял, что забрался слишком далеко. При дневном свете переплывать пруд, чтобы продолжить путь на Кудаху, очень опасно, возвращаться в лес, на Имшечек, тоже рискованно, потому что утром и там, и здесь уже начали собираться люди. И бобер, не видя иного выхода, в отчаянии заполз под кудрявую елочку, которая одна только и выросла вблизи ручья в неказистом рыжем ольшанике.

Прятаться рядом с людным и шумным селением было страшновато, и, неловко устраиваясь под разлапистым деревом, лесной бродяга боялся даже пошевелиться, чтобы не выдать себя. Если бы в это время попалась ему на глаза неразумная бобриха, то, наверно, мало ей не досталось бы. Измученный бобер, мучительно ожидая вечера, сидел над ворчливым ручьем, чутко прислушиваясь к стуку железа в поместье, и когда вблизи в кустах зашуршала мокрая трава, он напрягся, сжался от ужаса. Но бояться не было причины: с песчаной дорожки вдоль берега пруда в ольшаник свернула стройная, рыжеволосая, на редкость красивая девица.

Бобер, разумеется, не знал, что девушку зовут Ядзюней и что она торопится на кирпичню таскать из глиняного карьера тяжелую деревянную тачку. Ядзюня с детства любила цветы, и наивно было бы думать, что, увидев над ручьем целую куртину сине-фиолетовых фиалок, она равнодушно пробежит мимо. Росистые, ароматные фиалки кого хочешь сведут с ума, и рыжая девица, совсем ошалев от них, выбирала лучшие цветы, складывала в букетик, а тельпуковатый бобер, затаенно глядя на нее, в это самое мгновение неосторожно повернулся под елью, зашуршал сухой иглицей. Только на секунду вздрогнуло деревце, но быстроглазая Ядзюня увидела перед собой черную блестящую шубу, резво отскочила, букетик вылетел из ее руки, и немой, нечеловеческий крик разорвал воздух:

— Мамочка, волк! Мамочка, спаси!

Со свертком под мышкой, в который был завернут сиротский кусок хлеба, вконец испуганная, окаменевшая Ядзюня так и осталась стоять около елочки, потому что ноги не слушались, будто приросли к земле, а из-под колючих лапок на девушку глядели тоскливые, безвинные глаза зверя. Сидел бы там и в самом деле волк или медведь, Ядзюня легко, бестрепетно отдалась бы на расправу, но, слава Богу, спасение было близко. От Круговицкой церкви по грязному переулку скакал на подмогу быстрый конь с развевающейся черной гривой, с широкой грудью и белыми носочками на ногах. Бобер выглянул из-за елочки, понял, что это скачет его смерть, и почему-то не захотел убегать в лес, хотя, наверно, успел бы убежать. Еще с первыми лучами солнца Алексей Хомутович оставил Агатин двор, убивая время, долго кружил в кустарниках за лугом, а потом уже смело, не опасаясь сплетен, пустил Вороного на

деревенскую улицу. Здесь, у церковной ограды, и застал его немой, отчаянный крик на Обуховичевом пруду.

Вороной, до боли взнузданный, просто взвился на дыбы, потому что там, в ольшанике, наверно, дела совсем плохи, если на помощь зовут маму. Выброшенный непонятной силой из-под елочки, старый бобер мгновенно смирился с суровой неизбежностью, закрыл тоскливые глаза и уже не слышал, как суковатый кол отчаянно бьет и уродует его неподвижное тело. В мокрой траве валялись растоптанные сине-фиолетовые фиалки, в сырой желтый песок ткнулся мордой неживой зверек, и многие были виновны в этой трагедии, случившейся на берегу пруда, возле ворчливого лесного ручья.

— Бобер? — удивился Алексей Хомутович.

— Бобер! — выдохнула Ядзюня.

Жесток и несправедлив белый свет: чтобы случайно встретились и виновато улыбнулись друг другу эти двое, должен был погибнуть кто-то третий. Старый бобер еще минуту назад хотел попасть на болотистую Кудаху и задать там хорошую трепку своей дурашливой бобрихе, но теперь ничто на земле для него не имело значения. Даже мертвый он был красивый, мудрый зверь: тихо и неловко лежал на берегу ручья, вызывая у молодых убийц запоздалую жалость и уважение. Глядя на грязное дело своих рук, Алексей Хомутович смутился; не отводя глаз от черной шубы, обсыпанной иглицей и сухими травинками, зарозовелась, начала выходить из шока Ядзюня. Ее отчаянный и храбрый спаситель с отвращением закинул в кусты суковатую палку, и может, впервые так близко взглянул на испуганную до слез, рыжеволосую девицу, и неимоверная, бешеная злость закипела в нем.

— Ты чего раскричалась на все Круговичи? С перепугу я и не разобрался, кто там сидит под елкой!

— Раскричалась, потому что думала — волк. Черный и глаза огнем горят.

— Не ходи абы где! По дороге ходи, где люди ходят.

— Не учи! Напрямую через лес мне на кирпичню совсем близенько.

— Гляди, еще не так напугаешься.

— Будешь от своей Агаты убегать, так опять заступишься.

Все тайны на земле, видно, существуют для того, чтобы их берегли, и Алексей Хомутович тоже таился, думал, что никто ничего не знает, а она, его сердечная тайна, вот где — у Ядзюни на языке! С того времени, как впервые попал в горячие объятия девки-вековухи, он еще ни разу с такой лютой ненавистью, как сейчас, не глядел на людей. Да и людьми нельзя было назвать это пугливое веснушчатое создание, которое в цветастом платье, магазинной курточке и сандаликах на босу ногу стояло перед ним. Вековуха Агата Волосюк, безусловно, имела свои преимущества и достоинства: лишнее не болтает, по-городскому, взасос целуется, к тому же и мягкая, как пышка, но нет у нее такого дьявольского, искусительного огня, который горел в больших карих глазах Ядзюни. Ненавидя ее, Алексей Хомутович, вместе с тем с удовольствием чувствуя на себе этот уничтожающий огонь, смущался все сильнее и на минуту даже забыл, кто он и чего ради оказался в кустах у Обуховичева пруда.

Он, конечно, помнил, что по двору Федоры Чиркун иной раз бегает что-то огненное и сварливое, однако, по-начальственному держась в стороне, не подозревал, что это девчонка уже подросла и способна ни за понюх табаку взбаламутить чужой разум.

Очухавшись после испуга, Ядзюня со смехом увидела, как чего-то стесняется и корчится волковатый взрослый парень, и ей, чертовке, очень понравилось своим дьявольским взглядом еще сильнее смущать его, искушать,

скручивать в бараний рог. Видит Бог, перед простодушной Агатой никогда так беспомощно не обвисали руки и не заплетался язык, как сейчас, и, дивясь неожиданному мороку в голове, Алексей Хомутович носком хромового сапога зло толкнул мертвого бобра в пах.

— Из Кудахи, наверно, притащился, — говорил что-то необязательное, пустое, только бы не молчать. — Когда-то бобров было в речке черт знает сколько. Пан Обухович шкуры возил в Варшаву мешками.

— Из какой Кудахи! Бобры у нас на Имшечке водились. Там, в затоке, и хатка их стоит, — со знанием дела возразила Ядзюня. — Я там на кирпичню хожу, своими глазами видела.

— Странно! Что ж я не слышал?

— Да, двое бобров было. Правда, вчера Гаврилова Ледзя хвалилась, что ее батька одного то ли застрелил, то ли в силки поймал. — Ядзюня вдруг нахмурилась, горячо вздохнула. — Ледзя носатая, противная, зачем ей бобровая шуба?

Надо быть круглым идиотом, чтобы не догадаться, куда клонит и какую корысть с недавнего своего испуга захотела поиметь расторопная и неглупая Ядзюня. Впечатленный необычайным нахальством и вымогательством рыжей хитрюги, Алексей Хомутович серьезно задумался. То, что он по-справедливости стал единственным владельцем чудесного бобрового меха, у него не вызывало сомнений, но, с другой стороны, шкура еще даже не облуплена, и, значит, дарить барышне-сморкачке просто нечего. И уже совсем возмутило Хомутовича, что бесстыжая Ядзюня вознамерилась разбогатеть за чужой счет, поскольку к гибели зверька имела косвенное отношение: испугалась, закричала — только и всего. Если же смотреть на вещи практичнее, за такой роскошный подарок щедролюбивая Агата и зацелует горячо, и постелет мягче, и кормить станет как на убой. Что правда, то не грех. Круговицкой королевой, даже имея богатый воротник, все равно любовница не станет, ибо любое сравнение с Ядзюней Агате не на пользу, и, поняв это, Алексей Хомутович смилостивился, процедил сквозь зубы:

— Не плачь, Ядзюня! Будет и у тебя шикарная шуба.

— Неужели отдашь? Да я тогда оденусь богаче пани Терезы!

— Как не отдать! Попрошу Гаврилу Трофимчика, чтобы облупил и выделал шкуру. Забирай у него и шей себе пальто.

— Так и забирать, даже без рубля? — заволновалась Ядзюня. — Очень дешево обойдется.

— Дешево или нет, а в кустах когда-нибудь притисну, — засмеялся снисходительно и немного издевательски великодушный Алексей Хомутович. — Только подрастай быстрее.

В сущности, смеяться там, где только что произошла трагедия, было немалым кощунством, и примечательно, что лучше людей эту простую истину понимал черный длинногривый конь. Зацепившись поводом за олешину, Вороной стоял сбоку, бил копытами и очень обижался на хозяина за невнимание. Нервный конь хотел напиться из ручья, но вода воняла соляркой, хотел сполоснуть в росе заляпанные грязью белые носочки, но трава уже начала высыхать. И вообще время было не раннее: гулом и грохотом наполнился механический двор, в переулке у церкви показались люди. Вороной видел, что в ольшанике над ручьем завязалась знакомая любовная игра, и по опыту знал, что обычно такие игры добром не кончаются. Назло любовникам он растоптал куртинку с фиолетово-синими фиалками, дернул повод, гневно фыркнул. Агату Волосюк, что держала его по ночам в темном хлеву, чуткий конь ненавидел, а вот на Ядзюню поглядел с нежностью и доверчиво потянулся к ее плечу.

— Ой, укусит! — испугалась Ядзюня и отскочила в сторону.

— Не бойся, он спокойный, — заверил ее Алексей Хомутович и поднял сыромятный повод. — Однако пора ехать!

Вдоль берега пруда вихрем пролетело цветастое платье, Вороной загарцевал под седоком, изогнул шею и во весь опор поскакал в Малое Село, где его ждала четверть доброго овса и охапка свежескошенного клевера. На берегу ручья, спрятанный под ель, остался лежать неживой бобер. Старого дурака, что так бездумно потащился на Кудаху, не разбудит уже ни плеск воды, ни зычный, басовитый гудок Круговицкой кирпични, и бедолага уже никогда не узнает, в чем он был виноват перед людьми и за что его в конце концов так бездушно убили. Он лежал под елью красивый, вполне достойный жалости, но некому оплакивать смерть даже самых красивых зверей.

Из Малого Села, как только туда доскачет Вороной, на Обуховичев пруд вскоре примчится Гаврила Трофимчик, острым охотничьим ножом сотворит с бобром то же самое, что накануне сотворил с его подругой, и без каких-либо укоров совести пойдет назад по болотистому Имшечку, мимо осиротевшей бобровой хатки на берегу гнилого болотца.

Часть вторая

1

Чего-чего, а железа теперь в Малом Селе хватает. Железом с утра до вечера гремит-грохочет Круговицкая машинно-тракторная станция; на куски железа можно набрести в любом перелеске; ржавым, изуродованным железом едва не до потолка набита задымленная кузница-развалюха. Малосельский кузнец Костусь Танец в старые времена, при поляках, каждую весну ломал голову, из чего бы склепать обычную мотыжку на три зуба, выковать лемех или вставить зуб в борону, и когда — пешком или на коне — возвращался из Ганцевичей, то, озабоченный вечной нехваткой железа, особенно внимательно вглядывался под ноги: иной раз везло поднять то утерянный шкворень, то совсем новенькую подкову, то что-то еще.

Собирать на дороге железяки после войны пропала необходимость, потому что с переменой власти изменился и всегдашний жизненный уклад полешуков. Когда в Малом Селе образовался колхоз и люди утратили свои земельные наделы, остались без гумен и овинов, даже есть стали одну и ту же пищу: остистый хлеб, бульбу, ржавую селедку с соленым рассолом, — все как один, не глядя на явное обнищание, на долгие годы, а то и на целые десятилетия, запаслись дармовым казенным железом.

Просторную панскую конюшню, выбросив перегородки и ясли, новые хозяева имения перестроили в ремонтную мастерскую, а сбоку, в пристройке, где когда-то находился сарай для телег и саней, на кирпичном фундаменте поставили трескучий дизель, который с утра до позднего вечера с помощью длинного паса крутил динамомашину. Вся эта кустарная техника сильно напоминала молотилку с конным приводом, и тут, кажется, не было чего-то непонятного, однако человеку очень хотелось знать, почему в сумерках на столбах загораются фонари и не вмешалась ли сюда какая-то нечистая сила. На ночных дежурствах Степан Олифер подолгу не сводил глаз с алюминиевой проволоки, но несмотря на душевные муки тайна не открывалась, и он возвращался в свою будку растерянный и печальный.

В старое доброе время, когда гумна малосельцев, у кого беднее, у кого богаче, все же были заполнены снопами жита, никакой дурак, конечно, не

стал бы жлуктить синюю вонючую гадость, от которой сводит челюсти и глаза лезут на лоб. Но теперь своего жита давно не сеют, выгнать хорошей самогонки не из чего, и что уж говорить о других сельчанах, если даже самые отъявленные самогонщики пан Винцусь и пан Бронюсь притихли. Непьющих людей в Малом Селе много, но и пьянтосов хватало. Имея десять рублей, неисправимый выпивоха смело стучался к знаменитым панам, добыв денег в два раза больше, бодро шагал в магазин, а бедные трактористы, чей труд оценивался натурой и ничтожным количеством рублей, на свой страх и риск пили дармовой спирт, выписанный на казенном складе для мытья тракторных деталей. Отпетые выпивохи не пугались человеческого черепа на этикетке в перекрестье ужасных голеночных костей, потому что, к всеобщему удивлению, от этого яда ни один пустодомок не окочурился.

Свой страх перед неизвестным Степан Олифер преодолевал тем, что, во-первых, подсиненный денатурат разбавлял водой, а во-вторых, если пил, то крепко, до боли в веках зажмуривал глаза. И добывать этот вонючий напиток у него был хитрый и испытанный способ: из дома, где еще что-то было в кадке, на полдник себе он брал добрый ломоть домашнего хлеба, емкий кусок пахучего сала, а если Марка куда-нибудь отлучится, то и отщипывал кусочек свиного окорока или подсушенной колбасы. С таким богатым угощением Степан Олифер смело шел в контору, располагавшуюся в бывшем панском флигеле, вытрясал во время обеда свою торбочку на канцелярский столик и неназойливо приглашал угоститься бухгалтершу Шутянку и кладовщицу Сергееву, женщин приблудных, без собственных соток и огородиков. Ржавые селедки и свекольная патока из эмтээсовского магазина им давно опротивели, от чая с сахарином мучает икота, и они жадно, как с голодного края, набрасываются на удивительные, век не виданные лакомства. Сам же Степан Олифер зацепит пальцами скибку хлеба, возьмет в рот кусок сала и с иезуитской хитростью терпеливо ждет, когда у женщин глаза осоловеют от сытости и удовольствия, и тогда говорит:

— Вот кабы денатурату каплю, а?

— Так это же отрава, Степан Васильевич! — жалеет своего приятеля и доброжелателя Шутянка. — Там черт знает чего накидано, чтобы люди не соблазнялись. Яд!

— Да пил, холера не берет.

— Ладно, налью рюмку, — соглашается на большое преступление Сергеева. — Но если что, если, не дай бог, помрешь, не говори, что я виновата.

Разведенный водой, злой напиток белеет, шипит, пускает пузыри и такой, очеловеченный, уже годится к употреблению, хотя яда в нем вряд ли стало меньше. Мученически крякнув, Степан Олифер глотает отраву, а через несколько минут лицо его приобретает выражение наивысшего удовлетворения. Прокуренные усы топорщатся, как иголки у ежа, и на увядших синих губах расплывается счастливая улыбка. Высокое удовольствие держится на лице долго, соблазняя вонючим питием оголодавших служебниц. Приобретя дар красноречия, Степан Олифер путано, одного за другим, вспоминает знакомых трактористов, что жрут денатурат без меры, и, слава Богу, никакой черт их не взял.

Сперва боязливо, потом смелей, потом уже совсем смело Шутянко с Сергеевой начали пробовать технический спирт, пробовали не один раз в неделю, а поздней осенью, когда зарядили слякотные затяжные дожди, обе приучились выпивать уже наравне со своим змеем-искусителем.

2

В Круговичи, на кирпичню, Ядзюня обычно бегает напрямую — через лес, по болотистому Имшечку, но Федора Чиркун не какая-нибудь вертихвостка: в эмтээсовский магазин за хлебом ходит извилистой лесной дорогой, что начинается сразу за крайними хатами Малого Села. Идти так много дальше, зато весело. По лесной дороге, которая упрямо стремится через темный ольшаник и не менее мрачный старый ельник, стайками пробегают школьники, едут на телегах люди, а иной раз пешеходов догонит случайный грузовик и милосердно подбросит до МТС. С того времени, как окрестности наполнил непривычный стук железа, ожила и когда-то тихая, малоезженая лесная дорога. Забота у малосельцев теперь одна: вырвать у распанелой эмтээсовской магазинщицы Лизаветы Каэтановны хоть буханочку хлеба, и поэтому и у того, и у этого, кто бежит через старый ельник, в руке телепается или хороший мешочек, или немаленькая посконная торба.

До Ганцевичей, а тем более Барановичей, от Малого Села свет неблизкий, да и там у хлебных магазинов, по слухам, толкучка и столпотворение, очереди по версте, сюда же, в Круговицкую МТС, хлеб завозят три раза на неделе, и потому многие то обманом, то хитростью, то обычным подхалимством стараются разжиться хотя бы одной, а то и двумя тяжелыми, как кирпичи, буханками. Своего хлеба в Малом Селе давно не пекут, потому что не из чего, а покупной очень уж неспорый: кусок Ядзюне, кусочек себе, глядишь — осталась лишь малая горбушка. И тут хочешь не хочешь будешь лисой ластиться к неприступной Лизавете Каэтановне, чтобы отжалела тот недопеченный, тестяной кирпич, и опять же и в летнюю жару, и в такую, вот как сейчас, осеннюю слякоть сломя голову помчишься в магазин, если в хате ни корочки и, хоть разорвись, нечего дать измученной Ядзюне на полдник.

Ходить по шумной лесной дороге Федоре нравится еще и потому, что за деревней к ней обязательно присоединяется или Тодорка Дрозд, или Луцея Подгайская, а то и обе вместе. Увидят женщины, как напрямую через глубокие рытвины бесстрашно шлепают литые резиновые сапоги, и бегут следом, тоже с полотняными мешочками и сладкими надеждами во что бы то ни стало обхитрить разжиревшую продавщицу. У женщин одна беда, одно горе, потому и разговор по дороге один: про житье-бытье, про послевоенную бедность, которая почему-то не заканчивается и неизвестно когда закончится. Разгоряченную от быстрой ходьбы Федору Чиркун, наверно, нарочно почти каждый раз подстерегает старая Полежанка, мать шалопутного Ваньки Зайца, лодырища и сплетница. Незаметно прилепится к женщинам и всю дорогу, хочешь не хочешь, слушай ее бессмысленную болтовню.

Женщины негромко переговариваются о потерянных мужьях, о сегодняшней нищете, об Алексее Хомутовиче с его бедняцким колхозом, а эта назойливая хитрюга, поглядывая на Федору Чиркун, до самой МТС бесконечно болтает про своего недоростка Ваньку. Он у нее, видите ли, такой послушный, такой хороший и трудолюбивый, что даже в числе немногих взят на полное государственное обеспечение. Весной Федотов выписал ему комбинезон из «чертовой кожи» — одежке век сноса не будет, выдал крепкие кирзовые сапоги — на три года хватит, да кроме этого приказал поставить Ваньку на льготную очередь в эмтээсовском магазине. У нее, Полежанки, сказать правду, нет надобности ходить за магазинным хлебом, потому что в сезон, на пахоте, на посевной и жатве, Ванька заработал в окрестных колхозах аж десять пудов жита — можно намолоть муки да испечь своего, душистого, ноздреватого.

Федора Чиркун слушает пустую похвальбу известной малосельской сплетницы и понимает, куда она клонит: не раз уже слышала от людей, что Полежанкин Ванька липнет к Ядзюне. Поэтому Федоре обидно вдвойне: кавалер он очень неудачный — криворотый, низкорослый, болтливый, как мать, а больше всего удивительно, за какие заслуги государство по-отечески заботится об этом набитом дурне? Ему и то, и другое, а Ядзюне, хотя и работает она больше Ваньки Зайца, таская тачку с сырой глиной, никакого уважения от власти: выдадут брезентовые рукавицы, одну пару на сезон, и больше ничего — ни комбинезона, ни сапог, даже хлеба на кирпичню ни разу не привезли. Федора Чиркун, разбрызгивая сапогами грязь, хотела уже возмутиться болтовней раскрасневшейся Полежанки, и это возмущение было бы по-настоящему искренним и справедливым. Федора поджимала губы, набиралась злости, но Луцея Подгайская, вспыльчивая и горячая, как кипяток, опередила ее.

— Откоснись ты, Зося кудлатая, со своим мурзатым Ванькой. Слушать тошно, — сказала она на бегу, даже не обернувшись к Полежанке. — Чего ты за казенным хлебом бежишь, а своего не напечешь? А потому что не умеешь, бестолковая.

— Кто, это я не умею? — даже споткнулась от неожиданного оскорбления Полежанка. — Ты приди да погляди, какие у меня пышные хлеба лежат на шкафчике. Ага, не умею! А жито берегу, чтобы кабанчика пудов на двенадцать завалить. К весне, даст Бог, Ванька жениться надумает, может, даже с Ядзюней, то надо ж свадьбу справить богатую.

— Что мне, жени своего хлопца, — наконец набралась злости Федора Чиркун. — Только знай, Зося: пускай Ядзюня сама выбирает, за какого шалопута ей замуж идти.

— Мой Ванька — шалопут? — брызнула слюной Полежанка. — А никто дурного слова про него не говорит. Он у меня и тракторист хороший, и хлопец справный. — Сплетница забежала вперед Федоры и с ненавистью заглянула ей в глаза: — А не потому ль ты говоришь так, что твоя рыжуха перед Алексеем Хомутовичем листком стелется? Думаешь, люди ничего не знают, ничего не видят? Хотя тут все ясно: колхозный председатель, конечно, не тракторист.

— За кого захочет Ядзюня, за того и пойдет. Мешать не буду.

— Бог видит, против моего Ваньки никто не скажет. Сам директор эмтээса хвалит. Вон и кольбизон, и сапоги выписал. А другим летом Ванька еще и пшеницы привезет. Так что голодать не будем, хватит у нас и пирогов, и хлеба.

— Перестань, Зося, молоть языком! — вмешалась в неожиданный спор рассудительная Тодорка Дрозд. — Видела я твои хлебы! Не хлеб, а какой-то лямец. Сырой, тестяной, а муку ты даже не просеяла — ости торчат.

— Хозяйка, хлеб не удался, под коркой кот спрятался! — писклявым голосом насмешливо пропела Луцея Подгайская.

— У вас и такого нет, сучки бесхвостые! От опять Лизке Каэтановне будете в ножки кланяться. Можно подумать, что они муку просевают!

Обиженная, разозленная Полежанка с этой своей очевидной правдой рванулась вперед, обходя рытвины, выбилась перед горкой на вытоптанную стежку, и скоро ее посконная торбочка с красными кистями скрылась за поворотом дороги. На языках у женщин вертелись язвительные, колючие слова, которые, возможно, до слез проняли бы бездельницу, но скандалить и сквернословить, кричать на весь лес уже было нельзя, потому что в просвете между вековыми дубами матово блеснул купол Круговицкой церкви с боль-

шим черным крестом на маковке. Федора, Луцея, Тодорка, как по команде, не сговариваясь, перекрестились, и всякая злость на безумную Полежанку исчезла. Выкрикивать обидные, непристойные слова в спину пускай себе и нехорошему человеку теперь было бы немалым святотатством, и никто из женщин не захотел взять на душу такой грех.

Церковный купол, кроме того, напомнил, что МТС с хлебным магазином близко, поэтому будет лучше, если конец дороги использовать на изобретение какой-нибудь свежей похвалы для неприступной Лизаветы Каэтановны. Почти бегом миновали Пчельник — дубовую гряду, названную так в неведомо какие времена, оставили справа березовую аллею, посаженную когда-то самим паном Обуховичем, и глазам открылась серая, гремящая панорама машинно-тракторной станции: новый кирпичный гараж для комбайнов, задымленная кузница, ремонтная мастерская в сполохах электросварки, широкая площадь, сплошь заставленная плугами, сеялками, разобранными тракторами.

Подходя к бывшей панской усадьбе, Федора всегда сильно волнуется, и ее волнение вполне можно понять, если вспомнить, что Ядзюня цветом волос имеет кровную схожесть с рыжеватым Обуховичем. Большой панский дом, срубленный из сосновых бревен, стоит на склоне холма, но со всех сторон закрыт высокими деревьями, густым, непролазным кустарником. Весной этот зеленый остров в стороне от Круговичей, безусловно, очень красив: шумят молодые, клейкие листья берез и вязов, цветут сирень и акация, в ветреные дни взлетает белая метель лепестков со старых яблонь и груш. Давно запущенный, одичавший сад начинается сразу за флигелем, там теперь находится дирекция МТС, и тянется до самой церковной ограды. И над всем этим великолепием до боли в ушах звенят пчелы и шмели, без устали поют, свистят и кричат дрозды, скворцы, сороки, благо деревья на панской усадьбе старые, дуплистые, — лесным птицам, не говоря уже о серых воробьях, есть где жить, есть где свить большие и малые гнезда.

Глубокой осенью, когда начнутся обложные дожди, в когдатошнем поместье, как и в окрестностях, неуютно, пусто и тихо, только время от времени в мастерской вдруг заревет тракторный двигатель, да еще долетит перезвон железа и стук молота из кузницы, мимо которой Луцея и Тодорка мчатся галопом — как молодые кобылицы. Еще перед Пчельником женщинам встретились школьники, которые из Малого Села ходят в Круговицкую десятилетку, и, перебивая один другого, сообщили, что хлеб в магазин давно привезли, разгрузили, а продавщица, утомившись в тесной кабине грузовика, пошла домой отдохнуть и поесть.

— Весь хлеб разберут, — испугалась нетерпеливая Луцея Подгайская. — Тащимся, как черепахи.

— И правда, еле ноги переставляем! — поддержала подругу шустрая Тодорка Дрозд.

— Так побежали, нечего языками молоть! — резонно сказала Федора Чиркун.

С места в карьер, где рысью, где галопом, и скоро набрали такой темп, что через двести метров запарились, но, слава Богу, к панскому дому прибежали не первые и не последние, удачно втиснулись в большую толпу у дверей эмтээсовского магазина. Люди пока стоят тихо, спокойно, каждый понимает: магазинщица тоже человек, и ей, уставшей, надо немного посидеть в тепле и похлебать чего-нибудь горяченького. Тяжело дыша, молчит Луцея, утирая лоб, ни словом не обмолвилась Тодорка, а Федора, ослабевшая от бега, с любопытством, словно давно здесь не была, рассматривает до боли знакомую Обуховичеву усадьбу.

С того времени, как красное войско прогнало польских захватчиков и кровососов, внешне панский дом почти не изменился, лишь заметно почернел, кое-где загнил по углам, местами потрескался да появились дырки в черепичной крыше.

Правда, внутри новые хозяева имения все перестроили на свой лад: на втором этаже нынче библиотека и столовая для трактористов, на первом живут бухгалтерша Шутянка, кладовщица Сергеева и тьма других эмтэзсовских служащих. Магазин же с тыльной стороны, в просторной пристройке, где когда-то обреталась разномастная панская челядь — всяческие поваренки, конюхи, служанки, а фасадом дом повернут к пруду, в котором Обухович выращивал жирных карасей, карпов, раков и где в конце лета Алексей Хомутович, спасая Ядзюню, неожиданно убил черного лесного бобра. Вся площадь вокруг бывших хором загажена обрывками газет, окурками, ржавыми жестянками, ломаными магазинными ящиками, а там, где когда-то были цветочные клумбы, лежит почерневший от дождей картофляник: видно, кто-то из оголодавших эмтэзсовских, к примеру, Шутянка или Сергеева, сажают картошку как раз там, где всегда росли нарциссы и розы, астры и георгины.

— Какая дикость, какое запустение! — горько вздохнула Федора Чиркун и, думая о чем-то своем, отвернулась в другую сторону.

Перед высоким дощатым крыльцом панского дома берет начало широкая песчаная дорожка; миновав густые заросли сирени и акаций, она бежит по насыпной дамбе, а затем, вильнув влево, взбирается на довольно крутую Малицкую гору. Малицкая гора славна уже тем, что на верхушке ее стоит дуб-великан: три обхвата у комля, развесистый и такой высоченный — шапка свалится, если глянешь. Как раз напротив непоколебимого полесского великана, через дорожку, в покосившейся старенькой хатке живет инвалид войны и труда — Серж Малицкий. Среди земляков он стал знаменит тем, что два года тому назад райсобес прислал ему новенькую мотоколяску на трех колесах, с никелированным мотоциклетным рулем. Поглядеть на такое чудо сбежались едва не все Круговичи, но скоро Малицкий заявил, что ездить на мотоколяске не сможет, поскольку сохранился у него лишь один процент зрения. Трехколесную тачку почему-то власть не забрала, но и продать или передать какому-либо бедняге не позволили — без надлежащего ухода, под дождем и снегом райсобесовское чудо техники за две зимы заржавело и полностью сгнило.

И еще одна достойная внимания примечательность имеется на Малицкой горе. На противоположной стороне от имения поставила после войны дом магазинщица Лизавета Каэтановна, где и теперь живет с двумя малолетними сыновьями и длинноногим, горбоносым и очень нервным мужем Адасем. Адась не выговаривает звук «н», хотя обыкновенно заики спотыкаются на «л», «р», «ш». Большой беды в этом, конечно, нет, но плохо то, что над Адасем смеются даже деревенские сопляки. Направляясь в школу, они нарочно шагают через Адасевы сотки, а разозленный хозяин, увидев такое нахальство, выбегает из хаты, хватает палку и кричит во всю мочь: «Ау-ка, азад!», что на понятном человеческом языке означает: «А ну-ка, назад!» Наглецам это смешное «ау-ка, азад» как раз и нужно: они разлетаются в стороны, как воробьи, топчут картошку, и хохот стоит кругом!

Вот чем она необычная, эта Малицкая гора: великаном дубом, полуслепым Малицким, заикой Адасем. Но особенно высокую цену знаменитая гора получает, когда, посидев часок в тепле и похлебав горячего, сверху вниз спускается сытая, упитанная магазинщица Лизавета Каэтановна. За каждым

ее шагом, за каждым движением следят снизу сотни внимательных и неспокойных глаз, но чаще всего, опасаясь голодных галлюцинаций и миражей, люди своим поблекшим глазам не доверяют и за угол панского дома, откуда Малицкая гора видна значительно лучше, посылают на проверку шустрых, непоседливых мальцов.

— Идет, Лизка идет! — врезавшись в толпу, выкрикнул сопливый охламон в порванной фуфайке и стоптанных кирзовых сапогах.

— Наелась, как свинья, еле тащится, — сообщил другой малолетний обормот с голодным блеском в глазах и широким — от уха до уха — жабьим ртом.

— От же брюхо! Переваливается, как утка осенняя, — выглянула за угол панского дома нетерпеливая Луцея Подгайская.

Серая, мрачная, притихшая было толпа отреагировала сразу — неспокойно зашевелилась, отозвалась возмущенными голосами, а Федора Чиркун, тоже сердившаяся на неповоротливую продавщицу, совсем некстати подумала, что про вихляющую походку, как у Лизаветы Каэтановны, лучше не скажешь: перед пишет, как зад читает. Такому сытому брюху даже спускаться с горы тяжело, но, может быть, продавщице еще тяжелее будет протиснуться сквозь людскую толпу, что развернулась от дверей магазина до побуревших кустов акации. Однако мимолетная тревога оказалась напрасной, потому что люди, как только Лизавета Каэтановна показалась из-за угла панского дома, сразу расступились, давая ей дорогу. На раскормленную магазинщицу преданными собачьими глазами смотрит Луцея Подгайская, льстиво улыбается Тодорка Дрозд, да и Федора Чиркун не заметила, как склонилась перед сытым брюхом в низком земном поклоне. Ей, усталой женщине, нисколько не стыдно: если хочешь хлеба, поклонишься и дьяволу, и черту. И это чистая правда, потому что Лизавета Каэтановна, помахивая связкой ключей, ступает важно, чинно, с достоинством, будто спустилась не с Малицкой горы, а сошла с Олимпа.

Притихшей, испуганной толпе уже трудно определить, кто перед ней: то ли обычная сельская магазинщица, умеющая ловко щелкать на облезлых счетах, то ли пресвятая богиня Юнона — заступница, защитница всех женщин. Но в глазах разжиревшей Круговицкой Юноны почему-то стоит презрение, и брезгливо кривятся губы, когда с крыльца магазина окидывает взглядом пеструю толпу, в которой платков и кашемировок все же больше, нежели облезлых мужских шапок. Пестрые платки и кашемировки можно ненавидеть, на облезлые шапки, в конце концов, можно не обращать внимания, но у богини, сошедшей с Малицкой горы, есть очень надежный, не раз испробованный, даже ритуальный способ сотворить гадость и тем, и этим.

— Хлеба сегодня привезла только два ящика, — открывая двери магазина, бросила через плечо Лизавета Каэтановна. — На всех не хватит. Кто не эмтээсовский, очередь может не занимать.

Толпа встревоженно пошевелилась, толпа сперва растерялась и онемела, но тут же успокоилась, еще теснее сплотив обшарпанные, сутулые ряды. Ну кто, скажите, поверит этому очевидному и наглому вранью, если хлеб из Ганцевичей в МТС привозят три раза в неделю, и каждый раз ни больше ни меньше — ровно два больших деревянных ящика. Но несмотря на серьезность заявления Лизаветы Каэтановны, ни один платок, ни одна кашемировка не уйдут из очереди, уверенные, что хлебными буханками от окна до прохода заложен весь деревянный прилавок, да еще столько же под прилавком.

Первыми к этому душистому богатству, конечно, добрались механизаторы и служащие МТС: им в своем магазине все без очереди, без счета и меры, доставай только мятые рубли да оплачивай товар. В руках Лизаветы

Каэтановны быстро мелькают то буханки хлеба, то железные гири, и вот уже привилегированная часть местного населения, все эти начальники, трактористы и шоферы по одному вываливаются из дверей магазина. С авоськами, набитыми доверху, мимо очереди прошагали высоченный начальник политотдела Большевик и слесарь Франек Живуцкий, гордо пробежали Шутянка и Сергеева, кряхтя, со своей знаменитой поговоркой «Хай Бог п*а*нам барануе!», придерживая торбочку под мышкой, в свою сторожевую будку протиснулся сгорбившийся и постаревший Степан Олифер. Это, что ни говори, люди заслуженные, но ведь и мурзатый, ничтожный Ванька Заяц с двумя буханками хлеба, проходя мимо односельчан, взглянул презрительно, высоко задрал рыло. На дураков не обижаются, да и обижаться некогда. Федора Чиркун оказалась уже у прилавка, перед ней стоят только Луцея Подгайская и Тодорка Дрозд. Шанс купить хлеба у каждой из них одинаковый, и потому все трое явно нервничают и то беспокойно поглядывают в окно, уже подсиненное ранними осенними сумерками, то испуганно вглядываются в лицо Лизаветы Каэтановны, которая, кажется, только и ждет, чтобы малосельские беднячки бухнулись перед ней на колени. Однако хватит клеветать на служащего человека: не такая уж продавщица гордая и неприступная, как кажется, случается, и у нее шевельнется что-то похожее на жалость и сочувствие.

Вот гулко стукнули весы — это ласковые, нежные слова Лизавете Каэтановне сказала Луцея Подгайская. Вот опять на весы упали килограммовые гири — это хозяйке магазина льстиво улыбнулась Тодорка Дрозд. Вдоль притихшей очереди к двери обе они протиснулись веселые и счастливые, вслед им многие посмотрели с завистью. Люди, наверно, слышали, что сказала Луцея, они хорошо видели, как преданно улыбалась Тодорка, так почему же и им не перенять такой полезный и добычливый опыт? Удача подруг, которые вымолили у магазинщицы аж по две буханки казенного хлеба, не взволновала, пожалуй, только Федору Чиркун. Когда-то она не зря прислуживала пани Терезе и теперь лучше всех знает, как, не подлизываясь, можно угодить этой белощекой и светловолосой холере за прилавком.

— Сегодня ты, Лизка, такая блядная, такая блядная!

— Что, что? Какая я? — навострила уши неприступная, спесивая продавщица. — Что ты плетешь, Федора?

— Так это же я говорю: ты, Лизка, такая блядная, такая блядная! Ну, точно как когда-то пани Тереза.

— Кто, я — блядная? — не поняв хитростей малосельской подлизы, взвилась на дыбы грузная Лизавета Каэтановна. — Если я блядная, то ты, Федора, настоящая лярва.

— Прости, Лизка! Я только хотела сказать, что сегодня ты похожа на пани Терезу, когда та, бывало, подкрасится своими красками. Вот потому и блядная, беленькая, значит.

— Уйди! Уйди с глаз, сплетница! И не стой тут, не дам я тебе хлеба, — обиженно прошипела в самом деле белая от злости магазинщица. — Гляньте вы на нее! Выходит, это и я крашусь, чтоб мужикам нравиться? Не, не стой, милка!

Красная от стыда за длинный свой язык, растерявшаяся Федора Чиркун, держа на весу пустую торбочку, мигом скатилась с высокого крыльца и, чудом устояв на ногах, беспомощно оглянулась вокруг. Гори огнем и Лизка, и ее нищенский магазин! Теперь один выход: или одолжить, или попросить знакомого тракториста, чтобы купил тайком хлеба у ненавистной Лизаветы Каэтановны. Федора присмотрелась к толпе и с облегчением увидела, что здесь много таких же, как и она, неудачников, кому дорога в магазин

заказана. Ближе к двери, на провисшей жердине, будто старые мокрые воробьи, сидят загрустившие пан Винцусь и пан Бронюсь, без надежды на милость дебелой продавщицы слоняются вдоль длинной очереди лупатый Есель и понурившийся Мартин Полозок. Все — соседи, да еще самые близкие — будет с кем идти домой через темный осенний лес. И уже совсем повеселела Федора Чиркун, когда вдруг увидела, что из-за угла панского дома к ней встревоженно кинулись малосельские бедолаги Луцея Подгайская и Тодорка Дрозд.

3

Каменистое поле со стороны Малого Села вплотную подступает к бедной усадьбе Федоры Чиркун, затем, обойдя садик Мартина Полозка, изогнутым клином цепляется за мрачный еловый лес. Этот забытый начальством угол все лето гулял, и на нем, вконец затравевшем, очень удобно было пасти стадо — хватало здесь и сочного хвоща, и полевого клевера, и съедобной кастероги. Пар, кое-где утыканный колючими грушами-дичками, Алексей Хомутович намеревался вспахать под озимую рожь, но молодому, не слишком опытному председателю многое мешало: горячая, слезливая любовь Агаты Волосюк, частые вызовы в Ганцевичи, да и, скорее всего, в колхозе нечем было засеять немалый кусок земли, который после затяжной передышки уже и сам жаждал увидеть вблизи заботливого сеятеля. Без меры влюбчивый малосельский вожак на быстром, взмыленном Вороном случайно скакал мимо и, косясь на Федорину хату, с ужасом увидел запущенное, затравевшее поле: это же беда, это же страх, что может случиться, если завтра сюда заглянет какой-нибудь настырный агроном из райземотдела!

На эмтээсовской усадьбе, как только туда вихрем домчался Алексей Хомутович, началась неслыханная суета, шум-гам. Пар около Федориной хаты взволновал и самого директора Федотова, и начальника политотдела Большевика, и тьму других больших и небольших начальников. Где-то в углах ремонтной мастерской нашли, на счастье, еще неразобраный для ремонта трактор, где-то под забором среди всякого хлама отыскали пятилемеховые плуги, а тракториста и искать не надо: вспахать землю под окнами у своей возлюбленной — Ядзюни — напросился Ванька Заяц, взяв прицепщиком знакомого охламона Збышека из механизаторских курсов. Уже пополудни в направлении Малого Села по лесной дороге загрохотал гусеницами расколошмаченный старенький «натик», немного в стороне от него рысил запылившийся Вороной, и со стороны глядя на беспокойное, постное лицо Алексея Хомутовича, редкие прохожие начинали понимать, что к чему.

— Ваня, может, придется пахать и ночью, так что проверь, чтобы фары хорошо светили, — строго приказал председатель, когда, вывернув из-за елового леса, трактор остановился на краю невспаханного поля.

— Сам знаю. Светят у меня фары, — огрызнулся насупившийся Ванька Заяц.

— Как бы ночью снег не выпал. Сильно зябко. И ветер северный, — озабоченно произнес охламонистый Збышек.

Все трое: шалопутный председатель, малахольный тракторист и зеленый, безусый еще прицепщик, как по команде взглянули на низкое, серое небо, но ничего там не увидели такого, что заинтересовало бы каждого хоть на миг. Небо, от края до края затянутое сизыми, с редкими проплешинами тучами, и правда обещало на ближайшие дни и снег, и метель, и пургу. Суровым видом оно грозило до колен засыпать белой крупой невспаханное поле, и это

его намерение подтверждали трескучим карканьем вороны, которые, услышав знакомое лопотание трактора, закружили над полем. Наглецы густо облепили старые дички и теперь замогильными криками просили, вопили, требовали, чтобы трактористы побыстрее раскинули первые борозды, вывернув из земли или толстых личинок майских жуков, или хотя бы задрипанных червячков. Однако вопли оголодавшей стаи мало волнуют людей на краю поля. Один не торопится дернуть рычаги, другой почему-то не садится на железное сиденье на плугах, третий и вообще задрал нос — не слезая с коня, сосет папиросу и молча оглядывает серые окрестности.

До Ваньки Зайца уже дошли слухи, что Алексей Хомутович положил глаз на Ядзюню, больше того, малосельцы будто бы уже не один раз видели Вороного, привязанным к Федориному забору. Стоя на гусенице «натика», последний мурзач, заработавший в эмтээс кроме комбинезона и сапог десять пудов жита, серьезного соперника ненавидит, хотя вырвать свою рыжеволосую любовь из начальнических лап безусловно не может, ни силы у него, ни хитрости, ни какого-нибудь особого подхода. Что, скажите, замасленная фуфайка против кожаной тужурки, что кирзачи против блестящих хромовых сапог, в конце концов, даже руки соперников сравнить нельзя: у одного они мозолистые, с побитыми пальцами, у другого — чистые, гладкие, нежные. Почти в бешенстве Ванька Заяц мысленно клянет и материт эти ухоженные руки, ему помогает ушлый, догадливый Збышек, и общую неприязнь быстрее своего хозяина, наверно, почувствовал сытый, откормленный конь. Вороной стрижет ушами, приседает, нервно бьет копытами по сухой земле, Вороной готов мчаться хоть на край света, только бы не стоять на пустом, неприветливом просторе и не вдыхать мерзкий табачный дым.

— Так и знай, землячок! К утру поле должно быть вспахано, — сердито произнес Алексей Хомутович, бросил под ноги Вороному окурок и, натягивая повод, пригрозил сверху: — Если не вспашешь, сам Большевик будет с тобой разбираться.

— Начхал я на Большевика! — разозлился вдруг Ванька Заяц. — Подумаешь, большой начальник.

— А и не маленький, — захохотал неразумный Збышек. — Две метры ростом.

На тихом, печальном поле только этого не хватало — дурного, бессмысленного хохота, от которого даже вороны взлетели с ближней дички. Ванька Заяц, морщась от отвращения, исподлобья взглянул на пустоголового прицепщика и полез в кабину «натика». Збышек сразу уловил немой укор, поперхнулся смехом и торопливо перебрался на свое жесткое железное сиденье, а Вороной тем временем уже зацокал копытами по твердой дорожке вдоль елового леса. Есть все же большая несправедливость, что два молодых здоровых хлопца спасают от бесчестья такого же молодого, как они сами, колхозного председателя. Они вдвоем, Ванька и Збышек, полдня, вечер, а может, и всю ночь будут глотать сухой песок и пыль, в то время как Хомутович, явный жулик и обманщик, будет отлеживаться в теплой постели, качаться с боку на бок, сладко причмокивая во сне красными, как розы, губами.

— Поднимай плуги — камень! — раз за разом кричит в заднее разбитое окошко сердитый, встревоженный Ванька.

— Подниму, не очень бойся! — отзывается озабоченный, проворный Збышек.

Пока им везет: добитый, латаный-перелатаный трактор не заглох в борозде, громоздкие плуги всеми пятью лемехами не наскочили на крупный валун. Ванька Заяц то замедлит ход, чтобы обойти препятствие, то прибавит

оборотов мотору, и тогда слабосильный «натик» аж становится на дыбки, с трудом взрывая утрамбованное коровами, затравевшее поле. Шутки шутками, но поле приказано вспахать до утра, потому что завтра сюда может налететь кусачий, как шершень, начальник политотдела. За любую, даже малую вину, он не очень церемонится с молодыми трактористами; если сгоряча не даст по уху, то обзывает бедолаг и болванами, и идиотами, и куда более грязными словами, хотя и сам носит не менее оскорбительную кличку — Большевик.

У этого телеграфного столба, на котором, как на колу, болтается заношенная вконец офицерская шинелька, имеется и законная фамилия — то ли Козеров, то ли Козырев, но ее механизаторы давно забыли. Говорят, причиной такого неуважения стал сторож Степан Олифер. Заступая на охрану впервые, он из будки увидел высоченного начальника и с восхищением, имея в виду его рост, произнес, как выдохнул: «О, Езус Мария, яки справны большевик!» И начальник политотдела теперь мстит языкастому старику: среди ночи проверяет, как тот несет службу, честит за что ни попадя, а осенью в политотдельской газете раскритиковал за чрезмерное употребление казенного денатурата.

Но что прощается старику, то не прощается молодцу. Если сказать честно, Ванька Заяц не боится ни Бога, ни черта, а вот Большевика боится как огня. К завтрашнему дню, чего бы это ни стоило, поле надо вспахать, и потому старенький «натик» выбивается из последних сил, ревет, стреляет из выхлопной трубы синими кольцами дыма. Пока не опустился вечерний сумрак с густым месивом измороси и мокрого снега, окостеневшие от холода трактористы успели поднять хороший кусок поля. На очередном повороте дрожащий свет фар выхватил из загустевшей тьмы усадьбу Мартина Полозка — наклонившийся забор, хилый садик, старую хатку с приземистым хлевцом и старой истопкой. Теперь, с наступлением раннего ноябрьского вечера, пахота пошла медленнее — можно наделать массу огрехов, можно легко натолкнуться на валун, затаившийся в земле, да, кроме того, надо время от времени кричать в заднее окошко, чтобы этот охламон прицепщик чего доброго не задремал и не свалился под плуги.

— Гляди ж, не засни, не свались в борозду, а то растопчу, как жабу!

— Ага! Заснешь на таком холоде.

Ночную смену, когда от бессонницы пухнет голова и слипаются глаза, не любит Ванька Заяц, густую тьму ненавидит уставший Збышек, но еще больше не нравится гулкий рокот «натика» Мартину Полозку.

Укладываясь спать на жесткой вдовецкой кровати, он сперва подивился дурням, которые пашут поле перед зимой, затем, убедившись, что закрыть глаза не удастся, начал ругать-проклинать теперешние непонятные порядки и сегодняшних бестолковых начальников.

Пока докучливый рокот трактора растет, приближается, Мартин Полозок о многом успевает подумать, многое взвесить и спланировать. Ему, старому вдовцу, чтобы дожить свой век, кровь из носу — надо жениться. Соседка Федора Чиркун крутит носом, не хочет идти за Полозка, ну и не надо. Еще с войны у Луцеи Подгайской живет беженка Агриппина — женщина одинокая, добрая, работящая, эта хвостом крутить не станет, да и Анюта, Мартинова невестка, пожалуй, возражать не будет. Ну, а если заводить семью, то до женитьбы надо было бы пересыпать хату, поправить хлевчик, опять же, надо завести и какую-нибудь живность, хоть поросенка, хоть кур, потому что при теперешних начальниках надеяться на хорошую жизнь не приходится.

Трактор гремит все ближе и о приближении своем объявляет не только диким грохотом, но и дрожащими пятнами желтого света, который, пробившись сквозь голые кроны яблонь, время от времени выхватывает из тьмы давно не беленую печь, деревянные лавки, пустой шкафчик у порога. Когда железный урод неуклюже разворачивается за садом, хата ходит ходуном — дрожат стены, бренчат стекла в окнах. Бешеный грохот кого хочешь может свести с ума, вогнать в могилу, а у Мартина нервы слабые, глаза слезятся от бессонницы, и старый, измученный человек, подхватившись с кровати, уже не первый раз грозится в темное дребезжащее окно:

— Ох, лодыри! Ох, пустодомы! Или я просил, чтоб вы мне спать не давали, или я звал вас сюда, черти мурзатые?

Федора Чиркун тоже не спит, мучается, вертится с боку на бок. Еще вечером, засветло, она успела разглядеть в кабине трактора губастого сыночка Полежанки, и теперь ему надо ждать немало лиха на свою голову. Если проклятия сбываются, то Ванька Заяц и Збышек могут провалиться сквозь землю вместе с гремящим железом, если небо услышит хотя бы одну ее угрозу, то обоим не миновать ни корчей, ни трясучки, ни коросты. Спрятавшись с головой под одеяло, чтобы не слышать тракторного грома, старая ворчунья готова послать на бедного Ваньку и не такую кару: как же, завтрашний зять. Чирей ему в бок, а не Ядзюню! Пускай зря не бегает Полежанка — ничего не выбегает. С Аленой Хомутович — вот с ней иные счеты.

Мать колхозного председателя, оказывая Федоре Чиркун знаки не абы-какого уважения, накануне поделилась мылом, а еще принесла свеженины — немного мяса, немного сала. И Федора приняла традиционное подношение с достоинством, угостила желанную гостью чем могла и тем дала понять, что не будет отказа ее Алексею. Хлопец он видный, крепкий, голову имеет хорошую и у начальства, говорят, в почете. Даст Бог, и поженятся Алексей с Ядзюней, и тогда хотя бы краситься перестанет озорница, перестанет летать на вечеринки и попрядки. А Ванька — что Ванька! Голытьба в комбинезоне, пересмешник в кирзовых сапогах, болтун мурзатый. Глянь на него: гремит и гремит за хлевом, то заползет на другую сторону поля, то светит в темные окна. Федора круть на левый бок, верть на правый, а сон не идет, глаза будто остекленели — и жгут, и режут. Хорошо хоть Ванька со Збышеком не слышат и не знают, как сильна на проклятия Федорина хата.

— Чтоб вас корчи скрутили! Чтоб вас трасца заела! Чтоб вас короста обсыпала!

Ванька Заяц, наверно, не дергал бы так старательно рычаги «натика», а Збышека, наверно, и силой не загнал бы на пятилемеховые плуги, если бы хлопцы догадывались, какие страшные немочи посылает им разъяренная Федора Чиркун. Трактористам еще повезло, что к этим проклятиям не присоединилась Ядзюня, иначе оба истратили бы на докторов все свои нищенские заработки. К счастью, Ядзюня и не думала кого-либо проклинать, потому что, правду говоря, тракторный гул на поле мало ее волнует. Ядзюня только что прибежала с вечерок, поставила в угол бородатую от кудели прялку, не забыла спрятать подальше от глаз матери пустое веретено. Какое там к черту прядение, если от молодога смеха, топота и визга хата Ледзи Гавриловой ходила вприсядку. На посиделки-попрядки сюда собираются и те, кто только нацеливается замуж, и те, кто давно и думать забыл про всякое замужество. Вместе им, и зеленым шалохвосткам, и бывалым перестаркам, на вечерках одинаково весело и отрадно, а если неожиданно в хату ввалится хлопцовская стая, тогда и дым коромыслом, и хохот, ржание стоит просто лошадиное.

Вообще же это смешно, что наивные мамки посылают своих ленивых дочерей прясть бородатую кудель: по сегодняшнему крученому времени никто не захочет носить эти домотканые рубашки и юбки, пускай себе они и из очень тонкого, выбеленного в росах полотна. В моде теперь все купленное, фабричное, скроенное и пошитое на городской лад. Вот и Ядзюня, попарившись на кирпичне, за лето справила немало девичьих нарядов — всяческих недорогих платьев, кофточек, блузок. Не сказать, что очень богатое приданое, но Ядзюнина хата не такая уж и бедная: разве повернется язык назвать нищенской хату, в шкафу которой на виду висит новенькое пальтишко с пушистым бобровым воротником. Ядзюня один раз надела обнову, а у подруг и язык отняло: вот пани так пани! Не удивительно, что в таком богатом шкафу, рядом с шалевой шубой вполне серьезно мечтает повесить свой замасленный комбинезон Полежанкин Ванька. От такой ужасной мысли Ядзюня даже встрепенулась, нервно вздрогнула, крутнулась, как мать, с боку на бок и только теперь поняла, почему ей не хочется спать. Причиной был все тот же гусеничный трактор: он беспрестанно тарахтел на поле, и когда очень уж медленно, с ревом и треском, разворачивался в конце загона, тогда и отупевшая, измученная Ядзюня нервничала, пыталась протестовать против такого нахальства.

— Чтоб ты провалился, Ванька мурзатый. Все равно не пойду за тебя — не старайся меня будить.

Ядзюня была девушкой хитрой и сообразительной, она сразу догадалась, почему, разворачиваясь за хлевом, так долго и натужно ревет и гремит одуревший трактор. Однако Ванька Заяц, наверно, и не знал, что Федора Чиркун накануне купила своему рыжеволосому счастью новый фанерный шкаф, и поэтому не собирался вешать свой вонючий комбинезон рядом с пахучей бобровой шубой. Парню было обидно, было горько и тоскливо от того, что его, такого доброго и трудолюбивого кавалера, Ядзюня променяла на распаневшего Алексея Хомутовича. За вероломную измену Ядзюня заслуживает, конечно, самого большого наказания, самой безжалостной мести.

Хлопотливый «натик» еще спорнее забегал по полю, бренча гусеницами и яростно ревя как раз напротив Федориной хаты. Поспи же теперь, рыжуха! Патлатый кавалер просто бесился от желания мести, он потерял осторожность, перестал внимательно отслеживать дорогу перед трактором, на некоторое время забыл даже про окостеневшего Збышека, и эта непростительная забывчивость дорого обошлась шалопуту, стоила ему много нервов и пота. На очередном развороте «натик» вдруг вздрогнул, вздыбился, присел от натуги, и сзади, за железной кабиной, послышался резкий скрежет, сухой треск железа и дикий, испуганный крик прицепщика:

— Ванька, стой! Ослеп ты? На валун напоролись!

Кому повезло, а кому нет: Ядзюня может теперь спокойно спать до самого утра, а ее мучителю остается лишь безутешно заплакать. Ванька одним махом выскочил из кабины, Збышек мешком слетел с плугов. У трактористов от испуга дрожат руки, отвисли губы, ни один, ни другой не в состоянии что-нибудь сказать. В тусклом свете задней фары, прикрученной к кронштейну на кабине, хорошо виден результат аварии. Передний корпус плугов оторвался совсем, на другом лемех и отвал будто срезало бритвой, стойки погнулись и торчат в стороны, как кротовьи лапы. Замучает завтра начальство, затаскает по кабинетам, могут и вредительство приписать. Только теперь, едва придя в себя от нервного стресса, трактористы почувствовали, что им очень холодно. Над Малым Селом плывет глухая осенняя ночь, на поле по-прежнему дует стылый ветер и в свете, скупо рас-

сеянном вокруг желтыми фарами трактора, видно, как с черного неба летят на пахоту редкие снежинки.

— Ты, наверно, про свою рыжую девку думал? Потому и налетел на этот чертов камень, — Збышек все знает, все понимает.

— Не лезь в душу, охламон! Не тебе шею намылят за поломку, — Ванька грязно выругался.

Завтра, как только весть о ночной аварии долетит до МТС, в Малое Село на разбор происшествия заявится разъяренный Большевик, если не сам Федотов. Опередив эмтээсовскую «летучку», по сельским проселкам запылившийся Вороной галопом примчит своего испуганного наездника. Он, однако, не разволнуется от убогого вида изуродованных плугов, он нисколько не пожалеет бедного Ваньку Зайца, который под гневным взглядом будет трястись как осиновый лист. Прежде всего Алексея Хомутовича волнует узкая полоса с края поля, потому что и за нее председателю крепко нагорит, если она засорит глаз сердитому агроному из райземотдела.

И, пожалуй, уже в последнюю очередь на припорошенном снежком поле, услышав здесь шум и грохот, из темного ельника прилетит воронье. В крикливой стае найдется немало стервятников, проживших на свете по доброй сотне лет, но и они, старожилы окрестных лесов, будут дивиться, глядя на эту необычайно позднюю осеннюю пахоту.

Продолжение следует.

Перевод с белорусского Олега Ждана.





ВАЛЕНТИНА ПОЛИКАНИНА

А мне бы здесь и жить, и состояться…

* * *

Еще печет. Не отболело…
Не стерлось сумраком ночным.
Оттенки серого на белом
Так удивительно точны.

Еще немного лихорадит.
Еще не выстужен соблазн.
Еще невинности тетради
Так далеко до грешных глаз.

Еще бессловье дразнит жестом
Разгоряченности у рта.
Еще на тайну совершенства
Скупая смотрит немота.

* * *

Брось в начало июля лучами закрученный невод,
И в него соберется вся влага мерцающих рос;
Вся звериная ласка во взгляде на близкое небо;
Вся звенящая тайна, где лес соловьями пророс;
Вся вселенская пыль сенокосной неспетой порою,
Где сиреневой ночью клубится резной костерок;
Вся мажорная повесть с одним безупречным героем,
Где листает начало и твой восхищенный мирок.
Будет знатным улов: запах детства и вкус лимонада,
Мамин жест, мамин голос, ее родовое тепло…
Только знай, что тебе возвращаться из памяти надо
С полным неводом слез оттого, что так быстро прошло.

Все это мама вышивала…

Открытьем стало воскресенье:
Еще один урок мне дан.
Не зря я в этот день осенний
Открыла старый чемодан.

Салфетки, скатерть, покрывало —
Ярчайших красок торжество…
Все это мама вышивала
В минуты счастья своего.

Бутоны роз, соцветья маков,
Лесные птицы и зверье…
О, этот мир не одинаков
Для тех, кто видит в нем свое!

Букеты васильков, ромашек,
И поле, и речная гладь…
Была ты, мама, горя старше.
Мне слез твоих не сосчитать.

Но рукотворный миг удачи,
Как чудо-нити, не стереть:
Твой лес живет, и белка скачет,
И день не думает стареть.

Картинка детства

«Куда вас из дома ветра унесли?
Не хочется разве покоя?» —
Досужие гости нежданно пришли. —
«Степан где?» —
«Пошел за водою…»

Дед внешне спокоен. Дед выбрит с утра.
Он пахнет смолою и хлебом…
В руках его сильных — два тяжких ведра,
Где радостно плещется небо.

Он, в жизни своей пострадавший от зла,
Привыкший с ним честно бороться,
Знал: чистая эта водица была —
Из самого сердца колодца.

Воды я такой не видала нигде.
Ее короную на царство!
Она обжигала недобрых людей,
А добрым была как лекарство.

Не будет забыто, не станет старо
Старание это простое:
Дед с легкой душой наполняет ведро,
Чтоб мир напоить чистотою.

* * *

Живем не так, встречаемся не с теми,
Не то творим, душою не горим,
Не те умом затрагиваем темы,
Не те слова друг другу говорим.
Легко бранимся, миримся натужно,
Скитаясь в одиночестве своем,
И лишь о Том, кто нам и вправду нужен,
За пять минут до смерти узнаем.

* * *

Что ведет тебя вдаль — тайноведа, поэта, прозаика —
Уж не эта ль последняя в Книге пророчеств глава,
Где в бурьянах резных дровяной и кирпичной мозаики
Говорящего горя сгустились простые слова?

Протяни к ним перо, что досталось от дедов и прадедов,
Через весь добровечный — и злой человеческий рой,
Собери, как земля собирает доспевшие градины
В перезвоне небес, перебитых пращой вековой.

Унеси их от этой неправедной брошенной пристани,
Где им боль не просеять сквозь сотни заиленных сит,
Где петух не кричит, где летает лишь ворон расхристанный,
Где печная труба только ветром стальным голосит.

* * *

Точны слова и смыслы безупречны,
Когда их чтят без устали и сна.
Молитва — дар иного красноречья,
Когда душой владеет тишина.

Под звездным небом — светлая дорога.
И мысли устремляются горе.
И жизнь твою, и всю твою убогость
Преображает ночь в монастыре.

Глядишь в слезах, печали утоляя,
На свой мирской и суетливый след.
И прошлую беспечность оставляешь —
И заново рождаешься на свет.

* * *

Все, что жизнь дала, все получено,
А никто ко мне не приученный.

Не приученный, не прилаженный,
Оттого чужой клеткой каждою.

Из мирской людской древней хроники
Знаю, ты один — самыйродненький.

И от глаз твоих свет — поверх голов.
Мы с тобой, любовь, говорим без слов.

* * *

Вот прелюдия простого
Смысла: мир — чтоб в мире жить.
Славно в поле мотыльковом
Песню петь да не тужить.
Но пришли слова скупые
С ощущением вины:
Смотрят в душу рвы слепые,
Что остались от войны.

* * *

Ну, перестань, душа не любит пряток.
Пройдись скупым прозреньем по судьбе.
Вон, маю твоему — седьмой десяток
И девяносто без году — тебе.

Ну, ощути, как тихо, мирно с нами.
Война убита, время — для житья.
Не уходи ты пленными ногами
В глухое окруженье забытья.

Твой внук еще не дал тебе покоя.
Скажи ему, за что награды, чин…
Но отвечаешь, славу смяв рукою:
«Уже не помню, как их получил…»

* * *

Когда нырнешь на глубину несчастья,
Хлебнув беды и горькой суеты, —
Захочется молитвы и причастья,
И тишины, и неба высоты…
Когда поймешь, что грусть чего-то стоит,
Вновь вынырнешь и, обретя покой,
Умом постигнешь главное, простое:
Что жизнь и есть — счастливый праздник твой.

* * *

И станет память дорога,
Когда в ночи, слепой и гулкой,
Пройдут усталые снега
По прошлой жизни переулкам.
И возвратятся голоса,
Став и пронзительней, и резче.
И чувств высоких небеса
Сравнить, наверно, будет не с чем...

* * *

Мне не воспеть помпезные аллеи.
Куда мне деться от родных мытарств?
Избушка деревенская милее,
Чем все дворцы чужих мне государств.
Здесь храма моего хоругви, святцы.
Здесь родина моя в лихом году.
А мне бы здесь и жить, и состояться,
Как состоялась яблонька в саду.





ВЛАДИМИР САЛАМАХА

...И нет пути чужого

Повесть

9

Никто из гуднянцев сначала не заметил, что Иосиф Кучинский исчез из деревни. Мужчинам сейчас, когда возили сено, было не до него: хотя страсти улеглись, каждый выговорился, махнул на него рукой, дескать, своих дел хватает. И у женщин забот было немало — грядет весна. И сейчас к своим хлопотам прибавлялись общие — колхозные.

До войны в Гуде был крепкий колхоз. Хотя не каждый год земля хорошо родила — земли здесь бедные, песчаные, люди жили неплохо. Животноводство выручало: заливные луга за рекой, луговины в демковских болотах — трава вырастала — косу не потянуть, сена хватало и колхозному стаду, и на продажу в иные хозяйства. Животных тоже продавали.

Держали гуднянцы в своем хозяйстве и большой табун лошадей. Была в колхозе и техника — несколько тракторов, сеялки, конные косилки, молотилки.

Сезонные работы здесь всегда выполнялись в срок, люди на трудодень зарабатывали хорошо, словом, жили, строились, детишек растили, молодых женили, замуж отдавали — здесь все было как у людей.

Перед войной в Гуду, как знаем, даже собирались провести электричество, да не успели. В первый же день, как стало известно, что началась война, мужики, чей возраст подходил к призывному, ушли в район, в военкомат. Тогда с ними пошел и Ефим. Все думали, что он только проводит сыновей, а он вместе с мобилизованными попытался стать в строй. И стал. Но из строя Ефима попросили выйти, сказали, что стремление его заслуживает похвалы, вот только возраст давно вышел…

Ефим обижался, пытался доказывать, что он еще может воевать, хотя бы и в обозе, а без обоза, как известно, ни одна война не может обойтись. Но и в обоз его не взяли. А через несколько дней, когда немцы были уже совсем близко — в Гуде слышались раскаты взрывов, доносившиеся из-за демковских болот, да видны были сполохи пожаров из-за леса — вернулся Ефим в деревню. Был он подавленный, осунувшийся, тихий.

А еще через день погнал он колхозных лошадей в район. Но по дороге табун и Ефима перехватили диверсанты в форме красноармейцев, приказали гнать лошадей обратно, а он сделал вид, что слушается, завернул их в лес. Тем временем на дороге появились немецкие танки, лошади разбежались, Ефим чудом спасся, успев спрятаться за выворотень у дороги, вернулся домой еле живой и без лошадей.

Позже люди из соседних деревень долго собирали лошадей по лесам. Найдя мерина или кобылу, кто-то вел в свой сарай, кто-то, спутав, прятал в лесу (потом кони стали партизанскими).

Окончание. Начало в № 2 2011 г.

За войну немцы разобрали все колхозное добро, все что могли забирали и у людей — в этом им помогал Стас, зная, где что у кого может быть припрятано. А что было позже, летом сорок третьего — известно…

А еще позже, когда война откатилась на запад, Николай стал председателем вместо довоенного председателя некоего Ковальчука, присланного из города. Было известно, что погиб он где-то под Харьковом, его жену и двоих ребятишек, приехавших с ним в Гуду, немцы уничтожили…

Впрочем, сейчас и колхоза как такового в Гуде не было. Сейчас в Гуде, кроме Ефима, Николая, Михея, Кати, Надежды Соперской и ее детишек — Светы и Валика, больше никого не было, конечно, если не считать Иосифа, которого в расчет люди не брали.

Сейчас гуднянцы думали, как сохранить лошадей, как вывести их на весну здоровыми, более-менее сытыми, способными вести борозду, тянуть плуг, борону… А еще — где взять семена под яровой клин, картошку, чем и как поддерживать детей, Катерину, как самим не опухнуть с голоду.

Не однажды из района сюда наведывалось начальство из бывших местных партизан (фронтовики пошли с войной дальше), все осматривало, давало какие-то советы, а из слов известно польза какая.

Да и чем это начальство, ничего не имея, могло помочь? Разве что добрым словом, посеяв надежду на скорую Победу, на лучшую жизнь.

Хотя война и откатилась на чужие земли, но ее эхо не миновало Гуду: демковская почтальонка чуть ли не каждый день несла сюда похоронки — в основном в те семьи, которых уже не было.

Читая чужие казенные бумаги, мужчины тяжело вздыхали, отмечая, что не только целые семьи переставали существовать на земле, но и исчезали целые человеческие роды.

Уже не было в Гуде рода Русиновых, большого, в четыре семьи, не было рода Иванцовых, Крутолевичей, ибо кто был в оккупации — сгорел, а кто на войне, погиб там…

Иосифа обычно вспоминали, когда душевные раны кровоточили очередным гуднянским горем, когда каждому оставшемуся здесь в живых было невыносимо больно: тогда судьба Кучинского, его жизнь словно всплывали на общее обозрение.

Тогда в людских сердцах не было места Иосифу и не было ему сочувствия в его одиночестве, горе. Да и о том, что ему тяжело, что он страдает, что и у него есть душа, сердце, никто не думал, разве что одно: отец дьявола... Тогда людям хотелось, чтобы ему было плохо, чтобы он страдал, испытал все то, что испытали перед гибелью другие, а потом исчез навсегда из их памяти и никогда и ничем не напоминал о себе…

Пока мужчины возили из засыпанных снегом луговин сено, женщины и дети таскали его на сеновал, а потом то, что не помещалось там, — сарай, в котором стояли кони, был небольшой, — сметали рядом с ним в стожок.

Последний воз Ефим, Михей и Николай привезли только в конце третьего дня. Мужчины хорошо наработались, устали, плелись за возом, еле передвигая ноги, и Ефим, обойдя стожок, поставленный женщинами и детьми у сарая, придирчиво осмотрев его, сказал:

— Да, стожок-то — не очень. Метель загуляет, как видишь, разметает его. Где же ваши руки были, бабоньки?

— А там, дядя, и были, — ответила ему Надежда Соперская, — где и у всех людей. Не разметает! А ты что думаешь, это сено до весны сохранится? Как видишь, съедят его кони.

Ефим пожалел, что обидел женщин: что с них возьмешь? Не женское это дело стога метать. И чтобы как-то сгладить неловкость, возникшую между ним и женщинами, сказал:

— Да ладно, маленько подправим. Но экономить сено будем, иного выхода у нас нет. Это сколько же на одну лошадь сена на зиму раньше заготавливали?.. Да не менее двухсот пудов, тонны четыре.

— Как считаешь, дядя? — встрял в разговор Николай. — В тонне шестьдесят пудов, значит… А вообще-то, надо на бумаге сложить…

— Как знаю, так и считаю, — сказал Ефим. — Шестьдесят так шестьдесят. Да я на глаз определяю. Хватит сена — не хватит. Хватит, если будем экономить. Это я еще с осени прикинул. Так что хоть ты и председатель, а меня, Николаюшка, учить не спеши: я ведь всю жизнь при лошадях.

— Да я и не учу, — ответил ему Николай, — это я так, размышляю.

— Размышляй, размышляй. Ты грамотный, твое это дело — размышлять. А я не шибко грамотный. Я, когда был таким мальцем, как Валик, без всяких наук стога топтал не хуже иного мужика… Что такого обидного я сказал?.. Да, разучились мы за войну как следует работать. Разве это дело?

— Кто и разучился, — сказала Катя, — а кто и не учился. Вот что плохо, Ефим Михайлович. А ты не очень нас критикуй: Валик и Света стожок топтали. Где, когда и кто их этому учил?

Катя приставила к стожку грабли, посмотрела на детей, они стояли возле сарая и обиженно шмыгали носами: еще бы, так старались, а их, вместо того чтобы похвалить, облаяли, да кто — сам дед Ефим!..

— Если бы я знал, что это они пластовали стожок, — растерялся старик и вновь попытался «сгладить» ситуацию, — впрочем, как умели, так и сметали. Никуда он не денется, этот стожок, будет стоять столько, сколько надо.

— Знал, не знал, — сказала Катя, — кто же еще, как не они пластовали?.. Да Валик со Светкой, может быть, настоящего лугового запаха не чуяли.

— Да я ни в чем их не обвиняю! — раздраженно пробурчал старик. — Само собой разумеется, что им было некогда и не у кого учиться стоговать. Не разобрался я, старый пень, что к чему. Вот и сказанул то, что не надо… Бывало, в их годы детишек с собой в луга брали. В сенокос, когда погода, там и дневали, и ночевали. Только, думаю, сейчас им нужно не стога складывать, а за школьной скамьей сидеть, переростки же. Не помню, они успели хоть зиму в школу походить?

— Когда было? — как будто удивилась Надежда. — Не успели. Они у меня близнецы. Как раз в сорок первом должны были в школу идти. Спасибо Кате, научила читать. Сама я грамоту не знаю, разве что чуть-чуть. Зиму походила в школу. Страсть у меня к учебе была, но дедушка отхлестал тряпкой, посадил за прялку. Вот и вся моя грамота. Говорил дедушка, мамин папа, что с науки хлеба не наешься, нужно смотреть, чтобы лужок не был зеленым — нужно полотна ткать, да на нем расстилать, приданое готовить. И вот на тебе, зеленый или белый лужок, все сгинуло, все пошло дымом… Светка уже хорошо читает, а Валик — через пень-колоду. Так что с него требовать? Подрастет малец, поумнеет.

Валик, услышав это, совсем обиделся, отвернулся.

— Вот тебе и на! — Ефим развел руками и, обращаясь к Валику, сказал: — Как же ты в таком разе отцу письма пишешь?

— Ой, молчите, Ефим Михайлович, — Надежда смахнула слезу рожком старого вязаного платка, — разве не знаете, что с осени от Игнатия нет вестей? Какие письма? Куда? Может быть…

— Ты это брось, Надежда! — разозлился Ефим. — Война есть война. Мало ли что бывает. Может быть, он сейчас в таком секретном деле, что весть

о себе подавать нельзя. И такое бывает на войне. А ты уж сразу глупости в голову берешь. Жди, Надежда, жди.

Старик подошел к Валику, положил ему руку на плечо, пристально посмотрел в лицо:

— Держись, мужик. Ничего, все у тебя будет путем. И чтение, и стога.

— Валик, ошибается твоя мама, когда говорит, что ты не шибко читаешь. Неплохо читаешь. Правда, иногда бывает, по слогам, будто по кочкам едешь. Ну, это сначала у всех так. Скоро пройдет. А вот считаешь ты очень хорошо, — похвалила Катерина.

— Правда? — обрадовался мальчик. — Я сразу подсчитал, сколько пудов сена лошади надо: двести сорок!

— Ну? — удивился Ефим.

— Вот те, дядя, и ну, — вмешался в разговор Николай. — Даже я не сразу прикинул, сколько, а Валентин, вишь ты его, мгновенно смекнул. Молодец! Вырастешь, отправим тебя на большую учебу в город. Обучишься, вернешься домой, меня заменишь. Какой из меня председатель, если я земельному делу не обучен? Согласен?

Валик согласно кивнул головой.

— Вот отдать бы их сейчас в школу, — сказал Ефим. — В райцентре, слыхал, школа уже работает.

— Как же их туда отдать? Где жить будут? А что есть? Что в торбочку детям положить? Здесь они при мне, хотя и не в сытости, но и не в голоде. Ягод насушили. Грибов насолили. Щавелька в кадочку натоптали. Да по одной-две картошечки на день есть. Иной раз и сальца из города принесу, на рушники да постилки, что когда-то ткала, выменяю. Нет, сейчас детишек от себя отрывать не надо. Вместе папку нашего ждать будем. А пока — Бог батька: что людям, то и нам.

— Что вам этот Бог дался? — вновь разозлился Ефим. — Набожкались.

— Это я к слову. Вон у Иосифа в углу он имеется. И Стас, помнится, крест нательный носил. Видели мы, как шлялся по селу в расстегнутой до пупа рубахе. А что творил?

— А старик-то при чем? — спросила Катя. — Мы здесь его душу полощем, а самого что-то давно не видно. И дым из его трубы не идет. И дорожка от крыльца не протоптана.

— Может, уже околел? — сказал Михей, подходя к стожку и отряхивая с одежды сенную труху.

— Прикуси язык! — бросил Ефим. — Не собака же. Может, приболел, и ему сейчас помощь нужна.

— Ну так ты, дядя, иди помоги, — сказал Михей. — Посмотри, как он там, да воды ему подай, чтоб он смолы напился!

— И пойду, Михеюшка, пойду. А как же?

Ефим поправил шапку, сползшую на лоб, повернулся, немного постоял в раздумье, потом решительно направился к Иосифовой хате.

Все молча смотрели ему вслед. Сначала Ефим шел по улице, ступая в наезженную санями колею, пошатывался из стороны в сторону, потом ступил на целину, чтобы сократить путь. Шел он не осматриваясь, спешил.

Катя попыталась пойти следом, ступила несколько шагов вперед, но неожиданно для всех сморщилась от боли, остановилась, приложила руку к животу, прислушалась…

Надежда подбежала к ней, испуганно спросила:

— Что с тобой?

— Да ничего, — слабо улыбнулась Катя, — дает о себе знать, бьет уже…

— Вот и хорошо, Катюша, — успокоилась Надежда, и тоже улыбнулась: — Оно всегда так знать о себе дает. Крепись. Впервой?

— Впервой.

— Ну, слава Богу. Ждать будем.

Катя замолчала, прислушиваясь к себе.

Тем временем Ефим подошел к Иосифовому огороду, не по-стариковски ловко пролез между жердями, проходя возле старого куста сирени, зацепил его плечом: снежная пыль сыпанула ему в лицо. Не обращая на это внимания, старик поднялся на крыльцо, отбросил дверной засов, исчез в сенях.

Все замерли, ожидая, что же будет дальше, не отводили глаз от двери.

Ефим вышел из хаты минуты через две, быстро направился назад тем же путем, которым шел к Иосифовому двору. И когда все уже устали от ожидания, крикнул издалека:

— Нет его! Нет.

10

Иосиф Кучинский стал работать в городе на железнодорожной станции. Работы здесь хватало. Может, поэтому, а может, из-за его пожилого возраста им здесь никто не интересовался, не спрашивал, откуда он, где живет, есть ли родные, чем занимаются.

Да и работа у него была не постоянная, без всяких официальных оформлений. Пришел на станцию, а там таких, как он, насобиралось десяток-полтора — грузчики. Все знали, что на путях стоят эшелоны, которые надо срочно разгрузить (стройматериалы, техника, а иногда и продукты). Ждали, когда появится какой-нибудь начальник да даст работу. И так ежедневно. Начальство в основном было такое — откормленные тыловики. Реже какой-нибудь однорукий или одноногий бывший фронтовик. Начальник, даже не ознакомившись с рабсилой, вел всю группу к эшелону: «Давайте!»

Эшелоны прибывали из самых разных мест, и было понятно, что сейчас в Сибири, Казахстане или где-нибудь в России налаживается жизнь, что там делают не только танки, самолеты, пушки, но и все то, без чего невозможно восстановить разрушенное войной хозяйство. Значит, думал Иосиф, не сегодня завтра лихое время окончится, и, наверное, у нас сейчас сила великая, если страна работает не только на войну.

Думая так, Иосиф не отделял себя от того, что сейчас делается в стране, и его немного успокаивало то, что и он нужен. И пусть никто не знает его, но он делает что-то хорошее, заменяет чьи-то молодые руки, которые сейчас так нужны на фронте.

Компании грузчиков были не постоянные: сегодня работали одни, завтра другие. В основном это были пожилые мужики, вроде Иосифа, хотя приходили и помоложе, в солдатских истертых шинелях, кто прихрамывая, кто, по нему было видно, не совсем еще оправившись после ранения. Изредка приходили и совсем молодые парни, считай, подростки. Они подрабатывали, наверное, чтобы семье было легче.

Иосиф видел, как бы ни менялись люди, какие бы разные они ни были, но все не любили тыловиков, этих здоровых, наглых, сытых, вороватых мужиков, каким-то образом отрезанных от войны и почему-то сплошь и рядом приставленных к вагонам с продовольствием. После работы они уходили с вещмешками, набитыми всем, что только можно было есть. Эти «сытики», как их звали грузчики, пренебрежительно относились к «рабсиле». Между

собой они так и говорили: «Есть рабсила?.. Сколько сегодня рабсилы?..» и т. д. Были тыловики циничны по отношению к женщинам, работавшим на путях, и, как утверждали знающие люди, «покупали» их за еду.

Иосиф однажды и сам слышал, как один из таких «сытиков» хвастался другому, как «взял бабу, да не очень простую». «Долго я к ней присматривался — ни в какую. Говорят, какая-то бывшая интеллигентка. Смотрю, и в самом деле деликатная, лом как следует не может держать, не знает, что такое кайло. Ну, думаю, я тебя к рукам приберу, не таких брали! Я к ней и так, и этак, а она: «Уйди, дядя…» Ладно, уйди так уйди, силой брать мы тебя не будем, посмотрим, что ты на обед ешь. Оказывается, ни-че-го… Вот тут мы ее и взяли: хлебушком да тушеночкой…»

«Сытник» смеялся, смеялся и другой, делясь опытом: «К этому они, изголодавшиеся, как сучки, быстро привыкают…»

Конечно, это было страшно, необъяснимо страшно. И это была правда, и только какая-то часть той жуткой военной правды, которую довелось испить людям. Нет, далеко не каждую вот такую или похожую на нее женщину, голодную, доведенную до отчаяния, могли «купить», «взять» «сытики». А в это время, когда они бесчинствовали в тылах, на складах с продовольствием, отцы, братья, женихи этих девушек и женщин брали города, свои и чужие, погибали, лежали израненные в госпиталях, пропадали без вести. И суровой правдой было то, что не каждый фронтовик или тыловик, партизан, командир или рядовой в сложной ситуации своего существования мог остаться человеком: ибо не каждый из нас, людей, человек по своей сущности.

И самое страшное, что было сейчас, как понимал Иосиф, это то, что ни он, ни другие, представляющие для «сытиков» «рабсилу», не посмеют заступиться за этих униженных, доведенных до отчаяния женщин: заступись — без дела останешься. А оно кормит…

Наверное, вот здесь для каждого и проходила та тончайшая грань, когда он должен был решить для себя, как быть, как поступить в этой ситуации: остаться человеком, восстав против мерзости и в результате потеряв возможность хоть как-то жить, перебиваться в относительном благополучии (есть угол, тепло, еда) или сделать вид, что ничего не видишь…

Сейчас Иосиф думал о том, как бы самому выжить, продержаться здесь до весны, поднабраться сил, накопить продуктов. Тогда он уйдет из города куда-нибудь в лес, подальше от людей, чтобы навсегда исчезнуть из их мира, такого сложного и несправедливого. Он понимал, чувствовал, что нет ему места среди своих земляков-гуднянцев, а без них, с которыми прожил худо-бедно всю свою жизнь, ничто для него не имеет смысла. Там, в Гуде, все было свое, родное, кровное (и боль, и радость, и голод, и холод, и будни, и праздники), здесь же все — чужое. И здесь ему не место…

То, что мир людей никогда не был однозначно добрым или однозначно злым, Иосиф хорошо знал. Лично для него в этом мире плохого было больше, чем хорошего. Может быть, вообще все в его жизни было против него: и детство, в котором он непонятно как, в основном сам по себе, выжил. И молодые годы, когда любимой девушкой были растоптаны лучшие чувства. И потом не понятная самому ему женитьба. И в результате не сложившаяся семейная жизнь. И страшная, врагу не пожелаешь, старость…

Получается, что сама жизнь все время отталкивала его от себя, гнала прочь, а он, глупец, не понимая этого, цеплялся за нее как только мог.

Сейчас Иосиф видел, что как бы там ни было, жизнь постепенно возрождается. Не его личная, а жизнь вообще. И он знал, верил, что вершат ее не вот

такие, как эти «сытники», а совершенно иные неведомые ему люди: не сами же по себе идут сюда, в этот город, эшелоны со всем тем, что необходимо для восстановления всего разрушенного. Значит, где-то там, далеко или близко, женщины, дети, старики, демобилизовавшиеся после ранений фронтовики, да и многие, если не большинство, тыловики работают на пределе своих возможностей каждый на своем месте. Они отрывают от себя последнее, чтобы поделиться с другими, и им, тем людям, наверное, не легче, чем тем, кто принимает эту помощь. Да и отсюда, из этого города тоже отправляются куда-то в иные края эшелоны, правда, все больше с лесом, а леса на этой земле хватает.

«Наверное, — думал Иосиф, — пройдет еще не один год, а может, и десятки лет, пока земля воспрянет от причиненного ей изуверства, пока люди преодолеют горе, забудут его, но тогда уж точно меня не будет».

Найдя работу здесь, на станции, Иосиф ютился на угольном складе, где обитало с десяток таких же, как он, бездомных мужчин разного возраста, чьи судьбы были исковерканы войной.

Постоянных же обитателей здесь было мало, человека три-четыре. Люди часто менялись. Одни приходили сами, других приводил бригадир, еще молодой мужчина, хромающий на одну ногу, видимо, демобилизованный после ранения. Говорили, что он, вернувшийся в город, так и не нашел свой дом, семью. Говорили, что сейчас жил он в будке путевого обходчика. Почему-то все его боялись и слушались, хотя этот человек никогда ни на кого не орал. Но был угрюм, замкнут, немногословен, и к старикам, таким, как Иосиф, обращался на «вы».

Иногда, когда не было работы, Иосиф выходил в город. Город был почти полностью разрушен. Казалось, в нем не осталось ни одного целого здания. Люди ютились в подвалах, в наскоро сбитых бараках, во времянках, поставленных на пустырях. Тем не менее везде чувствовалась жизнь: по утрам дымились трубы, взрослые спешили на работу, играли детишки, а на станции всегда было многолюдно.

Время от времени Иосифа тянуло на рынок. До войны этот рынок был известен во всех близлежащих, да и далеких от города, деревнях. Там можно было купить все, что тебе нужно. Даже бытовала такая фраза: «На рынке только не купишь отца с матерью, а остальное — были бы деньги…»

Рынок, как своеобразное зеркало всякого города, хорошо отображает настроение людей, их заботы, настоящую, ни от кого не спрятанную жизнь.

Сейчас здесь на хлеб, вообще на еду, обменивали все что только можно представить.

Иосиф ходил на рынок без всякой нужды что-нибудь приобрести: ходил с одной целью — посмотреть на людей, послушать их, увидеть, как живут.

Обычно он останавливался возле крестьян, присматривался к ним, и когда они начинали подозрительно коситься на него, не уходил, наоборот, подходил поближе, говорил, что сам из деревни, сейчас живет в городе, так ему интересно, как там нынче, в селах.

Если кто из мужиков вступал с ним в разговор, сочувствовал Иосифу, что оторван от дома, родных мест — сейчас в деревне, как ни трудно, а все же легче, чем в городе, — он отвечал: «Может быть, весной вернусь, когда сев начнется, колхозу помогу, а сейчас мне там нечего делать, да и один я».

В такие минуты Иосиф забывал, что собирается навсегда уйти от людей, и думал, что весной вернется домой — в посевную в Гуде каждый работник будет на особом счету, и сейчас для него будто не существовало своей личной жизни, своего прошлого.

Тогда вся его прежняя жизнь представлялась, как тяжелый кошмарный сон, да и все, что сейчас с ним происходило, казалось каким-то нереальным.

Но жизнь, в которой он пребывал, была самой что ни на есть реальной, и он возвращался в нее сразу же, когда кто-нибудь из мужиков спрашивал у него о чем-то практичном типа: а что у тебя можно выменять на сало, буханку хлеба, яйца…

Иосиф отвечал, что пришел сюда просто так, тогда ему давали понять, что просто так здесь нечего делать, теряли к нему интерес, и он уходил прочь.

Были на рынке и такие, кто умел наживаться на чужом горе. И, кажется, среди них все больше городские женщины, хотя попадались и здоровые мужчины, которые почему-то сейчас не были на фронте.

Эти обычно хватали все, что только попадалось под руку, обманывали простаков. Иосиф сам видел, как, случалось, такой женщине или мужчине человек за кусок хлеба отдавал золотое кольцо, теплую одежду, добротные сапоги…

Однажды, когда Иосиф ходил по рынку и присматривался, что бы купить поесть, его остановил мужчина лет сорока, одернул за рукав тулупа.

— Беру тулуп, — ощупывал он его.

Иосиф остановился, посмотрел на наглеца. Глаза прищуренные, бегают по сторонам, лицо, как маска, ничего не выражающее, одет в хороший кожух, в валенках, на голове заячья шапка.

— Зачем тебе тулуп? — удивился Иосиф. — У тебя кожух неплохой, да и не на твои плечи мой тулуп. Я худой, а ты кругленький и выше меня.

— А твое какое дело? — тихо сказал мужчина. — Ты же жрать хочешь, сейчас от ветра скопытишься. А нет — иди своей дорогой и не высматривай, что у кого спереть. Я давно за тобой наблюдаю, слюну глотаешь. Нет, так топай отсюда и глаза не мозоль своим тулупом.

— А что дашь? — вдруг зло спросил Иосиф, желая узнать, что за душонка у этого человека.

— Хороший кусок конины, хлеба.

— Очень дешево за такой тулуп. Он почти новый, перед самой войной шил, ему сносу нет, и тепло в нем, как на печке.

— Не хочешь тулуп — кольцо, коли есть. Неделю жить будешь.

— Нет, с тобой дела у нас не будет, — Иосиф уже с ненавистью смотрел на этого сытого мужика. Люди в самом деле с голода от ветра шатаются, а он… И вдруг как уколол: — Ты что, отвоевался, хаживаешь здесь? А конина у тебя не дохлая?

— Что? — мужчина такого не ожидал. Он подступил к Иосифу, что-то сжимая правой рукой в кармане кожуха. — Да я сейчас милиционера свистну! Он тебе покажет, кто отвоевался, а кто нет. Да кто ты такой?..

Иосиф знал по рассказам работавших с ним мужчин, что милиция таких, как этот, не гоняет, наоборот, относится к ним с почтением, решил, что можно «влипнуть». Растерялся.

Мужчина, увидя это, прохрипел:

— Топай, дядя, отсюда, пока цел. Понял? Да ты сам, может, с кого этот тулуп содрал. И вообще, надо бы тебя потрясти, посмотреть, что ты за фрукт, чем в оккупацию занимался. Может, в полиции был, а?..

Иосиф понял, что могут быть неприятности, если этот меняла позовет милицию, повернулся и молча ушел.

Он торопливо шел по улице в направлении станции, ему хотелось скорее уйти от людей, казалось, все, кто его видит, знают, кто он, откуда и какое злодеяние, совершенное его сыном, тянется за ним, Иосифом.

11

Возле станции Иосиф остановился: а идти-то некуда. На угольный склад, где ночует на тряпье в горькой пыли? К таким же людям, как сам, тоже отрезанным от всего остального мира? Впрочем, у каждого из них своя судьба, свое горе, свой способ существования, и Иосиф никому из них не нужен, да и они ему — тоже.

Он постоял на месте, словно прислушиваясь к себе. Что сейчас было у него внутри, в душе, а он верил, что у человека есть душа, — так это боль. Та боль, к которой он постепенно привык, с которой сжился, без которой не ложился спать и не просыпался. Она была, как руки, как ноги, что ли: отними эту боль — и нет тебя.

Это первое, что ему сейчас показалось. Потом, поразмыслив, он будто осознал, что боль эта — чужая, не его, она как пришита к нему кем-то насильственно, пришита в тот момент, когда он был в беспамятстве. Да, эта боль вогнана в его душу словно кол. И его не вытащить, как ни старайся.

Изо рта клубился пар. Мороз к вечеру крепчал. Щеки покалывало. Небо было прозрачно-голубое, местами в редких сизых шрамах. На закате оно дрожало широкими багровыми полосами. Дым из трубы станционной котельной ровной, серо-пепельной лентой уходил высоко в небо и там постепенно расплывался. Было хорошо слышно, как на дальних путях пыхтел паровоз, стучали буфера. В воздухе стоял какой-то гнетущий монотонный гул, сотканный из самых разных звуков, каждый из которых в отдельности отсюда, с пристанционной площади, различить было трудно. Снег вокруг лежал грязный, истоптанный множеством человеческих ног, сыпучий, как сухой песок, перемешанный с угольной пылью.

Чужое небо, чужие звуки, чужой, неприятный снег… Какая-то странная ситуация: везде, и в Гуде, и здесь, в городе, все, что Иосифа окружает, словно отталкивает его от себя. Он все более отчетливо понимает, что нет ему места среди людей и здесь, и там. А выходит, он, будто вопреки всему — с ними, людьми, среди них.

Иосиф повернулся и пошел назад в город: что сейчас делать в холодном складском катушке среди горькой угольной пыли?

В последнее время у него на пустом угольном складе, как у постоянного обитателя, появился свой уголок, отгороженный досками. На складе, в этом уголке вместе с ним коротали ночи еще трое таких, как он, пожилых мужиков. Люди вроде одного возраста, а между ними никаких не то что дружеских, но и товарищеских отношений не было. Более того, чувствовалась отчужденность, граничащая чуть ли не с озлобленностью.

Иосифу иногда казалось, что у каждого из них тоже своя тайна, свое горе. Сам он ни к кому с расспросами не лез, да и они у него ничего не спрашивали.

Пошлявшись по городу, преодолев чувство, будто все, кто тебя видит, знают, кто ты и почему здесь (пусть знают, что я могу изменить?), Иосиф вернулся на станцию. Он зашел в буфет, чтобы выпить кружку кипятка, согреться.

К буфету было не подступиться. И в зале ожидания толпилось множество людей, гражданских и военных.

Согревшись — вообще-то ему в тулупе холодно не было, вот только лицо, хоть он его и прятал в воротник, жег морозец, Иосиф вышел на перрон. Здесь тоже было многолюдно. На ближних путях стояли и нетерпеливо пыхтели паром два воинских эшелона. Один из них направлялся на запад, второй — на восток.

Возле эшелона, что шел на восток, бегали взад-вперед военные. Кто-то нес в котелке кипяток, кто-то охрипшим голосом подавал какие-то команды, кто-то пиликал на гармошке — «Катюша» звучала неумело, как будто гармонист сидел на телеге, а она ехала по шпалам. А какой-то пожилой офицер матерился, размахивая пистолетом, орал, что отдаст кого-то под суд.

Иосиф понял: что-то случилось. Он протиснулся ближе к этому поезду (поезда стояли точно паровоз к паровозу, или «голова» к «голове»). В толпе в окружении гражданских и военных Иосиф увидел двоих в армейском обмундировании. Эти двое стояли, крепко обнявшись. Стояли молча, не обращая ни на кого внимания. Кто-то рядом с Иосифом, спрашивал, что случилось. Пожилая женщина, вся седая, в истертом ватнике, не отводя глаз от этих двоих, сказала:

— Оказывается, есть что-то на свете. Родные братья встретились. Один оттуда, другой — туда. Один искалеченный, домой возвращается, а другой, может, на смерть едет. Вот и пересеклись их пути, спаси их Господи…

— Как?

— Откуда мне знать? — искренне удивилась женщина. — Наверное, свыше им было назначено встретиться.

Иосиф не стал слушать дальше, протиснулся в толпе ближе к братьям. Может быть, он впервые за войну был свидетелем человеческого счастья. Вернее, его вспышки: появилась, словно искорка в кромешной тьме, вспыхнула язычком пламени, на мгновение дохнула теплом в душу, чтобы люди вспомнили, что есть оно…

В это мгновение Иосифу по-настоящему стало хорошо, даже радостно. Он вдруг поверил в добро, в то, что как бы тяжело ни было, а судьба все равно выведет тебя к людям, туда, где понимание и сочувствие.

Он не знал этих людей. Он никогда их не видел. Но он знал, что через минуту-другую они исчезнут из его жизни, чуть скользнув по ней. Он чувствовал, что еще долго, а может быть, до конца своих дней, в тяжелые минуты он будет вспоминать их.

А сейчас его душу охватила радость и вместе с тем тревога: один — с войны, другой — на войну. Что ждет одного, искалеченного на фронте (так сказала женщина, Иосиф еще не видел), дома, в этой мирной, почти до основания разрушенной жизни? А другого — там, на фронте? И суждено ли им еще встретиться?..

Иосиф вновь рванулся вперед, кого-то толкнул локтями, сумел протиснуться ближе к братьям: ему надо было хоть чуть-чуть прикоснуться к теплу человеческого счастья, коль своего уже не суждено ощутить.

Паровоз, направляющийся на восток, вдруг сердито запыхтел, выдыхая огромные клубы пара. Иосиф, торопливо взглянул на лица братьев и вздрогнул, будто молния сверкнула перед глазами: лицо возвращающегося с фронта было изрезано тяжелыми лиловыми рубцами, и вместо губ — изломанные синие шрамы.

Паровоз запыхтел чаще, рядовой решительно оторвался от брата, еле удержался на такой же, как у Николая деревяшке, посмотрел поверх толпы синими, будто васильки, глазами. Но его брат, щупленький молоденький лейтенантик, вновь приник к нему, затрясся на плече брата, проговорил:

— Братик, слышишь, домой едь, домой! Больше — никуда! Выбрось дурь из головы! Там тебя люди ждут…

— Боже праведный, — перекрестилась рядом с Иосифом какая-то старушка, — что война с людьми делает! И какой изверг ее придумал? За что на людей такая кара?.. Закрой, Господи, этого мальчика своей неизносимой ризой. — И начала шептать «Отче наш».

Иосиф подумал, что эта старая женщина, чья-то мать, несомненно, многое повидавшая на своем веку, все происходящее воспринимает как свое кровное. И пережив немало, она все равно не может свыкнуться с тем, что на земле столько горя и зла. Сейчас, понимая, что людям не совладать с ними, уповает на высшую волю. Так может быть, все это зло и свалилось на людей потому, что они натворили много того, чего нельзя было творить. Они нарушили извечные жизненные устои, ходили брат на брата, изничтожали храмы, отрекались от отцовской веры — и много иного ненужного совершали и совершают люди…

«Нет, нет, нет!.. — Иосиф отогнал прочь от себя такие мысли. — Грех так думать. В чем и перед кем может быть виноват этот молодой, изуродованный войной солдатик, как и тысячи таких же других, искалеченных, израненных, сложивших голову на войне?.. Он же не… мой Стас».

Да, бежал Стас от войны, от той войны, на которой должен был или лечь в землю, или вернуться живым, раненым или не раненым, искалеченным или невредимым… Это, если так можно сказать, сторона войны — защита Отечества — всегда у людей считалась святой и правой. А Стас избрал иную ее сторону. Ту, которую во веки веков презирают люди, или проще сказать, проклинают того, кто на той стороне войны. Объявился ночью, как ворюга, разбойник, злодей… Постучал осторожно в окошко. У Иосифа тогда сразу же мелькнула догадка — сын! Дрожащими руками он открыл дверь, впустил его в хату, усадил за стол, ничего не спрашивал, теряясь в догадках и отгоняя прочь страшную мысль: дезертир... А утром Стас сказал:

— Все, батька, отвоевался я!

— Бог с тобой! — воскликнул Иосиф. — Перекрестись! Как это случилось? Где вас окружили?.. Коли так, схоронишься пока дома, затем в лес уйдешь. Знать, где-то там окруженцы, такие же, как ты, собираются.

Стас покивал головой:

— Эх, батька, батька, ты не знаешь, что вокруг делается. Ты не видел, какая силища прет! Всем этим советам — крышка!.. А ты — в лес… Вот были бы живы дед с бабкой, они бы так, как ты, не говорили, они бы радовались, что этим голозадым советам конец пришел. Сколько они над бабкой с дедом поиздевались, пока ты с Ефимом на колхозные собрания бегал да призывал сельчан сообща хозяйничать. Они, дед с бабкой, меня растили, а не ты. Да, советы все у деда с бабкой забрали: и землю, и хлеб. Они их самих со свету сжили: сослали куда-то, и неизвестно, что с ними там случилось. А ты, хитрец, сразу в колхоз… Хватит, батька!.. Сейчас мы еще посмотрим, кто верх возьмет: в гарнизон пойду!

— Говорю: перекрестись! — Иосиф подхватился с места, наклонился через стол к сыну, чтобы схватить того за грудь. Стас отпрянул от него, а Иосиф продолжал: — Ты что себе в голову вбил? Наши люди сообща переломают немцу хребет. Сколько войн ни было, а все равно на России обжигались. Тогда что будет?.. Отец я тебе или нет?

— Отец, только потому, что на свет пустил? Пустить на свет — дело нехитрое. А растил же меня не ты. И вообще, что ты мне дал?.. Ни-че-го! Так что ты мне не судья: хотя мне жаль тебя, старого дурака. А немца уже ничто не остановит, под ним вся Европа лежит.

— Одумайся! — хрипел Иосиф. — Мало ли что было: ну, попал в окружение, потерял оружие… Испугался, потом оклемался, вспомнил, кто ты и что — воин. А оружия сейчас вокруг всякого много валяется, и немецкого, и нашего. Вот и подними, пока затаись, а там — в лес. Партизаны были во все войны. Я твоего позора не переживу!

— Переживешь! Все переживешь, что судьба пошлет. А не выдержишь, значит, свое откоптил…

Иосиф тогда понял: перед ним чужой человек, с которым его, кажется, никогда ничто не связывало. Уяснил, что Стас не отступится от того, что задумал: у него велика злость на весь мир, сын пышет лютой злобою.

— Мне, если уж так тебе хочется знать, дороги назад нет, да и не надо. Я для себя давно все решил, так что прикуси язык, старик.

— Гнилая у тебя душонка, — сказал Иосиф. — Ткнешь пальцем — рассыплется. Ну что ж, моя вина, моя. Сам виноват, что побоялся деда с бабкой ослушаться, когда они тебя забирали. Взошло в тебе их злое семя.

— Тебе что, между глаз врезать? — сказал Стас. — Заладил, надоело. Живи как знаешь.

Иосиф понял, что разговор окончен. Он тяжело поднялся из-за стола, направился к двери, там на минуту задержался, оглянулся, посмотрел на сына. Тот спокойно ел суп. «Чужой, совсем чужой», — подумал Иосиф и вышел из хаты.

…Все это вспомнилось Иосифу сейчас на перроне, вспомнилось, когда услышал, как старуха просила Бога, чтобы он отвел пулю и огонь от молоденького лейтенанта, едущего на фронт. Потом после «Отче наш» она читала молитву, в которой были слова о сохранении воина, идущего на битву за свою землю. И слышал он их, эти великие слова человеческой надежды о спасении (дело правое), выстраданные людьми на протяжении веков, и каждое из них больно отзывалось в сердце: моего сына эти слова обошли…

Старуха молилась:

…Маці Божая з сябе рызу здымала,
Раба Божага салдаціка ўкрывала,
Хуткія кулі і вострыя мячы замаўляла:
Каля яго лятайце,
У яго не трапляйце.
Зберажы яго, Божа,
Ад кулі хуткай,
Ад шаблі вострай,
Ад агню, ад патопу,
Ад снарада.
Зберажы і памілуй яго
На многія лета.
Накрый яго сваёй святой рызай,
Зберажы і памілуй на многія лета,
Дай яму зброю і святы хрэст…

В детстве, да и позже, сейчас, во время войны, Иосиф слышал много молитв на разные случаи жизни, а эту слышал впервые. С каких времен она пришла?.. Кто к этому времени ее «приставил»? Когда?.. Или только сейчас она людям явилась?.. Никто не скажет… Молитва потрясла его: «Дай яму зброю і святы хрэст…» Это было предельно понятно, до какой степени возвышается ратное дело и как оно возвеличивает того, кто идет на битву за свою землю…

«По вагонам!» — прокатилось волной в морозном воздухе.

Люди на перроне заметались, забегали. Паровоз дал долгий гудок. Лязгнули настывшим металлом буфера, прогнулись под вагонами рельсы.

— Лейтенант! Давай, скорей, скорей! — слышалось из постепенно набирающего ход эшелона. Казалось, кричали из всех вагонов, из всех открытых проемов в них.

И тогда Иосиф увидел, как рядовой уже со всей силой оттолкнул от себя лейтенанта. Испуганно, что есть силы, закричал:

— Беги, Вася, беги! Это же фронт!..

Лейтенант словно очнулся, пошатываясь, начал осторожно отходить от брата, потом сорвался с места, бросился к проплывающему мимо вагону, оглянулся:

— Ваня, домой! Слышишь?.. Домой!..

Он успел вскочить на подножку последнего вагона.

Иосиф, как и все, кто остался на перроне, не знал, какие судьбы у этих двух братьев. Он не знал, почему изуродованный солдат не собирается ехать домой. Может быть, у него там была невеста, и таким он не мог показаться ей на глаза. А может, там, где жил раньше, и вовсе уже не было никакого дома, а просто место, где жили люди, знавшие и помнившие его другим…

— Езжай, Вася… Бей гада!.. А я — домой!..

Вряд ли лейтенант уже мог слышать эти слова брата, поезд шел быстро, удалялся и вскоре исчез за поворотом.

Во всем том, что сейчас видел и слышал Иосиф, открылась трагедия судеб двух незнакомых ему молодых людей, один из которых, наверное, Стасов ровесник, а второй чуть моложе. Потрясенный увиденным, Иосиф словно сбросил с себя тот гнетущий груз, который носил все это время, простонал: «Домой, домой…»

Через два дня гуднянцы заметили над трубой хаты Иосифа Кучинского дымок.

12

Ефим Боровец на этой земле корня не имел. И вообще, он не знал, есть ли где люди из его рода или нет их. Был он, как здесь говорили, из чужбины, пришлый, но чужаком его не называли, как обычно бывает в таких случаях. Ефим появился в Гуде лет пятьдесят тому, да так и остался здесь, прижился, полюбил этот край, людей, обзавелся семьей.

До Гуды он, мальчишка, сирота, не знавший и не помнящий родителей, скитался по земле, водил от деревни к деревне старцев. Потом, как подрос, батрачил у богатых мужиков, учился всему, чему только могла научить жизнь.

Он все, что было с ним, хорошо помнил лет с шести-пяти. Именно в этом возрасте какая-то старуха отдала его в поводыри проходившим через деревню старцам. Но он не знал, что это была за старуха, какая деревня и что с ним произошло до того времени.

Он мог только представить: была это родная бабушка или далекая родственница, к которой он попал, потому что его родители рано умерли. Кое-как выходив его, она, горемычная, поняв, что ей дальше мальчонку не прокормить, отдала на спасенье, на «чужой кусок хлеба»… А может, он рожден без отца, был подкидышем у чужих людей, или еще имелась какая-то причина тому, что Ефим не знал, кто его пустил на свет. Но как бы то ни было, он выжил среди чужих людей, немало повидал в жизни и с молодых лет усвоил, что одному человеку быть на этом свете нельзя.

Он знал свое имя — Ефимушка. Так его звали старцы, с которыми ходил по земле. Они, как он помнил, оберегали его, отдавали лучший кусок хлеба, накрывали в холод теплейшей тряпицей. Но однажды, когда после нескольких лет скитаний остановились в одной богадельне, старцы отдали его в работники какому-то богатому мужику, сказав, что пора ему выбиваться в люди, а их век близится к закату…

Он не помнил их лиц. Вернее, не помнил, чем различались лица тех трех стариков, которые и спасли его от голодной смерти, фактически вырастили. Позже, много лет спустя, когда вспоминал время своих скитаний, перед глазами словно наяву возникали трое согбенных жизненной тяжестью старцев с длинными белыми бородами.

Были эти старики зрячие. Это он помнит точно. Но не знает, что заставило их однажды сорваться со своих мест, где они жили, и пуститься в скитание по миру, такому непростому, часто жестокому, тому миру, в котором не всегда есть место жалости и сочувствию к обездоленному, миру, как ему тогда казалось, построенному на том, что сильный обязательно подминает под себя слабого.

Случалось, их травили собаками, били чем ни попадя, обзывая ворами и бродягами, показывали «от ворот поворот», в лучшем случае говаривали: «Ступайте с Богом», а то и отбирали последнюю корку хлеба.

Хотя чаще люди, сами бедняки, давали то, что могли дать: краюху хлеба, горсть крупы, несколько картофелин, лук…

Воспринимали их как обычное жизненное явление, без чего сама жизнь не может существовать, — в те времена на земле было немало скитальцев, и никого не интересовало, кто они, откуда: есть такое, и все тут. Это как дерево у дороги, валун в поле, тропка в лесу… Вот так она и течет — сама по себе, жизнь.

Но обычно после войн, неурожайных лет, каких-нибудь иных потрясений, разрушающих основы существования, прежде всего семьи, странников на земле становилось много. Тогда отношение к ним менялось из извечно христианского (подай ближнему) до инстинктивного — всех не накормишь, не согреешь — выжить бы самому…

Конечно, это отношение к горемычным не захватывает всех людей до единого, кого минет такая доля. Оно, неприятие обездоленных, накатывается постепенно, как вода в половодье, неся грязную пену, муть, при этом где-то за что-то цепляется, останавливается и через некоторое время медленно оседает на дно. Тогда все вокруг становится чистым, прозрачным, возрождается, чтобы засверкать первородным светом. Так и среди людей: после бед, вражды, отторжения сильными слабых и горемычных постепенно появляется сочувствие к ним, желание помочь, облегчить страдания.

Старцы, с которыми в детстве, наверное, лет до четырнадцати-пятнадцати ходил Ефим (кто его годы считал, если он и сам не знает года своего рождения), хоть и были на одно лицо, но каждый светился каким-то своим внутренним светом. Ефим это чувствовал: он, свет этот, такой разный, но все равно теплый, добрый. Не раз битые другими, изгоняемые из крестьянских подворьев, униженные до такой степени, что, казалось, как после всего этого можно чувствовать себя человеком, старцы каким-то непонятным, необъяснимым юному Ефиму образом оставались людьми, способными не оттолкнуть друг друга, не бросить на произвол судьбы его, мальчонку, и не держать на людей зла.

Иногда, размышляя над этим, Ефим понимал, что это великий человеческий дар, который дан далеко не каждому, хотя, впрочем, может, и не дар, а жизненное приобретение, своеобразное мужество.

Сам он, как считал, таким даром не обладал. Случалось, и нередко, обижал незаслуженно людей (а разве может быть заслуженной обида, да и кто кому дал такое право — обижать?). Был он зол на людей, которые жили не так, как он, и которые часто его обижали, как, между прочим, всю войну был зол на Иосифа и еще мало ли на кого, кто в его понимании поступал не так, как надо…

Конечно, Иосиф здесь стоял особняком: свой же, из одной деревни, весь как на ладони, тот, вместе с которым немало пота пролито на полях и лугах, немало соли съедено да из одной миски хлебано во время сева, сенокоса, жатвы.

Так что здесь ты, хотя и чужой ему, а многим связан — жизнь такова, что без связки с людьми — тебе в ней очень тяжело.

И сейчас, когда Ефим обнаружил, что Иосиф ушел из деревни, старый, беспомощный, да еще среди зимы, подумал, что если Кучинский и дотянет в одиночестве до весны, не упадет где-нибудь на дороге и если его не заметет метель, выживет, то, наверное, побредет по миру странником, просящим подаяние. Если такое случится, скорее всего, странствовать Иосиф будет не один — сейчас на горьких и пыльных дорогах родной земли много бездомных, искалеченных, отвергнутых жизнью. Вот только бы тот люд, которому посчастливилось выйти из этой страшной войны с наименьшими потерями, который при этом смог ничем не запятнать себя, не гнал бы прочь горемычных, страдальцев вроде Иосифа, подозревая их в несовершенных ими злодеяниях, считая виновными во всех людских бедах…

Сейчас еще трудно сразу, а порой и невозможно разобраться не только в людях, но и в самом себе, а уж быть судией всем и вся — грех.

Ефим к Богу обращался не часто. Разве что когда было очень тяжело, когда хотелось понять: почему, за что на него такая напасть, да нужно было самому себе уяснить, постыдный ли этот или тот его поступок. Хотя обращался он ко Всевышнему иногда и в молодые годы, так тогда по иным причинам…

В Гуду Ефим пришел не один, а с товарищем, таким же, как сам, бродягой, которого встретил однажды во время скитаний. Как-то сошлись, слово за слово — и тот одинок, шляется по людям как неприкаянный. Сговорились, решили, что вдвоем легче.

Как раз стояла зима. Хорошая, снежная, ядреная. В полях заботы крестьянину нет, рожь обмолочена, нанялись они к Федору Ругилевичу делать гонт. Тот ставил сруб, намеревался отделить от себя взрослого сына, рабочие руки хозяину были нужны.

Тогда еще прямой как столб, высокий, черный как смолье, Ефим нравился многим девчатам во всех местах, где ему только приходилось бывать.

Головы Ефим им не морочил, ни в какие серьезные отношения не вступал: кто он, без роду и племени, да без дома, хозяйства, без земли? Греха на душу не брал, помня высказывания одного старца, что чужие слезы, если ты в них виноват, тебе же и отольются, как и то, что рано или поздно твое добро, сделанное другому, возвратится. (Если так, почему тогда сам тот старец всю жизнь горемычничал?)

И здесь, в Гуде, Ефим девушкам приглянулся. Бывало, пойдет на вечерки, те глаз с него не сводят. Местные же кавалеры не раз собирались отметелить Ефима, но побаивались: его товарищ пустил молву, будто Ефим уже не один острог прошел, так что связываться с ним не надо.

Но тем не менее, несколько ночей подряд исчезал инструмент, который Ефим с товарищем оставляли под навесом. Как понимал Ефим, гуднянские парни хоть таким образом хотели показать пришлым, кто здесь свой, а кто нет.

Ефим и его товарищ несколько раз вынуждены были ездить в Дубосну на базар, чтобы купить там инструмент. Но однажды, когда вновь исчез топор, Ефим на вечерках сказал товарищу, чтобы все услышали:

— Игнатий, у нас с тобой опять инструмент увели. Но попомнишь мое слово: тот, кто это сделал, притянет его в зубах, да еще волком будет выть под окном у дяди Федора. Ты же знаешь, каким я словом страшным владею, сегодня же к утру на вора и напущу его. Вот тогда вся Гуда будет знать, кто это.

Почему он так сказал, и сам объяснить не мог. Наверное, на такое Ефима подтолкнуло то, что крестьяне в то время верили в Бога, а о всяких заговорах чего он только не наслушался от старцев.

Утром весь инструмент был на месте. И пошла тогда молва по деревне, что этот черный, Федоров работник, тайное слово знает. Молодые Иосифа зауважали, стали перед ним заискивать, а старики говорили, что от такого чародея надо держаться подальше.

А под весну зачастила к Федору его соседка, вдова, старая Авгинка. Она все о чем-то шепталась с Федором, вкрадчиво посматривая на Ефима. Однажды Авгинка нерешительно вошла в дом, постояла у порога, потом согнулась, робко подошла к нему, подала кошелку с яйцами, взмолилась:

— А дитятко ты мое!.. А мой ты батюшка!.. Не оттолкни старуху, не плюнь ей в глаза… Горе у меня неутешное, помоги! Сколько буду жить, столько за тебя буду Богу молится.

Старуха смотрела Ефиму в глаза, и он видел униженную, убитую горем, беспомощную женщину, которая, понял, ищет у него если не избавления от каких-то страданий, то сочувствия. И он, еще толком ничего не зная, начал ее утешать, говорить, что поможет, если ему это под силу.

— К доченьке моей хворь пристала, — прошепелявила беззубым ртом старуха. — Ей бы уже к выданью ладиться, а она вдруг начала увядать. Осенью пошла по грибы, возле Вылазов встретили ее какие-то мужики, к ней бросились, так она еле убежала, сутки в болоте хоронилась, домой пришла сама не своя. С тех пор всего боится, иной раз меня не признает. У кого я только помощи не просила, кто ей только воду не заговаривал, а сладу нет. Ой, горюшко, цвела девонька, а сейчас чахнет на глазах.

Впервые пожалел Ефим, что назвался знахарем. Поверили люди в его ложь, а это не к добру. Чем он мог помочь этой старухе, ее дочери, если сам пень пнем, безграмотный, и кроме силы, данной ему природой, ничего не имеет? Вот если бы тогда он случайно оказался там, в лесу, то, конечно же, положил бы тех выродков. Как сказать об этом старухе?.. Впрочем, какая она старуха, если у нее дочь на выданье? Пятьдесят, шестьдесят лет женщине, а выглядит на все семьдесят, а то и более. От нелегкой ли крестьянской жизни так состарилась, от горя ли к своему закату идет. Утешение ей нужно, сочувствие.

Ефим посмотрел на женщину и словно почувствовал, что у нее сейчас делается на душе: он — ее единственная и последняя надежда. И еще было у него такое чувство, будто какой-то слабый, самому непонятный луч тепла скользнул из его души, согрел старуху — по ее серому лицу словно пробежал отблеск света.

— Попробую, — сказал он тихо.

В свое время, скитаясь со старцами, Ефим слышал и от них, и от людей много чего таинственного и необъяснимого. Знал, видел, что от испуга, сглаза словом добрым люди людей лечат.

— Веди меня, мать, к дочке своей, — сказал Ефим.

— Веди, веди, — будто приказал ей Игнатий, слышавший их разговор. — Он хворь ее как рукой снимет. Уж я-то видел, инструмент вернули. Ефимово слово силу имеет, я тебе говорю!..

А через полгода встала на ноги Авгинкина Марфа. Вновь расцвела девушка, зарозовели ее щеки, возвратились к ней веселость и радость.

Нет, не лечил ее Ефим словом таинственным, особым. Не знал он такого слова. Его сразу, как только увидел девушку, пробрала какая-то непонятная дрожь, какой-то необъяснимый огонь вспыхнул в душе. Да так, что зашатался юноша и, чтобы не упасть, припечатал руку к дверному косяку, еле сдержал-

ся, чтобы не застонать, а про себя произнес: «Подыму ее, за собой поведу, никому не позволю над ней глумиться…»

Долго не отходил Ефим от девушки, говорил ей ласковые слова, какие только знал, и она через некоторое время как ото сна очнулась.

И никуда он ее не повел за собой — остался Ефим в подслеповатой Авгинкиной хате. Не примаком остался, а, как говорили люди, Марфиным хозяином и мужем. О его знахарстве постепенно забыли, так как Ефим больше не соглашался никого лечить. Но его зауважали: всегда помогал соседям по хозяйству, коли нужда такая была, никого зазря не обижал, был крут, но справедлив.

Работал Ефим, как и все крестьяне — и день, и ночь. Но в богатеи так и не вышел, а когда коллективизация началась, так тут он вместе с Иосифом — в числе первых…

Вспомнили люди о его знахарстве, а точнее, вспомнил Иосиф, когда началась война, когда отправляли на нее сыновей.

Ефимовы сыновья были похожи на отца — такие же высокие, темноволосые, сильные. Были они у него поздние: Марфа почему-то долго не могла понести. Думали, что им придется век доживать в одиночестве, а она почти в сорок первенцем забеременела, Ефиму тогда было пятьдесят.

Двоих родила ему Марфа, одного за другим. Началась война, годок-то их призывной. И пошли на фронт Никодим и Иван. И Стас с ними на войну шел.

Идя со всеми в район, Ефим остановился за деревней на мосту, стал на колени и, как будто загораживая сыновьям дорогу назад, остановил их, решительно перекрестил: «Пусть не тронет тебя, Никодим, и тебя, Иван, пуля. Пусть огонь и меч обойдут вас… Дети, благословляю вас на дело ратное. Так уж выпало на ваш век, что надо идти спасать землю, вместо того, чтобы бросить в ее зерна. И нет вам пути назад без победы».

Сыновья слушали отцовские наставления молча. Слушали его и мужчины, которые вместе с ними шли в военкомат. А было их много, вся деревня. Слышал это и Иосиф Кучинский. Он смотрел на Ефима с ужасом: неужто так можно о детях своих?

— С победой придем, отец, — сказал Никодим. — Иначе нам нельзя: наша земля здесь, все здесь наше. Знаем, не на погулянку идем.

И когда мужчины молча вновь зашагали по дороге, скрываясь в сухой горькой пыли, Иосифовы сыновья и Стас время от времени останавливались, поворачивали головы к деревне, будто понимая, что каждый должен ее запомнить такой, как есть, ибо потом, после войны она будет совсем иной. Иосиф тогда приподнял Ефима с колен, пересохшими губами произнес:

— Вставай, Ефимка…

Ефим встал. Но пошел не в деревню, а в райцентр, догоняя сыновей и мужчин.

13

Много раз за войну вспоминал Ефим тот день, когда проводил своих сыновей и гуднянских парней да мужчин на фронт, и свой разговор с Иосифом. Особенно часто вспоминал Иосифа, когда через некоторое время после оккупации в деревне объявился его Стас и спустя некоторое время надел на рукав полицейскую повязку.

И сразу же, а впрочем, с первого дня, как Стас стал полицаем, между Ефимом и Иосифом будто кто провел глубокую борозду и развел мужчин, некогда

друживших, по ее разным сторонам. Сколько Иосиф ни пробовал поговорить с Ефимом, все никак не получалось. Ефим посматривал на него презрительно, и если, случалось, где-нибудь пересекались их дорожки, отворачивался. А Стасу вообще плевал вслед. А однажды, когда тот, будучи выпивши, попробовал схватить Ефима за воротник рубашки, ловко вывернулся и, глядя тому прямо в глаза, бросил:

— Тхорь, ты на меня лапы не распускай! Смотри, найдутся люди, вмиг укоротят. Понял?

Стас этого не ожидал, на мгновение растерялся, а потом снял винтовку с плеча, ткнул дулом в грудь Ефиму и, наливаясь кровью, по-бычьи выгнув толстую шею, бряцнул затвором.

— Ну?! — крикнул Ефим. — Отойди! Если еще не попробовал людской кровушки, так одумайся!.. Не поздно. Придет время, все тебе отзовется, сопляк!..

Ефим повернулся и, не озираясь, пошел к своей хате. А Стас все еще стоял посреди улицы, держа в руках винтовку. Его трясло.

На шум из хаты вышел Иосиф, увидел Стаса с винтовкой и удаляющегося по улице Ефима, подбежал к сыну, повис на руке:

— Ты что это надумал, а?

— Уйди прочь! — хрипел Стас. — Уйди, а то не посмотрю, что батька. Защитник нашелся. Да я…

Больше он не нашел, что сказать, резко забросил винтовку за плечо, повернулся и пошел в Борвицу, где стоял гарнизон, но через несколько шагов остановился, бросил:

— Ладно, сегодня я вас, дураков, помилую, ибо своего ума не вставишь. Поживите, просмотрите, что вокруг делается. Хорошенько посмотрите. Может, что-нибудь и поймете. Но еще раз случится такое — не ждите пощады!

Он взмахнул рукой, словно отрубил.

Вспоминал тот день Ефим и думал, что для таких, как Стас, нет ни Бога, ни человека, вообще нет ничего святого.

Помнил Ефим и то, что когда сожгли деревню, а он, вернувшись из леса, увидев пепелище вместо хат, черные печные трубы, беззвучно плакал, пытался отыскать свою Марфушку, и не нашел даже ее следа… Как и многих своих соседей и односельчан.

Вспоминал, потом обессиленно трясся, стонал, звал сыновей, будто вновь видел их перед собой, будто вновь говорил им: «…Благословляю вас на дело ратное… Надо идти спасать землю… И нет вам пути назад без победы…» И слышал в ответ: «С победой придем, отец… Наша земля здесь…»

А еще вспоминал это раньше, когда из окружения в деревню вернулся раненый Михей, в окошко не стучал, а вполголоса позвал:

— Дядя Ефим, а дядя Ефим! Выйди…

Когда Ефим вышел, Михей пояснил:

— Дядя Ефим, моя вина, что к фронту не пробился. Кори меня за это, но прочь не гони. Нет моей вины, что пуля подкосила… Только знай, своей винтовки я не бросил… Скажи, где мне сейчас искать людей с оружием, где?..

Ефим не стал разбираться в путаном объяснении односельчанина: в чем есть его вина, в чем нет… Пусть сам определит для себя, если уже не определил. Подумал, что неспроста именно к нему пришел Михей: дружил с его сыновьями — ладно, это хорошо. Мальчишкой, юношей слушался и его, Ефима — было. А может быть, пришел к нему потому, что и он, Михей, слышал его слова, сказанные сыновьям в напутствие... Как знать, да и не до расспросов сейчас. Сказал ему:

— Люди, Михеюшка, они везде есть. А тех, что тебе нужны, я знаю, где искать. А пока дома схоронись, подожди, окрепни.

Сжималось сердце у Ефима, огнем полыхало: может быть, сейчас вот так, как Михей, идут к родному дому его сыновья. Спросил:

— А моих не видел?

— Нет, дядя Ефим. Нас еще в районе разлучили. Их — в танкисты, меня — в пехоту. И вообще, разбросало наших кого куда, будто ветер развеял. Может, когда и соберемся, коль живы будем.

Через некоторое время Михеевы отец с матерью и Ефим провожали его в партизаны.

Хорошо помнил Ефим, как после освобождения вернулся с фронта Николай. Ковылял на деревянном протезе по пустой, сожженной деревне, плакал долго, стонал…

— Отвоевался, — сказал Ефим, обнимая его, когда тот немного успокоился.

— Там-то отвоевался, — ответил Николай. — А здесь что?

— А здесь сам видишь.

— Вижу. А твои-то парни как?

— Пока вестей не подают, — сказал Ефим. — Вот Михей, считай, с начала войны здесь.

— Это как? — удивился Николай.

— Окруженец он. Партизанил.

— Партизанил?

— Да раненый он пришел. И сейчас кашляет. Грудь прошибло. На нем вины нет. На других есть. С Михея какой спрос? — успокоил тогда его Ефим.

14

…Пока глаза привыкали к густой темноте, Ефим внимательно прислушивался к тому, что делается вокруг. Было слышно, как в сарае мекает коза, в лозняке за рекой время от времени глухо, как ветер, воет волк.

Ефим нащупал возле двери землянки железный прут, взял его в руку и, отвернув лицо от ветра — последнее время даже слабый ветер вышибает из глаз слезу, — заспешил к сараю. Он слышал, как в морозном воздухе разлетается слабое эхо его шагов…

Такие ночные походы к сараю, где лошади и коза, у Ефима — каждую ночь. Вроде никто его к такому делу и не приставил, а он все равно считает, что это его обязанность — смотреть, как там и что… Если месячно и безветренно, Ефим, придя сюда, убедившись, что все, как и должно быть — лошади и коза на месте, долго всматривается вокруг. Как привидения, зловеще поблескивая, бросая тяжелые тени, возвышаются над засыпанными снегом пепелищами ночные трубы. Огромной, таинственной кажется темная полоса дамбы. Молчаливые дубы, будто чугунные, стоят возле нее…

Такие ночи, когда все можно различить вокруг, Ефим не любил. Он, возвратясь в землянку, не мог спать такими ночами. Его угнетало одиночество и ощущение того, что он совершенно бессилен в этом огромном, так и непознанном им мире…

Сейчас, подходя к сараю, Ефим неторопливо достает из кармана ключ, открывает замок. Рядом с ним скрипит протезом Николай: сегодня почему-то и ему не спится. Мысли какие-то тревожат или просто тянет посмотреть, как хозяйство, Ефим не спрашивает.

С улицы в сарай, шелестя остатками соломы по углам, влетает ветер. В стойле фыркают лошади.

Ефим закрывает дверь, нащупывает в кармане коробок спичек, зажигает старый фонарь. Слабый свет высвечивает кругляк у стены, хомуты, упряжь, подвешенные на гвоздях, сдвигает в углы тьму, из изгороди вытягиваются длинные лошадиные морды, по стенам скользят тени.

Ефим по деревянной жердяной лестнице поднимается на сеновал, там он берет сено, прижимая к себе, осторожно ощупывает ногами лестницу, спускается вниз, бросает корм лошадям, рассуждает:

— Весной будет легче. С дамбы сойдет снег, там раньше, чем где, появляется трава, смотришь, заживем. А сейчас, вишь, мох со стен повыскубали.

Николай слушает Ефима, соглашается с ним. Поговорив, они возвращаются к землянкам. Там они молча расходятся — каждый направляется к своей.

15

На исходе зимы Ефим, Николай и Михей, управившись с сеном, начали таскать из леса бревна, которые заготовили ранее.

Сосна была хорошая, не переспелая. «С*а*мо то, что надо на сруб», — говорил Ефим, когда мужчины по бревнышку, комлем, втягивали на сани.

Одни бревна, по длине хаты, резали на семь шагов, другие, по ширине, на пять. Такого размера, как задумали мужчины, должна быть хата: б*о*льшая Кате с одним ребенком пока и не нужна. Да и лошади, хотя и запряженные в парку, больше не потянут. Размышляли и так: потом уже, когда окрепнем, когда вернутся с войны мужики, когда хозяйство прочно на ноги станет да более-менее отстроится Гуда, к Катиной хате приладим трехстенок…

Стояли ясные безветренные дни с чистым голубым пологом неба, с солнцем, которое с каждым днем ходило по нему все выше и выше и к полудню становилось по-весеннему ярким.

Снег быстро посинел, затем покрылся серым цветом, будто посыпанный пеплом, стал ноздреватым, осел на дороге, и когда станешь на него на целине, под обувью уже выступает вода.

Сполз с деревьев иней. Они сбросили с себя черноту, убрались в коричневое, посветлели придорожные березки.

Днем уже хорошо пахло весной, свежим ветром, приносящим из леса запахи сосны и ели. А вот дубы все еще стояли черными, на их ветвях сухо трепетала не опавшая на зиму листва.

В деревне чувствовалась жизнь: лаяла, заливалась, почти не переставая, собака, мекала коза, ржали лошади, горлопанили чудом уцелевшие петухи, шумели Валик и Светка, женщины выходили к реке полоскать в прорубях белье.

Сползла постепенно и наледь с окон хаты Иосифа Кучинского. Иосиф, возвратившись из города, так и не осмелился выйти к людям. Он по-прежнему сторонился их. Если ему нужно было сходить к колодцу за водой или принести из-под навеса дрова, он сначала смотрел через окошко на улицу, нет ли там кого.

Иосиф жил прежней жизнью, понимая, что никто его не ждет, что никому он не нужен.

Утром видел Иосиф, как мужчины ехали за бревнами, разговорчивые, кажется, даже повеселевшие. Днями он слонялся по хате без дела, а ближе к вечеру вновь садился у окна, смотрел на дорогу. Сначала возле левого берега реки появлялась красная дуга, она то опускалась в низинку, то поднималась над ней, покачивалась равномерно, затем плыла над гребнем дамбы, а в том месте, где дамба огибала деревню, из-за насыпи показывались головы лоша-

дей. И вот уже наступал тот час, когда появлялись сани с бревном. За санями, подталкивая их, шли мужчины. Когда они проходили мимо Иосифовой хаты, он видел, что лица у них утомленные, обветренные.

Часто именно здесь, напротив его хаты, к саням подбегали Валик и Светка, рядом с ними прыгала, заходилась в радостном лае собака.

Потом, когда лошади направлялись к Катиному подворью, из землянки выходила хозяйка. Ступала она, как замечал Иосиф, осторожно. Было хорошо заметно, что женщина беременна.

Катя выносила деревянное небольшое ведрышко и кружку. Мужчины по очереди долго пили.

Иосиф с интересом смотрел на Катю. Живот у нее острый (а может, ему так казалось, попробуй рассмотри отсюда, да еще если он скрыт ватником), как был некогда у его жены, когда ходила беременная Стасом. Молода, как и Катя, была тогда его Мария. Это он, Иосиф, долго после Теклиной измены холостяковал, девчат и женщин сторонился, пока с ней не сошелся. Как знать, не она ли, Мария, его, бобыля, тогда выбрала. Может, родители посоветовали, а может, сама: есть в селе мужик ничейный… Вот и сложилось так, что Стас у него поздний, да и у Ефима сыновья поздние, считай, ровестники. Но давно уже нет Марии, и Теклюшки нет: раскулачили ее семью, сослали. Может, там, где-то на чужбине, убереглась она, а может, и нет — кто знает…

Сейчас, глядя на Катю, он думал, что у нее обязательно будет мальчик: старухи всегда определяли, кто должен родиться, — если острый живот, то мальчонка, если круглый — девочка.

Конечно, мальчик будет похож на Петра. А как же?

Думал Иосиф и о том, что когда-нибудь, если ему еще отпущено пожить на этом свете лет этак десяток, однажды пересекутся их дороги: сынишки Петра да Кати и его… Думал и почему-то не боялся того момента, а наоборот, успокаивал себя в ожидании, представляя эту встречу, ибо она будет очень нужна Иосифу. Он должен знать на остаток своих дней, кем ляжет в землю: отщепенцем, отцом предателя или человеком, который ни в чем не виноват перед людьми…

Мужчины, Ефим и Михей, скатывали бревно с саней. Николай, прихрамывая, топтался чуть в отдалении, чтобы не мешать.

А еще позже, через несколько дней, Иосиф видел, как мелькают, поблескивают отточенной сталью в руках мужчин топоры, как из-под острых лезвий летят по сторонам щепки.

Иосиф представлял, как там, на площадке, сейчас пахнет смолой и с каким желанием работают мужчины.

Тогда что-то щемяще-сладкое подступало к сердцу, кружило голову, казалось, руки начинали чувствовать топорище, его отполированную поверхность, тепло дерева. Рукам нужно было дело. Но…

Время шло. Мелькали дни, постепенно рос сруб, венец ложился на венец. С каждым днем все выше и выше ходило по небу солнце, все дальше и дальше отодвигался серый горизонт.

16

В начале апреля весна пробудилась по-настоящему. Весь март снег еще держался — ночи были холодными, и зима отступала неохотно. Вечерами хорошо подмораживало, случалось, мороз крепчал и покрывал льдом все, что успевало растаять за день. В апреле же как-то сразу все вокруг переменилось.

Солнце стало ласковым. Побежали к реке ручьи. Вокруг все поплыло. Ветер хотя и озорничал, но уже не нес того холода, который ранее колол лицо, руки. Зашевелились, словно пробудились ото сна, веточки сирени, доверчиво потянулись к солнцу. А вскоре прилетели скворцы и плыли несколько дней подряд по небесной синеве в демковские болота журавли.

А еще через некоторое время над Гудой закружил аист.

До начала войны у деревни на старом дубе возле дамбы было его гнездо. Аисты каждое лето ходили по лугу возле реки, выводили птенцов, учили их летать, чтобы осенью увести от здешних морозов в далекие теплые края, а весной привести назад, на эту землю, где родились.

Перед войной женщины, рвавшие щавель возле дуба, принесли весть, что аисты сбросили одного птенца.

В мире было неспокойно, и старики говорили, что это (выброшенный из гнезда птенец) плохая примета, хотя люди и без того жили в тревоге: если война идет по земле, она непременно докатится и сюда. Говорили шепотом, поглядывая по сторонам: за такие разговоры можно сгинуть где-нибудь в Сибири…

Жили здесь аисты и в войну. Казалось, она должна была обойти их, этих святых птиц. Но нет, когда горела Гуда, птицы всполошились, покинули свое гнездо, долго высоко кружили в небе над деревней, потом улетели… И сейчас никто не помнил, да и не знал, не видел, к тому времени птенцы уже умели летать или нет, и что с ними стало. Ефим тогда видел в задымленном небе только двух птиц…

Сейчас аист прилетел один. Может быть, он был из той п*а*ры, которая тогда жила здесь: прилетел посмотреть, что и как, чтобы потом привести подругу, ждавшую (так всем хотелось) где-то его. А может, это была иная, чужая, нездешняя птица, которая искала людей, чтобы поселиться рядом с ними: ведь аисты всегда ладили гнездо рядом с человеком. И сейчас люди хотели, чтобы эта птица вернулась к ним. Особенно хотелось этого детям: Валику и Свете. Они бегали по улице, махали руками, кричали:

— Аист, аист, лети сюда!.. Обойдет тебя беда…

Кто научил их этим немудреным словам, люди не знали, но глядя на детей, слушая, как они зовут аиста, улыбались. Это были редкие улыбки, непринужденные, греющие душу, пробуждающие в людях человеческое, освещающие огрубевшие лица.

Но как дети ни звали аиста, он так и не сел в старое гнездо (может быть, чужое для него), не махая крыльями, уплыл по голубому небу куда-то в сторону Забродья.

…Лошади, когда Ефим снял с них упряжь, поняли, что после тяжелой работы им дают волю, стригли ушами и, помахивая хвостами, зашлепали копытами по раскисшей дороге. Ефим вел их на пастбище.

Сегодня мужчины не возводили сруб, они будто спохватились, что скоро нужно будет ставить перекрытие, с утра съездили в лес за жердями. Намучились вдоволь. Местами кони шли сами — дорога раскисла — местами же мужчины подталкивали колеса, но все же привезли два воза жердей. Прикинули, что этого хватит на кровлю и еще останется. А что останется — не пропадет, деревню надо отстраивать.

А сруб они возвели хороший, уже до половины окон. Катя попросила, чтобы хата была без глухой стены. Чтобы в ней весь день было светло: как встало солнце, так и заглянуло в окошко, и в полдень там, и чтобы последний луч, как оно к закату скатится, в избе засыпал. И вот сейчас сруб желтел гладкой сосной, радовал глаз.

Сегодня впервые Ефим вел лошадей на весеннюю зелень. Вел на дамбу. Когда были в лесу, заметил, что местами уже хорошо зеленеет разнотравье, особенно там, где выше, суше.

Лошади вышли из зимы не сытыми, но и не доходягами: сумели сохранить их мужики, экономя, сена хватило до сегодняшнего дня, и еще немного осталось.

И вот первый раз лошади на пастбище, на воле… А воля коню, пусть и со слабым кормом, нужна!..

Отсюда, из деревни, было хорошо видно, как за мостом возле дамбы острые льдины режут берег, крошатся, ударяясь в камни, как пенится темная вода, затопившая с той стороны луг и подбирающаяся к демковскому лесу.

Вода на том берегу поглотила дороги: и сейчас к райцентру ни пройти ни проехать. И так будет почти до самого лета, пока река, нагулявшись вволю по дорогам, лугам, перелескам, устанет, успокоится, войдет в берега. И если бы не дамба, сейчас река гуляла бы по деревне, захлестнув землянки, затопив подворье Иосифа, и может быть, забралась бы и в хату. А вот до колхозного сарая, в котором стоят кони, вряд ли добежала бы: мужчины собрали его на погорке.

«Скажи ты, — размышлял сам с собой Ефим, — реке уже пора очиститься от льдин, а они все неизвестно откуда плывут и плывут. Да, большая нынче вода, для многих деревень, стоящих на реке, весна будет тяжелая, так что, спасибо военным, у нас дамба есть, нам легче…»

Солнце спускалось к горизонту, к гребню леса, но не демковского, откуда встает, а гридецкого, лежащего выше, на западе. Там бор. Настоящий. Там уже иные хозяева, не гуднянцы и забродцы, а гридецкие и стрижевские, да земленикские. Эти три деревни находятся в лесной глуши, далеко от Гуды, но близко одна от одной. Там уже чужой, иной район. Тамошний люд сюда редко наведывается, разве что случайно. Но и эти лесные деревни фашисты не пощадили, сожгли.

Ефим посмотрел на солнце. Сейчас оно не слепило, как утром, было хотя и красное, но будто потянуто синеватой пленкой. Зеленовато-розовое чистое небо подсказывало ему, что ночью возьмется морозец. Ко всему, деревья возле дамбы почернели, словно не было днем их коричневого свечения. Их густо облепили грачи, они беспрестанно кричали, заглушая все окрест. Дубы бросали на землю длинные тени, местами пересыпанные холодными блестками росы. Повевало холодком.

Ефим повел лошадей к дамбе. Остановился. Осмотрел все вокруг, прищурил глаза. Ему представилось лето, луга в разноцветьи, те луга у реки, куда он ведет лошадей в ночное, небольшой костерок на берегу, соловьиное пение…

Сколько за свою жизнь, работая в молодые годы на богатых, а потом, как остановился в Гуде, уже будучи сам себе хозяином, затем в колхозе водил он лошадей в ночное!.. И всегда у него было такое ощущение, будто душой прикасался к неразгаданной тайне вольности и бесконечности мира!.. В небе светится Млечный Путь, мерцают мириады звезд, иногда какая-нибудь сорвется да покатится золотым шариком по темному полотну, оставляя на нем огненную дугу… И фыркают лошади, время от времени стучат подковами о камни в траве… И шумит река, ее темная лента дрожит посреди желтой лунной дорожкой… Чарующе, неповторимо. В такие минуты, когда вдруг забываешь все былое, хорошо на душе. И жизнь кажется прекрасной, бесконечной, и ощущение такое, что ты сам вечный, как вечна земля… Но это так только на время.

Ефим спутал лошадей, погладил их по шеям, посмотрел, где суше, там травка хорошо взялась, уже колышется, дышит.

Лошади поскакали поближе к кустам, к реке — там трава повыше, гуще: туда так туда…

Ефим не спеша скрутил самокрутку, с наслаждением выкурил ее, посмотрел на грачей: кричат, наверное, что-то рассказывают друг другу, кто знает…

Он еще постоял немного, повернулся и пошел к деревне. Под ногами хрустел тоненький, словно паутинка, ледок, дорога подмерзала, и мокрые ноги в растоптанных сапогах начинали мерзнуть.

Отсюда, с дамбы, удерживающей в своей подкове кипящую, в обломках льдин, воду, Гуда была хорошо видна. На фоне темно-синего неба в рыжих потоках, чернея, отражались столбы печных труб, за ними — серые низкие насыпи землянок. Хата же Иосифа Кучинского горбилась на отшибе, ее окна уже не блестели, лучи скользили мимо них. В стороне от нее желтели бревна Катиного сруба.

Над землянками чуть поколыхивались тонкие, снизу сизые, а кверху золотистые ленты дыма. А вот из трубы Иосифовой хаты дым не шел.

«Смотри ты, — подумал Ефим, — как рано ложится спать. Может, днем что варит, когда мы делом заняты. Пусть варит, нам-то варить нечего, разве что вот-вот щавелек пойдет…»

…Вдруг Ефима что-то сильно толкнуло в спину, сорвало с головы шапку, покатило ее по дороге. В то же мгновение обожгло шею, перехватило дыхание, будто переломав Ефима посредине, бросило на землю, сдирая кожу с рук, потянуло по чему-то шершавому, как рашпиль.

А еще через мгновение он услышал взрыв. Перевернувшись лицом вверх, Ефим увидел в черной синеве комья земли, осколки деревьев, разорванные кусты, — все это медленно расползалось в вышине и, застыв там на минуту, устремилось на землю.

Воздух звенел…

Ефиму казалось, что в этом пронизывающем все тело звоне он слышит ржание лошадей: оно то наплывает, то уплывает, и эхо его теряется где-то далеко-далеко… Через какое-то время (минута, две, три… мгновенье?) звуки исчезли, и тяжелая тишина, волны горячего спрессованного воздуха обожгли его лицо, руки, горло, словно Ефима пригвоздили к холодной земле. И Ефим, щуря глаза от страха, все же нашел силы, приподнял голову, посмотрел туда, откуда все это…

Дамба…

Дамба исчезла. Исчезли лошади, деревья, грачи, и только дым развевался над вспененной, высокой, в человеческий рост волной, катившейся на него. Волна была еще далеко, и Ефим успел подумать, что здесь, у деревни, она ослабнет, осядет, расползется по сторонам, не успеет смять его, смыть.

Он, неимоверными усилиями преодолевая слабость и боль, оттолкнулся окровавленными руками от земли, встал, повернулся и посмотрел в сторону деревни. А оттуда, спотыкаясь, бежали к нему Николай и Михей. Вернее, бежал Михей, а позади, изрядно отставая от него, скакал на деревянной ноге Николай. И Ефим решил, что волна не осядет, не расползется, а наоборот, с каждым мгновением будет расти и накроет, унесет мужчин. Он замахал им руками, бросился навстречу, чтобы остановить их, уберечь от беды.

Он кричал, чтобы они бежали назад, подняли Катю, детишек, уводили их на погорок, к сараю. Ефим кричал и не слышал своего голоса. И когда волна возле деревни догнала его и сильно толкнула под колени — до мужчин было еще метров сто — он, устояв, повернулся к реке и, убедившись, что дамбы действительно нет, простонал:

— Кони!..

17

Иосиф уже дремал, как услышал глухой гул, а через мгновение его тряхнуло, будто в кровати отвалились ножки, зазвенели стекла в окнах, с потолка посыпалась пыль.

Ничего не понимая, он соскочил с постели. Вокруг все дрожало, было такое ощущение, будто где-то за деревней, у реки стреляют из множества орудий и эхо выстрелов катится по земле.

На улице что-то звучно падало в грязь, трещали жерди забора, слышались невнятные крики, жутко и глухо выла собака.

Через несколько минут гул утих, но на улице по-прежнему что-то трещало, рядом с его хатой послышались людские голоса. Иосиф бросился к окну. В это мгновение треснула оконная рама, разлетелось вдребезги стекло, лицо обожгли холодные брызги воды.

Иосиф с трудом удержался на ногах, отпрянул назад, ожидая, что сейчас вода захлестнет хату. Но холодная волна откатилась. Он увидел в полумраке, как она уносит раму, похожую на крест, увидел людей, убегающих от нее по направлению к сараю, стоящему на погорке на том конце деревни.

«Паводок!» — мелькнула мысль. В это мгновение он не подумал, что есть дамба, которая должна защитить деревню от паводка, но тут же ужаснулся, вспомнив, что еще никогда река так сильно не разливалась. Значит, дамба…

И тогда Иосиф, будто это происходило вчера, увидел, как на дамбе, покрытой поздним разноцветьем, ползают немцы. Значит, отступая, они ее заминировали. Он видел их на дамбе, видел один из гуднянцев, ибо мужчины, Катя, ее соседка и детишки находились в лесу, и ничего тогда не понял.

И как это никто не догадался, что дамба, эта земляная насыпь, заминирована? Зачем? Это же не мост, да и деревни, если уж так, нет: разве что его хата да несколько землянок.

Иосиф почувствовал, что стоит в воде и что ноги обжигает холод. «Хлеб!» — мелькнуло в его голове. Иосиф инстинктивно бросился в сени. Увидел, что фанерные двери в кладовую сорваны с одной петли и, перекосившись, висят на другой. Он вошел в кладовую. Там тоже плескалась вода, доходила почти до колена. Иосиф глянул на тяжелую полку у стены, приделанную на высоте чуть выше колен. Мешок зерна лежал там, на месте. Он поднял его, сделал шаг к высоким, в пояс, жерновам, с огромным усилием поставил зерно на них. Затем, вытирая пот со лба, облегченно вздохнул: «Успел».

Иосиф знал (так всегда было ранее), что через день-другой паводок загонит его на чердак. Он станет там жить, перетянув туда постельное тряпье, нехитрые съестные запасы и, естественно, это зерно. Потом он будет днями сидеть на пологом покрытии сеней, наблюдать за тем, что делается вокруг, ждать, когда вода начнет убывать. А уходить она начнет постепенно. Сначала отступит от стены сарая, надолго оставив на ней свою темную отметину — ровную полосу, словно проведенную огромной кистью. Потом отступит от навеса, опустив на землю наверняка поднятую сейчас там лодку, надежно привязанную, затем уйдет со двора, унеся с собой мусор, доски, дрова, если, конечно, их не прибрать с осени повыше в поленницу. И наконец, вычистит подножья куста сирени от прошлогодней листвы и прочего хлама, войдет в луга, чтобы, побродив там, поколобродив, вернуться в речное русло. Тогда сейчас близкий горизонт отодвинется дальше, за лес, все вокруг вспыхнет мягкой зеленью, засияют слепящей пушистой желтизной приречные вербы. Небо тоже, как и земля, изменит свой цвет: голубизна его, сейчас вязкая, словно затвердеет, поднимется выше.

Все это произойдет не сразу, но ты все равно каждый день будешь замечать изменения, происходящие в природе, радоваться им. Ты увидишь, как постепенно возвращается к прежней жизни деревня. Будешь переговариваться с соседями, тоже сидящими на крышах сеней, и время от времени станешь, спускаясь вниз, садиться в лодку. Ты всегда весной привязываешь ее на длинной цепи к балке покрытия сеней (это сейчас она под навесом), вода поднимает твой корабль и, отвязав, начнешь плавать по деревне от дома к дому — мало ли кому нужно чем-то помочь, что-то подсказать: ты же здесь, если не считать Ефима, самый пожилой человек и довольно опытный в житейских делах.

Ты будешь помогать сельчанам, а они — тебе, и у вас найдется много общих самых разных забот, дел, и вы сблизитесь на все это время, как, впрочем, происходило всегда в такие времена, когда одна общая беда одинаково касалась всех…

Да, это было — из иных времен жизни деревни, не таких, как сейчас. И если нынче обо всем этом думаешь как о том, что так и будет, — то зря. Тогда, когда все так и случалось, в Гуде жило много разных семей. И людей тогда здесь много жило «от мала до велика». Грудничнки, школьники, женихи, невесты, родители, бабушки, дедушки…

В то время, кажется, люди терпимее и добрее относились друг к другу. Сейчас нет деревни как таковой. Нет многих и многих людей, а терпимость и доброта тех, кто остался в живых, унесло пламя — следа не отыскать, эха не услышать… И новый паводок уже не сблизит его с этими гуднянцами. Между ними и Иосифом — дамба. И не такая, как была эта, которую можно разрушить, изничтожить, вновь возвести, а нерукотворная, неподвластная никакой силе, а только теплу или холоду людских сердец…

Иосиф сейчас боялся (раньше такого страха он не ощущал), что паводок загонит его на чердак. А там ты перед людьми, собравшимися на сарае на том конце деревни, — как на ладони, как бельмо в глазу. Он знал, понимал, что именно там, в колхозном сарае, стоящем на погорке, его односельчане и будут пережидать ненастье.

Сейчас Иосиф отошел от своеобразного шока, вызванного неожиданностью. Как следует поразмыслив, определив, что вода прибывает уже не так стремительно — простор ей большой: от леса до леса, — он немного успокоился. Да и успел сделать самое главное: зерно спас.

Отдышавшись, Иосиф осмотрелся. Увидел лесенку у стены, приставленную к потолку, к лазу в потолке. Этот лаз перед войной он заколотил досками накрест.

Когда-то, до того как насыпали дамбу, лаз был нужен, а как появилась дамба — нет. И заколотил он его не только за ненадобностью, но еще и потому, что иногда думал: вот отлучусь из дома, кто-то через крышу заберется в хату. Впрочем, о том, что в твое жилье может забраться чужой, раньше не думалось, но незадолго до войны, когда военные проводили здесь маневры, вдруг пошли разные разговоры о каких-то нарушителях, шпионах, диверсантах…

Иосиф в темноте нашел топор на лавке, стал на лесенку, оторвал доски, отбросил лаз. Потом босыми ногами, не обращая внимания на холод, захлюпал в хату. Там в печурке нащупал коробок спичек — драгоценность неимоверную. Там же находился и полотняный мешочек с кремнем. Это добро всегда лежало у него там на случай, если спички отсыреют. Затем взял свечу под образами, зажег ее.

Желтый язычок слабого пламени всколыхнул вокруг тьму, потом, набравшись силы, отбросил ее по углам, толкал ее туда, задрожал на воде.

В первую минуту Иосиф почти с облегчением вздохнул, увидев, как по хате, словно живая, задвигалась его тень. Но вскоре опешил: тень будто влипла в рамку с фотографиями, что висела на стене, найдя себе место рядом с Марииным изображением, с пятном, где когда-то был Стас.

В то же мгновение Иосиф услышал, как затрещала свеча, язычок ее пламени затрепетал, будто на ветру, и казалось, еще мгновение — она погаснет.

Иосифа охватил ужас: он вспомнил, как еще в его далеком детстве старухи говорили, если заженная свеча трещит, а пламя в безветрие мечется по сторонам, значит, вокруг то, что не видно человеческому взгляду. И оно — нечистое…

Он понял, что это за «нечистое». Уяснил, откуда оно. Понял, кто носил его в себе. Ужаснулся: оно все время окружало его, Иосифа, шло рядом с ним много лет, угнетало, звало к себе. Он подсознательно пытался уйти от этой чертовщины, да тщетно. И вот сейчас…

Иосиф перекрестился, повернулся, намереваясь выйти из хаты, но в стену ударила новая волна. Стена задрожала, с нее сорвалась, упала в воду рамка с фотографиями. С минуту она держалась на поверхности, потом в мгновение исчезла в темной воде, глухо ударилась о пол.

«Ну вот, Мария, тебя уже совсем нет, — слабо прошептал он. — Эх, как нас жизнь скрутила… А любил же я другую. И ты любила другого. И жизни наши могли иначе сложиться, в радость: и твоя, и моя. Только, что ни говори, уже ничего не изменить, не исправить, разве что в мыслях…»

Текля… Долго он присматривался к ней. Ее образ сжигал его, следовал за ним неотступно всегда и везде, пленил.

Большие васильковые глаза, длинные, ниже пояса, косы, гибкий стан… И если, случалось, глаза их встречались — сердце у Иосифа замирало.

До последнего вздоха не забудет, как осмелился подойти к ней, как в Демках вместе с Ефимом косили Бонафацию Юхновцу. Тогда Текля вместе с женщинами подсобляла старому Юхновцу управляться по хозяйству.

— Ты чего это меня сторонишься? Кусаюсь, что ли? — спросила она тогда.

— А я и не сторонюсь, — сгорая от непонятного чувства, сказал он. — Работы много, некогда присматриваться.

Он помолчал, потом осмелел:

— Давай вечером погуляем.

— Давай, — согласилась она.

А вскоре люди начали говорить, что они «любятся». Хорошо говорили, предвидя осеннюю свадьбу: тогда в деревне женились, управившись с работами. Да, видимо, сглазили.

Как-то жито жали. Бабы слух пустили: в снопах в срамном виде невзначай заспели Теклюшку и Бонафациевого Авдея. Бросился Иосиф к Авдею, а тот осадил его: «Убью, не трожь. Сейчас она моя, на ней мой знак оставлен…»

Так и разошлись их с Теклей пути-дороги. Правда, однажды вновь переплелись, и, наверное, Иосиф имел возможность стать счастливым, соединиться с Теклей, но…

…Гладкие, сытые кони Авдея Юхновца под звон бубенцов несли свадьбу из Демков в Дубосну, в церковь, венчать молодых. Из-под копыт разлетались комья мокрого снега. Слышалось: «Гони! Гони!..» Иосиф и еще трое гуднянцев, его одногодков (их нет уже в живых, сгинули в войну) по обычаю как раз у реки перегородили свадьбе дорогу жердями — как говорили в деревне, «бросили зайца». (Парни хотели получить водку, Иосиф же согласился идти с ними по известной причине — Теклю напоследок увидеть.)

Дорога спускалась с погорка, вдоль небольшого ельника, и как раз у моста сани разгонялись. Вот здесь и вздыбились кони, заржали: возницы осадили их.

Из переднего возка вылетел Авдей, словно столб, протянулся по снегу, заорал как резаный:

— Бей голытьбу!.. Вишь, Авдеевой водки захотелось!..

Повыскакивали из саней Авдеевы дружбаки, били гуднянцев и Иосифа как только могли: ногами, руками, нагайками, потом окровавленных бросили на снегу.

А Иосифу тогда (почудилось или это было на самом деле) послышался ее голос:

— Что же они с тобой сделали, изверги?..

И еще Авдеев:

— Назад, сука!.. Обоих порешу!..

Наверное, почудилось. Еще бы: Текля вытирает его окровавленное лицо белым платочком да шепчет: «Слово молви, с тобой останусь. Нелюб он мне, силой тогда в снопы утащил…»

Не сказал тогда слова Иосиф, то ли избитый не мог его молвить, то ли обида жгла.

Ушла Текля. Авдей все же «смилостивился» над избитыми в горькое яблоко парнями — бросил им водки…

А еще говорили потом, что прежде чем парни перегородили дорогу, Иосиф поперек нее лег… Нет, не помнит он такого…

А если и случилось все так, как говорили, то сам виноват, что не сказал тогда Текле того единственного слова, которое должен был сказать, чтобы по-иному пошла его жизнь. Не сделал одного-единственного шага, который мог изменить его судьбу. Как, впрочем, и потом много уже раз в иных обстоятельствах не смог сказать, сделать того, что следовало сказать, сделать, чтобы жить по-иному — радостно и счастливо. Значит, судьба его такова, неподвластна она ему: не мог, не может он ее изменить.

Значит, всю жизнь окружали и окружают его не те силы, как иных людей, не тем путем он шел, каким надо было идти. Вот и сейчас свеча трещит, как бы подтверждая это. Так что уже ничего не изменишь, если до сих пор не смог изменить. Да и надо ли?

Остановившись на этой мысли, Иосиф понял, что жалеет себя. Он сожалеет, что его жизнь не получилась, что он многим обделен судьбой неизвестно почему и за что. Он вроде и пытался что-то изменить в ней, но не получалось: то ли нерешительно это делал, то ли боялся, что перемены ни к чему лучшему не приведут. А может, потому, что все время и везде — один, ожидая от кого-то понимания и сочувствия, и при этом все больше и больше жалел себя…

Так вот почему, стремясь к людям, он так и не пришел к ним!.. Жалость к себе мешала, обиду на них таил, дескать, не хотите понять, как мне тяжело одному со своим горем. Не разумел, что у других горе еще похлеще твоего, что иным горше, чем тебе. Вот и сбились они, «другие», сейчас маленькой горсточкой на чердаке сарая, ждут, а что дальше. А что дальше — одному Богу известно, ведь помощи им ждать неоткуда, да и кто поможет, если одни они на целом свете. Впрочем, одни-то одни, но вместе, а вот он один как перст, и быть ему одному до последнего часа своего. А час тот, наверное, не так уж и далек: прикинь по годам, жизнь-то, выходит, прожита. Но как, с кем?.. С людьми ли?..

Если подумать, он все время уходил от них, сторонился их. Жил, вроде стесняясь людей. Ведь они, счастливые и беззаботные, а он… И стыдно ему,

что он не такой, что Теклюшку позволил увести, что Марию, молодую, пожилой взял неизвестно почему, что родители ее нелюдьми слыли, что Стас таким уродился, что никогда он, Иосиф, не поступил так, как надобно было именно ему, а не кому-то иному.

Стыдясь, уходил прочь от людей. А может, все это время он уходил от самого себя?..

Иосифу от этой мысли стало совсем плохо, но он уже не мог остановиться, она вытаскивала другие, требовала обоснования, заставляла до конца понять свое душевное состояние.

Да, он никогда не думал, что от себя нельзя убежать. Выходит, он должен страдать, и, наверное, как когда-то в старину говорили набожные люди, ссылаясь на Библию, страдания облегчают душу. Но он в Бога давно не верит и, наверное, никогда не верил. Ефим говорил как-то: «Среди людей живем, перед ними и ответ держать будем…» Правду говорил… Среди людей… только, опять же, среди них ли жизнь его протекла? Нет, вдали от них. Скользнула в стороне, случалось, иной раз выходила к людям, как к свету, а свет тот обжигал его, и вновь Иосиф уходил в сторону, в тень. А там, в стороне, в тени, в одиночестве, он почему-то ощущал себя легче и спокойнее. Во всяком случае, раньше ему так казалось…

И вот сейчас Иосиф должен прийти к ним, к людям.

На дворе уже совсем стемнело. Через проем окна в хату врывался колючий холодный ветер. В темном небе слабо мерцали звезды. Их отражение покачивалось на черной воде. От его хаты туда, где сарай, где люди, бежала, ломаясь, желтая лунная дорожка.

18

…Когда мужчины прибежали к Ефиму, а он к ним, вода уже доходила выше колен. Николай и Михей подхватили старика под руки, боясь, что он упадет. Ефим же, отдышавшись, обессиленно молвил:

— Лошадей погубил…

— Не ты, война, — сказал Николай. — Заминировали, сволочи, дамбу, а мы и не подумали об этом. Никто не подумал, что может произойти такое, не проверил. Мост проверили, на том и купились. Так что, дядя Ефим, не убивайся, не вини себя. Твоей вины в этом нет. Кто же мог подумать, что наша деревня даже одной избой немцу страшна?.. Успокойся да подумай о том, что могло случиться, если бы детишки с тобой лошадей погнали.

— Я — ничего. Я один…

Ефим не договорил, умолк.

— Пошли, — сказал Михей. — Нужно спешить. Вода прибывает, видимо, размывает дамбу, смотри, к утру вся сюда хлынет. Все затопит вокруг, сметет. А у нас — ни лодчонки. Разве что у него, — Михей кивнул в сторону Иосифовой хаты, — да и то, если не снесло ее: видел, стояла под навесом.

— К сараю идем, — сказал Николай, — там соберемся, решим, что делать дальше. Да и женщины с детишками как раз там находились, когда рвануло, управлялись с козой, стойла чистили.

— Ну слава Богу, — перекрестился Ефим.

Поддерживая друг друга, они, втроем, двинулись к сараю на погорке, возле которого стояли, прижавшись друг к другу, две женщины и двое детишек.

Мужчины шли, а вода все прибывала: она толкала их под колени, обжигала холодом.

Когда подошли к женщинам и детишкам, Ефима поразило, да и Николая с Михеем тоже, что никто не кричал, не голосил, не метался, не зная, что делать, — все, молча ожидая, смотрели на них.

— Вижу, все здесь, — сказал Николай.

— Все-то все, только дяди Иосифа нет, — вздохнула Катя.

— Иосифа? — словно переспросил у нее Ефим. — У него же есть где паводок переждать, о нем ты не очень печалься. У него — лодка под навесом. А наши на берегу. Снесло их, не иначе.

Ефим, сказав это, заметил, как Катя неожиданно вздрогнула, инстинктивно приложила руки к животу. Ефим дернулся к ней, чтобы поддержать ее, но Катя сказала:

— Не волнуйтесь, все идет как надо. Знать, уже недолго одной мне быть.

Старик все понял, как приказал:

— Ты вот что, Катерина, — если испугалась, руками живот не трожь: там же дитя. Помню, в старину люди знающие сказывали, что женщина в положении, коль видит беду аль страшно ей отчего, не должна руками хвататься за тело.

— Это почему?

— Чтобы знака на ребенке не было: от собаки — клок шерсти на тельце, от огня — опалины, и вообще чтобы потом в жизни ничего не боялся.

— Брехня все это, дядя Ефим, забабоны, — сказал Николай.

— А ты не лезь не в свое! — прикрикнул на него Ефим. — Пусть и брехня. Она что, тебе или ей мешает?

— Да нет, дядя Ефим, — слабо улыбнулась Катя, — не испугалась я, с радостью дотронулась, чувствую, светло уже.

— Ну и хорошо, — сказал Ефим. — В сарай давай, на чердак. Мы как предчувствовали, что паводок будет, знали, где сарай ставить. Не дойдет сюда вода, вот увидите.

Ефим вошел в сарай, взял фонарь, висевший на стене у входа, зажег его. Здесь было сухо.

— Вы вот что, мужики, — сказал он, обращаясь к Николаю, Михею и Валику, — оставайтесь здесь. А женщины — наверх. Там еще сено есть, разметайте, чтобы лежать можно было.

Он видел, как от боли дернулась Катя, как перекосилось, покраснело ее лицо.

19

Ближе к полуночи Иосиф решился покинуть хату. Все это время она будто удерживала его какой-то неведомой, неодолимой силой, словно понимала, что он собирается оставить ее навсегда. Странно, но когда уходил в город, такого ощущения у него не было, хотя покидал ее тоже с тяжелым сердцем.

Он сидел на кровати в глубоком раздумье, опустив ноги в сапогах в воду, которая уже доходила почти до колен, и не мог уяснить, что же его здесь так держит.

На столе, по-прежнему потрескивая, слабо мерцала свеча, но уже не первая и не вторая, а третья. Ее отблески чуть метались на темной, казалось, густой, как деготь, воде. И все это время Иосифу мерещилось, что рядом с ним в хате Мария и Стас. Он их не видит, но чувствует бестелесных. Они то совсем рядом с ним, то выходят на свет свечи, и тогда она трещит, а потом, коснувшись его, света, отдаляются в угол, в какой-то бессильной злобе мечутся там, превращаясь в бесформенные тени. Потом, пометавшись, будто сговорившись о чем-то, вновь подплывают к нему, стараясь то ли обвить его,

то ли просто дотронуться, обжечь и отскочить. Тогда, кажется, свеча особенно потрескивает и язычок ее пламени безо всякой причины (ветра же нет) начинает неистово колебаться, шарахаться из стороны в сторону, того и гляди погаснет. Но почему-то не гаснет, а поколебавшись, поплясав по сторонам, выравнивается, какое-то время горит ровно, хотя по-прежнему трещит, будто на самом деле в хате какая-то чертовщина.

Страха Иосиф не чувствует, но все же холодок внутри есть. Неприятный, чуждый ему, противный.

Впрочем, этот холодок гложет его с вечера. А за это время он успел многое сделать: пригнал от навеса лодку, привязал ее к крыльцу. Лодка хорошая, как следует просмоленная, на ней плыть да плыть, если кому надо. Собрал рюкзак харчей: четыре банки тушенки, хороший брус сала (килограмма три), пшена с полведра, десяток картофелин, фунта два соли — с этим богатством нигде не пропадешь. Оно его мозолями, потом заработанное.

Положил рюкзак в лодку, на полку на носу, чтобы не промок. Туда же, в лодку, только на поперечное сиденье посередине, положил мешок зерна, ржи. Это особый скарб. Хочешь — мели на жерновах, потом хлеб пеки, хочешь — сей.

Дорого оно досталось Иосифу. Нет, дорого не потому, что отдал за него золотой червонец царской чеканки, а что боялся, как бы по дороге домой продавец, а он ему зерно на телеге вез, не прихлопнул где-нибудь среди леса да в снег не зарыл.

Продавец тот или меняла был немного знаком Иосифу — мужик из Забродья, некто Михаил Калистратов. Еще до войны он славился тем, что любого мог отметелить, коли что, кажется, за какую-то провинность даже успел посидеть год-два в тюрьме.

В войну вроде смирный был, хотя ходили слухи, что не ссорился ни с немцами, ни с партизанами: и тем, и другим делал колеса, сани. А тут встретил его Иосиф на базаре. Оба обрадовались: считай, земляки, на чужбине. Чуть ли не в объятия бросились друг другу. Михаил с расспросами, дескать, ты чего здесь, дядя Иосиф? А Иосиф рад стараться, мол, работаю на станции, вот на рынок захаживаю, иной раз что и выменяю. «А ты?» — «Я? Вот, пару мешков хлебушка привез, излишек. Сам сеял, сам убрал. Может, возьмешь?» — «А почему бы и нет, если сторгуемся?» А Михаил: «Что дать можешь?» — «Что, что, — почесал затылок Иосиф, — колец нет, цепочек тоже, кожух, что ли?» — «В кожухе сам ходи. Может, иное какое золотишко имеется? Твой же тесть богачом слыл. Неужто тебе ничего не перепало от него? Или от сынка твоего? Люди сказывали, на людском горе он руки хорошо нагрел!»

Обидело это Иосифа, оскорбило: тестем, Стасом упрекает. Нет, не поимел он от них ничего. И если бы давали, от тестя ничего не взял бы, а от сына — даже перекрестился бы. А вот свой золотой червонец у Иосифа с молодых годов имелся: долго на него он бумажные деньги зарабатывал, чтобы на них выменять здесь же, в городе. И сейчас, разозлившись, как мальчишка, выпалил: «Зачем же тестево или сыново? У меня свой блестящий червончик есть». — «Ну, тогда сговорились, — сказал Михаил. — Я тебе мешок подвезу. Куда?»

Иосиф, все еще находясь в непонятном состоянии, сказал тогда: «В Гуду. Денежка там у меня припрятана». — «В Гуду так в Гуду, вдвоем веселее, да и смелее ехать: вечер скоро, а дорога неблизкая, да и лес…»

В Гуду приехали уже ночью. Лошадь у Михаила была сытая, как не с войны, быстрая. Может, из тех колхозных, что разбежались, когда в начале войны Ефим в район гнал. Сейчас поди спроси у Михаила — так он тебе и скажет.

Михаил, пока ехали, несколько раз спрашивал, не при нем ли, Иосифе, червонец, а он всякий раз твердил, что дома. При этом думал: был бы при

мне, точно пристукнул бы меня землячок, и рука не дрогнула б. Или пристрелил: обрез-то у него имеется. Это Иосиф увидел сразу, как за город выехали, когда дорога пошла лесом. Тогда Михаил пошарил рукой под сеном, достал ствол, положил рядом с собой, под правую руку, пояснил Иосифу: «Лес, дядя, темно, мало ли что. А ты — не боись ничего, коли со мной».

Дома при Михаиле, при слабом свете свечи Иосиф достал из-под печи, отодвинув кирпич, завернутую в тряпицу золотую монету, подал ему: «Смолоду берег, Миша, а ты говоришь, тесть богатый был, сын…»

Отдал и чуть удержался, чтобы не заплакать: когда-то рассчитывал, что на свадьбу с Теклюшкой использует, а оно вон как все обернулось…

Михаил взял монету, сказал, вроде сочувствуя: «Ну и дурак ты, дядя Иосиф. Жизнь прожил, сидя на одной монете. А мог бы…»

Иосиф не переспрашивал, что мог бы: зачем?.. Услышал, как почему-то затрещала свеча. Подумал, наверное, отсырели свечи, лежали не в печурке, а в ящике стола, решил, что их надо подсушить, сказал Михаилу, чтобы распрягал лошадь, ставил в сарай — ночь на дворе. Тот отказался: «За меня, дядя, не боись, через час дома буду. Ночь звездная, я — через реку напрямую, путь хорошо известен…»

«Хорошо, когда путь известен», — подумал Иосиф. Если вспомнить людей, среди которых он жил всю свою жизнь, так получается, что большинство из них, как он понимает, знает, как жить, как поступать в той или иной ситуации. Ишь ты, путь известен… Поэтому и жили многие, наперед зная, что и как делать, все предвидя. Но вот только одного не предвидели — войну. Да что и как в ней происходит. А он, белая ворона, никогда ничего наперед не предвидел. И вот сейчас, спустив на воду лодку, погрузив в нее харчи и мешок зерна, он не знает, что делать дальше. Да, думал раньше, что уйдет от людей в лес, в одиночестве доживет старость, впрочем, не представляя толком, как…

Вот сейчас он один в хате, им же самим поставленной. А хаты, конечно же, ставят для счастья. Только не принесла ему счастья его хата. И сейчас, на склоне лет, когда, как говорят, день — век, хата эта не приносит обычного человеческого покоя. Наоборот, выталкивает, выдавливает его из себя. Нет, не паводком. Паводка Иосиф не боится, а вот этими то ли призраками, то ли тенями Марии, Стаса, и вот уже кажется, тех немцев, которые вместе со Стасом пили здесь, как сожгли деревню… И уже которая свеча трещит у иконы. Так неужели в этой хате столько черной злой силы, что ничто не может изгнать ее отсюда?..

Иосиф резко поднялся, подошел к столу, взял в правую руку свечу, ступил шаг к иконе, снял ее с покута, дрожащими руками завернул в полотенце, засунул под рубашку, тихо молвил: «Господи, если ты есть — прости за все грешное в моей жизни. И если моя хата никому не нужна, то зачем она мне?..»

20

Ближе к полуночи, когда дети уже спали в сарае на полатях, сделанных Михеем из жердей, а Катя на чердаке тихо стонала, мужчины услышали с улицы разорванный ветром голос:

— Люди!.. Люди!..

Ефим поднялся с колоды, на которой сидел, приоткрыл дверь и, посматривая в темноту, крикнул:

— Кого это прибило к нам в такую пору?..

— Фонарь возьми, фонарь. Посвети, дядя Ефим, — сказал Николай, подавая ему фонарь.

Ефим взял фонарь, вышел из сарая, заметил, что вода сюда так и не дошла, обрадовался, прокричал в темноту:

— Кто там?

— Люди… — слабый голос и шлепки весел по воде слышались уже недалеко.

Сначала, когда Ефим услышал этот голос, он удивился, подумав: «Кого занесло сюда такою порой и откуда? Дамбы уже нет, нет и моста, и единственная дорога, соединяющая деревню с миром, отрезана водой. Значит, никто чужой не мог сюда прибиться. А может, это ему кажется? Может, он еще не пришел в себя после взрыва?»

— Люди, — голос уже хрипел.

Нет, не кажется… Ефим понял, кто ищет возле них или у них спасения — Иосиф, — и мстительная злоба начинала закипать в душе: у него еще хватает совести…

Впрочем, сейчас в душе боролись два чувства. Одно — отправить того, кто пришел, прочь. Так и сказать ему: «Уходи, дьявол, чтобы во веки веков люди не видели и не слышали тебя…» Другое — снизойти, впустить к себе. Ведь не от добра он плывет сюда. Видимо, многое передумал Иосиф, прежде чем решиться прийти к людям, переборол страх перед ними. А зачем идет, на что надеется? Идет за помилованием? Надеется на сочувствие?

Как быть сейчас Ефиму? Отозваться на зов, впустить в строение, дать пристанище? А как к этому отнесутся мужчины, женщины, детишки?..

Было раньше, как-то сельчане даже пытались сочувствовать Иосифу. Но никто никогда и в мыслях не держал такого — простить, оправдать.

Много зла видел Ефим за свою жизнь. И людей злых повидал немало. Знает, человек от зла слепнет. Он перестает быть человеком и жаждет только одного — зла. А со злом среди людей нельзя жить… Самому сейчас не ослепнуть бы от злобы.

— Сюда, греби на меня! — вдруг закричал Ефим и приподнял фонарь.

Торопливые шлепки весел послышались уже рядом.

— Это ты, Иосиф?

— Я, я, Ефимка.

— Откуда?

— Из дома… — голос слабел, то ли от усталости, то ли от обиды.

— Из дома, говоришь. Ну, ну…

Ефим почувствовал, как чувство жалости сменяется неприятием того, кто сейчас буквально в каких-то пяти шагах от него. И вот уже лодка воткнулась носом в землю, остановилась. Ефиму захотелось заорать так, чтобы весь мир услышал и чтобы от его крика тот, кто в лодке, окаменел навеки: «Прибыл!.. А где же ты раньше был, когда с нами всеми творилось такое, что…»

Но он не закричал, еле сдержался. Долго молчал. Нависла тяжелая, гнетущая тишина. И неизвестно, как долго она властвовала бы, если бы ее не нарушил голос Николая, появившегося у двери сарая:

— Затворяйте дверь, незачем мерзнуть.

— Люди, — вновь прохрипел голос из лодки. — Зерно у меня здесь, хлеб.. А хата еще теплая… Как вы здесь?.. Детишки же…

— Здесь они, здесь, а как же? — будто сам себе сказал Николай. — И Катя здесь. Рожает. У тебя в хате — вода, здесь — сухо. Паводок не дойдет к нам, не дойдет. Здесь его переживем.

— Дверь, дверь закройте! — крикнул Михей из сарая. — Сквозит!

Николай захлопнул дверь. С той стороны. Ефим стоял в раздумье, как быть… Тем временем накатилась волна, толкнула лодку к сараю.

Вместо эпилога

Той ночью среди огромного разлива воды долго пылала Иосифова хата. Люди, собравшись вместе на сухом пятачке у сарая, давшего им пристанище, видели, как ветер рвал в клочья желтое пламя, словно старался сбить его со строения, погасить, но тщетно.

Они наблюдали за тем, как горит хата, в отблесках огня на воде искали глазами того, кто еще недавно прильнул к ним, но так и не находили. Возле них качалась на слабой волне лодка с рюкзаком на носу и большим мешком на поперечном сидении. Нигде не обнаружили они его и потом, когда все кануло в прошлое: сгорела хата, ушел паводок, наступила весна, расцвело лето, легла зима…

Никто не знал, что стало с Иосифом: куда он исчез, сам ли поджег хату или кто иной, и вообще как все это произошло.

Но однажды Петрова Катя, будучи в городе на базаре с маленьким Петькой (приехали покупать ему к школе одежонку — шел в первый класс, в Забродье работала школа, а Гуда все еще отстраивалась) увидела старика, похожего на Иосифа.

Он стоял у входа на базар, худой, сгорбленный, с седой бородой, и, опираясь левой рукой на палку, вытянув правую, молча просил подаяния.

Катя бросилась к старику, закричала: «Дядя Иосиф, это ты, ты?..», но старик хриплым чужим голосом остановил ее: «Обозналась, гражданочка… Не кричи так, мальчонку испугаешь…»

Катя отпрянула, повернулась к сынишке, стоявшему рядом, он действительно испугался, готовый вот-вот расплакаться, подхватила его на руки, обняла, начала целовать в загоревшие щеки, успокаивать: «Не бойся, это дедушка Иосиф из нашей деревни, мы его сейчас…» Она не договорила, что сейчас, повернулась к старику, но того уже на месте не было.

Кате вспомнилась ночь, когда она рожала Петьку, отблески пожара, и с каким усилием она сдерживала тогда себя, чтобы, изнемогая от боли, в горячке не схватиться руками за что-нибудь на своем теле, не оставить знак на ребенке. Смогла удержать себя тогда, нет на Петьке никакого плохого знака. Тогда, в муках рожая, она даже не заплакала.

Катя заплакала сейчас.

Перевод с белорусского автора.





Впервые в «Нёмане»

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ

Мир песчинки

Горжусь

Я знаю все.
Про чудеса.
Я занимался. Я спешил.
Я чуть не выронил глаза,
Мозги вкрутую не сварил.

Зато сейчас —
ко цвету лет —
Я знаю все!
Про чудеса.
О-млет, что подан на обед, —
Так он из птичьего яйца.

Тропа

Тропой нечаянных шагов
Мы к месту встречи подошли.
Звучаньем не звучавших слов
С тобой беседу повели.
Но был суров, как приговор,
Ее фатальный результат:
Я — отвести не в силах взор,
А ты — не в силах удержать.
И не чинит тебе вреда
Прямого взгляда острие,
А твой, потупленный всегда,
Мне ранит сердце, как копье.

Другу

Тот, уже опавший клен
Ни о чем меня не спросит,
Знает сам, что я влюблен
Безнадежно — пчелкой в осень.

Он не скажет ничего,
Не ответит мне словами,
Лишь взмахнет своей рукой
С редкой шири пятернями.

И отдав последний лист,
Шлет его ко мне навстречу.
Я ловлю его за кисть,
Сложной радостью отмечен.

Миг, и тонкий лист, хрустя,
Распадается на части —
Нет его, но знаю я —
Нас разнять никто не властен.

* * *

Выдохся февраль
                    и потеплело.
А душа оттаяла легко,
И с коленок пухлых
                    белой в белом
Девочка-зима глядит в окно.

Тихо сев на корточки, сложилась
Слоечкой, коленки обвела,
Ушко на запястье прютила
И, вздохнув глубоко, замерла.

Выйду за порог, и свет пушистый
Ищет, как в лицо поцеловать,
И немея в радости, не быстро,
Медленно молчу его слова.

Признание

Не сказать не смогу,
А сказать не сумею.
До чего ж я люблю
Эту Божью затею.

Бесконечный простор,
Я — песчинка в тебе,
Руки в мир распростер —
Мне, песчинке, все — мне!



ЛОРА МУН

Дорогой!

Рассказ

Вначале Он мне не понравился — несмотря на неоспоримые достоинства. Был Он элегантен и черен, а меня всегда заводили брюнеты и вороные лошади. Однако вызывающе лиловый галстук чем-то раздражал, посему я почти прошла было мимо, мазнув рассеянным взглядом по стройному силуэту. Но, уже покидая секцию, явственно услышала за спиной: «Салют, крошка! А быть может, это судьба?»

Я быстро оглянулась на продавщиц: те, похоже, ничего не заметили, поглощенные созерцанием пространства впереди себя.

«Ну что, детка, ты решилась?» — в голосе звучала снисходительность, а я этого очень не люблю.

Я развернулась и посмотрела на Него в упор. Он спокойно выдержал взгляд и казался настолько уверенным в себе, что я невольно смутилась.

Вообще-то я всегда сама принимаю решения, но вдруг поняла, что *этот* выбор не очень-то от меня зависит.

— Можно этот костюмчик?

Одна из продавщиц отлепилась от стены, вяло выходя из транса.

— Вы в курсе, сколько он стоит? — скучным голосом поинтересовалась она.

Я посмотрела на ценник и присвистнула: дорогой! О-очень дорогой!

— Заверните.

— Мерять будете?

Я даже удивилась, как такая замечательная мысль сразу не пришла мне в голову?

В узкой примерочной я ожидала, что Он снова примется меня уговаривать, но Он молчал, зная себе цену, предоставляя возможность самой разобраться в своих чувствах. Он мне определенно нравился: подчеркнутая изысканность кроя буквально на глазах меняла фигуру, создавая Женщину из того замороченного существа, что во время обеденного перерыва заглянуло в ближайший маркет.

Когда была застегнута последняя пуговица и поправлен галстук, возникло ни с чем не сравнимое чувство комфорта, и стало странно, как я до сих пор умудрялась носить эти страшные тряпки, уныло свисающие с крючков. Я решила идти прямо в Нем.

Я пересчитывала сдачу (все-таки очень дорого!), когда из примерочной вышла продавщица с моими вещами.

— Вы забыли, — обиженно сказала она, протягивая джинсы и легкий джемпер маминой вязки.

Я автоматически запихнула все это в сумку, думая о том, что делаю что-то совсем ненужное.

Мое послеобеденное появление в офисе вызвало фурор: Ритуся подавилась горячим кофе.

— Ну, подруга, даешь! — уважительно протянула она, собирая кофейную лужицу прокладкой «на каждый день». — И где ж ты его подцепила?

— Похоже, это Он меня подцепил, — попыталась отшутиться я, хотя уже тогда догадывалась, что, пожалуй, это совсем не шутка. — Сегодня вечером я должна выглядеть о-фи-ген-но!

— Гарик? — понимающе подмигнула Ритуся. Она еще раз внимательно оглядела меня — с головы до туфель, и скорбно покачала головой: — Никто не спасется.

* * *

Кнопка звонка залипла. Пока пыталась подцепить ее ногтем, прошло изрядно времени: я слышала, как за дверью надрывается Моцарт, вещая о гостях. Наконец звонок удалось обезвредить, Моцарт облегченно стих, но открывать никто не спешил.

— Блин!

Откопав в сумке ключи, открыла сама. Не снимая туфель, протопала сквозь темную прихожую в зал, нащупала выключатель. Еще не включая свет, уловила дивный аромат и замерла с рукой на клавише, пытаясь догадаться, что бы могло так благоухать.

Чья-то рука легла мне на пальцы, и я дико заорала, пытаясь укусить пространство возле себя…

Выключатель щелкнул, в свете люстры возникла дурацкая физиономия Гарика. Любимый щурился на лампочку, но в целом казался весьма довольным собой. И недаром: когда сердце и рассудок вернулись на место, я смогла оценить усилия парня. Мастерская напоминала Эдемский сад: повсюду, меж холстов и подрамников, — в вазах, банках, даже в эмалированном ведре — стояли розы, источавшие тот самый аромат, который заставил замереть на входе. Море, море роз!..

— В следующий раз получишь в зуб, художник… — для порядка проворчала я, целуя небритую щеку, а сердце растекалось воском.

Гарик отступил на шаг, наслаждаясь произведенным эффектом.

— Классно сегодня выглядишь! Новый костюм?

— Почему только «сегодня»?

(Ненавижу этот мужской «комплимент»!)

Я наклонилась к ведру и попыталась зарыться лицом в самый большой букет. Цветы пахли одуряюще, даже закралось подозрение, уж не сбрызнул ли их любимый розовым маслом — с него станется…

Гарик вроде как смутился:

— Сегодня? Я разве сказал «сегодня»?

Я молчала, не желая ему помогать.

— Ну, наверное, потому что сегодня — особенный день, — пытался вырулить Гарик, смущаясь еще больше. Я напряглась: это было на него не похоже. А вдруг?..

Любимый обошел меня и обнял за плечи — так, чтобы не могла видеть его лица. Зато почувствовала его пальцы — длинные, сильные, пожалуй, даже грубые. Он поглаживал ими шелковистое сукно Костюма, стараясь проникнуть под него, к блузке.

Я поежилась.

— Сегодня особенный день, — повторил Гарик, — потому что…

«Потому что… ЧТО?» — я сжалась в ожидании, и сладкая радость начала растекаться по телу: уже давно не надеялась, что он когда-нибудь решится на ЭТО.

— …потому что… (НЕУЖЕЛИ?!) … я прошу вашей руки, милая барышня! — мелодраматическим шепотом закончил Гарик и сделал движение, решительно пытаясь снять с меня пиджак.

Я ДАЛА ЕМУ ПОЩЕЧИНУ.

— Ты что, с ума сошла? — Гарик отскочил и смотрел на меня с недетской обидой: я столько раз сама намекала ему на ЭТО!

— Прости, — сказала, зябко натягивая пиджак на плечи. — Ты сделал мне больно.

Это была правда, но любимый не мог этого знать: в тот момент, когда он пытался меня раздеть, почувствовала, как от меня отрывают что-то безумно родное — точно снимают кожу.

— В самом деле? — он озадаченно потер подбородок.

Отвечать не хотелось. Я плюхнулась в кресло и закурила. Гарик вздохнул, топчась рядом:

— Ты последнее время какая-то нервная. Если наше свадебное путешествие все-таки состоится, увезу тебя из города. Так что, «да»?

На сей раз искушать судьбу я не стала: затушила сигарету и притянула его к себе. Сколько раз я воображала эту минуту!

— Но-но-но, девушка! — смеясь, пытался вырваться Гарик. — Сделку следует обмыть!

Хорошее настроение вернулось к любимому полностью: он выудил из холодильника золотистую бутыль и шумно распечатал. Брют веселым фонтаном сиганул в бокалы.

— За тебя! — подмигнул Гарик.

— За *нас*! — поправила я.

Гарик счастливо кивнул и тихонько стукнул своим бокалом в мой.

Несколько капель шампанского брызнуло на рукав. Я вздрогнула, как от ожога. Любимый не заметил.

Он выдул вино до капли, потом небрежно выбросил хрусталь за окно. Бокал нежно звякнул вдали, прощаясь с нами.

— На счастье! — Гарик улыбался во все тридцать два зуба.

Я пыталась насухо оттереть пятно с рукава льняной салфеткой.

— Да брось ты! — не выдержал жених. — Сними и забудь, ты же дома!

— НЕТ! — я не узнала свой голос. — Не надо. Меня что-то знобит, — заискивающе улыбнулась, пытаясь загладить тягостное впечатление от резкого возгласа.

— Правда? — усомнился Гарик. Неудивительно: стоял душный июль, и еще мне почему-то казалось, что именно розы источают изо всех углов этот удушающий жар…

— Ты не простыла? — беспокоился любимый. — Может, *разденешься* и ляжешь в постель?

РАЗДЕТЬСЯ?!

Я вскочила на ноги:

— Нет-нет, ты только не беспокойся! Просто… Это все так неожиданно! — я глупо хихикнула. — Может, у меня нервная лихорадка? Мне надо побыть одной.

Я говорила скороговоркой, чтобы Гарик не успел вставить слова, а сама судорожно собирала вещи:

— Я позвоню!

Уход напоминал бегство.

Вылетая сквозь калитку в решетчатом заборе, красиво опоясывающем дом, я спиной чувствовала, как любимый тревожно глядит мне вслед.

* * *

Дома я плюхнулась на постель прямо в обуви и долго лежала, глядя в потолок. Не было ни малейшего желания шевелиться — не было вообще никаких желаний. Мне было легко и комфортно. Постепенно в голову начали возвращаться мысли, приобретая форму какого-то уродливого диалога.

— Он тебя не стоит, — сказал Костюм.

— Что ты в этом понимаешь, — вяло отозвалась я. Спорить совсем не хотелось.

— Побольше, чем ты, — Костюм был явно уязвлен. — Он делал предложение с таким видом, словно ты ему теперь обязана по гроб жизни. Он не понимает, что это *ты* делаешь ему одолжение.

— Прекрати. Никто не говорит ни о каком одолжении.

— Не говорит, — согласился Костюм. И упрямо добавил: — Но думает.

Мне было лень соглашаться, что, пожалуй, Он прав. Было хорошо просто лежать, ни о чем не думая.

Зазвонил телефон. Я потянулась к трубке.

— Не снимай, это он.

— Ну и что? Извинюсь за свою дурацкую выходку.

— Тебе не в чем извиняться. Если сейчас снимешь трубку, то покажешь свою слабость.

— Глупости! — я вновь потянулась к мобиле.

— Ты не сделаешь этого!

И я не сделала. Просто не смогла пошевелиться: Он держал меня. Вдруг стало ясно, что я не могу с Ним бороться.

Телефон надрывался еще долго, а я глотала бессильные слезы, тщетно пытаясь овладеть ситуацией. Наконец звонки стихли, и я почувствовала, что меня утешают: откуда-то пришло блаженное чувство покоя, и, уже засыпая, ощущала, как бережно обволакивает Костюм мое тело, стараясь защитить его от всего и от *всех*…

* * *

На работу я прилетела на полчаса позже, дыша, как взмыленная лошадь. Ритуся наводила марафет.

— Семенов заходил, тебя хотел, — сообщила она, не отрываясь от зеркальца. — Я пыталась отмазать, только он что-то с утра не в духе. Лучше зайди к нему, засветись.

В любом заведении шеф представляет собой симбиоз Годзиллы и табурета. Наш не был исключением. Обычно разборки на его «ковре» заканчивались хватанием валидола, но сегодня что-то было не так: я летела в кабинет начальства, словно меня несла пара надежных крыльев.

— Можно?

Семенов-сан стоял у окна, спиной к двери. Почуяв, что жертва в зоне доступа, медленно развернулся и проделал священный обряд под названием «уничтожь клопа морально»: с мрачной улыбкой выглянул из-под очков, протянув: «Та-а-ак…»

Когда-то от этого «та-ака» я начинала тихонько икать, а сейчас спокойно подошла к креслу для вип-клиентов и легко приземлилась в него — нога за ногу.

— Садись, Семенов, в ногах правды нет, — услышала собственный голос, а пальцы изящным движением выудили из внутреннего кармана пиджака пачку «Воуга». — Зажигалки не найдется?

Семенов смотрел так, словно увидел черта. Мне это не понравилось:

— Так и будем молчать?

Шеф не подавал признаков разумной жизни — только дышал громко в оба сопла. Не зная, чем себя занять, я немного покачала ногой. Потом это надоело, и я зевнула:

— Скучно у тебя. Лучше бы кроссворды разгадывал.

Тут Семенов произнес-таки первую фразу:

— Савская, — сказал он. — Ты что, с ума сошла?

— Тебе это точно не грозит, — на всякий случай нахамила я.

— Ты хоть отдаешь себе отчет, что я могу с тобой сделать?

Я задумалась:

— Вероятно, тройное «ВЫ»? ВЫговор, ВЫгнать, ВЫе… Ах, пардон, этого ты не потянешь.

Пользуясь тем, что Семенов снова замер с отвисшей челюстью, я выпорхнула из кресла к настенному календарю. Сам собой в руке возник тюбик рыжей помады. Щедро накатала ею поверх июля: «*УВОЛЬНЯЮСЬ. САВСКАЯ*».

— Что-нибудь еще?

Поскольку ответа не последовало, послала начальству воздушное «адью» и вылетела за дверь.

— Ну что, — кисло спросила Ритуся, все еще мучая зеркало. Теперь она растягивала рот в лягушачьей гримасе, чтобы блеск ровнее укладывался на губы. — В «клочки и тряпочки»?

— Пусть поцелует меня в задницу, — радостно сообщила. — Я уволилась.

— Да ну? — Ритка отложила пудреницу и впервые за весь день внимательно на меня посмотрела. — Ты какая-то мятая, — неуверенно сказала она. — В костюме, что ли, спала?

— А вот это не твое дело, — огрызнулась я, сгребая в сумку содержимое стола.

— Мне-то что, — обиделась Ритуся, — хоть в шубе спи. Гарик звонил. Вы что, поссорились?

— И это не твое собачье дело, — сказала я, мурлыча под нос что-то приятное.

— Полный привет, — вздохнула подруга, возвращаясь к зеркалу. — Допек-таки Семенов…

Я запустила в нее степлером и весело захлопнула за собой дверь.

* * *

— Ты была прекрасна! Я рад, что в тебе не ошибся!

Эти слова были для меня наградой. Я ждала их. Он их произнес, значит все в порядке, я все сделала правильно.

— Посмотри, ты только посмотри на себя!..

Мы шли по улице навстречу людскому потоку. Прохожим приходилось сворачивать, чтобы уступить нам дорогу. Некоторые комментировали свои эмоции идиоматическими выражениями, но мы не обращали внимания ни на кого: просто шли своим путем — так, как нам хотелось.

— Посмотри на себя! — повторял Он. — Ты стала совсем другой!

Я остановилась перед витриной и попыталась оценить свое отражение. Действительно, совсем другой человек: никогда прежде у меня не было такой изящной фигуры, уверенного лица и просветленного взгляда. Какой-то парень, пробегая мимо, одобрительно присвистнул.

Я почувствовала, что меня тянут за рукав — прочь отсюда.

— Ты прав, это надо отметить! — хохотнула я, следуя внезапному порыву.

Мы спустились в погребок пропустить глоточек-другой. В прохладном полумраке залечивали утреннее похмелье преимущественно мужчины, но нам было наплевать — мы пристроились за дальним столиком и заказали коньячку.

Я мирно осушала третий бокал, когда подкатился какой-то верзила. Не то чтобы он был особенно неприятен, просто нам было не до него. Начал он с банального:

— Девушка, а вам не грустно одной?

Я захихикала: откуда этому зануде знать, что я не одна? Однако, Костюм, похоже, расстроился. «Немедленно прогони его!» — ревниво шепнул Он. Но мне захотелось пошалить: я игриво сощурилась и промурлыкала:

— Составите мне компанию?

Парень расплылся в первобытной ухмылке:

— Ну, если ты не против…

— Не против! — успела улыбнуться в ответ, прежде чем моя рука поднялась и выплеснула остатки коньяка в эту довольную физиономию. Потом резво вскочила и, перевернув столик, бросилась прочь из забегаловки...

* * *

Вопль «*ЧОКНУТАЯ ДУРА!!!*», сотрясший стены покинутого заведения, способствовал тому, что остановилась я только у самого дома.

Сердце колотилось где-то в горле, ноги уже не держали, и я просто упала на скамейку.

Стало холодно: Костюм больше не желал меня согревать. К тому же ужасно кололся воротник — в том месте, где блуза не прикрывала шею. Меня передернуло.

— Чего ты хочешь? — устало спросила.

Он помолчал, прежде чем ответить. Потеплело.

— Там столько мужчин… — наконец сказал Он. — Повсюду много мужчин. Слишком много. Они все тебя недостойны. Они смотрят на тебя и пачкают своими взглядами. Так неправильно. Ты должна оставаться чистой.

— Чего же ты хочешь? — повторила я.

Мы посовещались и пришли к решению.

— Сколько у тебя денег? — поинтересовался Он.

Я прикинула: не так чтобы много. Однако, если запастись сухарями и картошкой…

Костюм этого не одобрил.

— Нет, — сказал он. — Мы должны жить красиво. *ТЫ* должна жить красиво.

* * *

Полдня я провела, закупая вина, шоколад и дорогие консервы. А потом мы пришли домой и заперлись на все замки. Ключи выбросила в окно.

— Что теперь?

Я почувствовала, как мягко Он обнимает мои плечи. По телу пробежала теплая волна. Наконец-то мы были вдвоем!

— У тебя есть любимая музыка?

— Я поставлю «Пинк Флойд», хорошо?

— Хорошо, я люблю ретро…

Ну, кто еще понимал меня так!

Зазвучала музыка — мягкая, как облака, и мы медленно начали погружаться в нее, когда бензопилой нашу нирвану прорезал телефонный звонок.

Это было очень некстати. Очень-очень.

— Ты знаешь, что надо делать? — строго спросил Костюм.

Я секунду подумала.

— Да, знаю.

Я заглянула на антресоли, где хранились инструменты, и вытянула большой молоток.

Подошла с ним к телефону.

Как ни обидно, но именно в эту минуту звонки прекратились. Я растерянно стояла перед заглохшим аппаратом, не зная, что предпринять. И тут он вновь разразился отчаянным залпом ненавистных трелей!

Взвизгнув от восторга, врезала молотком прямо в центр диска — в яблочко! Брызнули незначительные осколки, но телефон не умолк, а продолжал надрываться. Я громила аппарат еще минуты три, пока он наконец не захлебнулся.

Расправившись с крупным врагом, спустила в унитаз и мобилу, потом вернулась в комнату, тщательно зашторила окно.

Он слегка пожал мне руку возле запястья:

— Молодчина! Давай потанцуем, сделай погромче музыку!

О, Господи! Что это был за танец! Никогда прежде у меня не было такого партнера! Он водил изумительно, отвечая движением на каждое мое дыханье. Это была «*Обратная сторона Луны»* Флойдов, и впервые в жизни я чувствовала себя счастливой. Мы кружились в танце, плотно приникая друг к другу, ощущая один другого как свою половину, и не было в мире пары, более единой, чем мы.

Мимо проплывали предметы: иногда это были картинки. Картинки время от времени менялись, и трудно было угадать, во что превратится при следующем повороте, например, «Девочка с персиками»… Иногда рядом возникало окно с каким-нибудь временем года, а порой просто что-то из мебели, шпионящей за нами. Мы не обращали на все это внимания. Танец назывался «Дыши со мной», и занимало нас лишь одно: как можно точнее исполнять все его па…

Гармония длилась две недели. Потом нас грубо прервали.

Сперва приняла этот звонок за телефонный и очень удивилась: я точно помнила, что аппарата не существует. Потом стало ясно, что звонят все-таки в дверь, — причем, звонят давно и даже дергают ручку. Слышались какие-то голоса. Я раздраженно скрипнула зубами, но открывать не пошла. Вместо этого прихлебнула из горлышка еще «Арарата»…

И в эту минуту дверь открылась.

Ну, конечно же, какая я дура: Гарик — у него своя связка ключей!

Только его сейчас недоставало.

Я сплюнула с досады и потопала в коридор. На пороге стоял любимый, из-за плеча тревожно выглядывала Ритуся. Задний план заполняла безразмерным торсом вездесущая Наталья Семеновна с первого этажа.

— Привет, подруга! — хрипло сказала я. — Что нового в мире?

Отчего-то Наталью Семеновну сдуло ветром, с трусливым стуком позахлопывались приоткрытые двери соседей.

— Лариска! — Гарик переступил порог и сейчас щурился в полумраке, силясь меня разглядеть. — Лариса?!

Похоже, что-то во мне ему не приглянулось. Любимый схватил меня за плечи, а Ритка неожиданно по-бабьи заголосила:

— А божечки, Лариска, да на кого ж ты похожа! Ты что, совсем одичала?

Стало смешно, и я расхохоталась. Это вывело Гарика из себя. Он грубо меня встряхнул, но я не могла остановиться, а все смеялась и смеялась. Тогда он принялся хлестать меня по лицу. Пощечины сыпались одна за одной, это было ужасно глупо: ну разве можно что-нибудь изменить таким образом? Я сказала об этом, но Гарик, похоже, меня не слышал.

— Сейчас же пойди умойся, — приказал он. — И немедленно сними с себя эту дрянь!

Он рванул с меня пиджак.

Ох, не нужно было этого делать! Все мое тело пронзила дикая боль. Я дернулась, и послышался самый страшный звук на свете: *звук рвущейся ткани!..*

Бешеная пантера не могла быть разъяренней меня.

Я бросилась на Гарика, стараясь вырвать ему глаза, которые он так испуганно таращил. Запомнился визгливый от страха голос Ритуси, утаскивающей бывшего прочь из моей квартиры:

— Идиотка! Новинки по тебе плачут!

И торопливые шаги вниз по лестнице.

Я облегченно захлопнула дверь.

* * *

Мы сидели на полу, я грустно зашивала Ему рану, пытаясь утешить:

— Ну, потерпи, мой хороший. Рукав порвался по шву, никто даже не заметит!

Мне приходилось сильно выворачивать голову влево, чтобы получилось действительно аккуратно. Пару раз нечаянно прошила себе плечо, почти не заметив этого…

Костюм горестно молчал, только изредка чувствовала, как Он вздыхает.

— Все пройдет, мой дорогой, все пройдет…

— Нет, — скорбно отозвался Костюм. — Не все. Он сделал мне больно. Он ненавидит меня.

— Пустяки, не стоит об этом думать.

— Нет, стоит. Он сделал больно тому, кто тебе дорог. Значит, он причинил боль *тебе.* Ты должна показать ему, что никто не смеет делать тебе больно.

Я отложила иглу:

— Что ты имеешь в виду?

Костюм молчал. Но мне все стало ясно.

— Я этого не сделаю. НИ ЗА ЧТО.

Мне стало душно. Я тщетно пыталась ослабить галстук: лиловая петля безжалостно затягивалась вокруг шеи. Я была ребенком, силящимся разорвать удава. Он убивал меня…

Перед глазами уже шли темные пятна, когда мне удалось просипеть:

— Я согласна!

* * *

Я выбралась из дома, когда уже стемнело: последнее время яркий свет меня раздражал.

…Уверенно взбежав по знакомой лестнице, привычно надавила на кнопку звонка. Та, разумеется, залипла, и несчастный Моцарт за дверью был вынужден без конца наяривать свой «Турецкий марш». «Реквием был бы актуальней!» — подумалось с досады. Открывать никто не спешил, пришлось выуживать свои ключи.

Гарик мертвецки спал. Он не слышал «турецкого марша», все еще сотрясающего квартиру: рядом с диваном валялась бутыль из-под абсента. Другую Гарик нежно прижимал к груди — на дне ее еще что-то оставалось…

Что ж. Это упрощало задачу.

…Растворители для красок хранились под ванной. Кафельный пол приятно освежил щеку, и я выгребла на ощупь все, до чего смогла дотянуться. Оказалось не так и мало, в том числе банка с бензином. На кухне прихватила спички.

Спешить не хотелось: в таком деле важна обстоятельность.

Я присела возле дивана и долго смотрела на бесчувственного Гарика. В недвижимом состоянии он казался незнакомым существом, совершенно мне чужим и антипатичным. В забытьи бывший слегка похрапывал — словно хрюкал. На грязноватой щеке следы высохших слез. Я удивилась: пьяная истерика? Странно…

Неожиданно судорога исказила и без того неприятные мне черты: Гарика вывернуло, прямо на диван.

Это было слишком. Я встала и занялась делом.

Поливать растворителем мебель было приятно, резкий запах бензина перебил вонь перегара, витавшую в мастерской. Что-то было в моих действиях от обряда очищения, и я ощутила себя жрицей.

Опустошив банки с горючим, призадумалась, потом нежно вытянула бутылек из рук бесчувственного хозяина. Оценила остатки жидкости на свет, пытаясь разглядеть зеленую фею, отхлебнула… Ну и дерьмо! Вылила остатки абсента на Гарика, обмывая лицо и грудь. Он даже не пошевелился.

Занавески занялись мгновенно, мне даже пришлось отскочить. Убедившись, что теперь все пучком, мы удовлетворенно покинули квартиру, оставив ключи на столе.

Спускаться по лестнице под удаляющиеся звуки марша казалось частью священного церемониала, хотелось еще немного растянуть удовольствие, несмотря на явственный запах гари. «*Гори-Гарик ясно!*»

Мы уже покидали подъезд, когда послышались звуки приближающихся сирен. Пришлось ускорить шаг и почти бегом добираться до калитки. О, черт! Она была заперта!

Конечно же, она заперта, идиотка: эту калитку ВСЕГДА запирают на ночь!

Мои ключи от спасенья сейчас отдыхали в полыхающей квартире. Я в отчаянии рванула решетку.

— Не паникуй. У нас хорошие шансы. Быстро через забор!

Я подняла голову. Двухметровая кованая конструкция заканчивалась острыми пиками. Мне бы и в голову не пришло штурмовать эту громадину, но если Он считает…

— Нет времени раздумывать!

Действительно, вдали уже виднелись «мигалки»…

Темной птицей взлетела я на решетку, вывернулась ящерицей, переваливаясь по ту сторону ада. Йессс!!!

Вскочила на ноги, глянула вниз и закричала от боли: вся левая брючина была распорота до основания, и из нее на землю хлестала кровь! Мой дорогой, мой единственный истекал ею прямо у меня на глазах, и я ничем не могла ему помочь! Это было страшно.

— Я ранен, — простонал Костюм. — Я не могу сделать ни шагу.

Разве я могла уйти куда-нибудь без Него? Мы сидели у забора, я беззвучно плакала, гладя нежное сукно, не слыша почти ничего: ни лая собак, ни криков бегущих ко мне людей…

* * *

Сейчас я все реже думаю об этом, а если воспоминания одолевают, обычно появляется медсестра и делает мне укол. Я сразу же успокаиваюсь, потому что халат на ней приятного зеленого цвета, и рядом с ним бывает проще уснуть. А когда я засыпаю, забываю на время самый печальный, самый несправедливый момент в моей жизни…

…Когда меня уже переодели в казенное, а моего дорогого уносили прочь, словно груду обносков, Он прошептал:

— Ты была неосторожна. Я разочарован. Прощай.

*И не вымолвил **ни слова** в мою защиту! Молчал, как тряпка, как ДЕШЕВКА!*

Естественно, меня приняли за сумасшедшую.

Хотя, говоря по правде, я не в претензии. Мне гораздо спокойнее по эту сторону электрической решетки, за которой мир полон бездарных Мужчин и коварных Костюмов.

Здесь безопаснее.

Здесь у меня, наконец, появилась Подруга.

Это моя Смирительная Рубашка!



Голоса молодых

Жизнь попробуй на вкус

Сегодня мы предоставляем слово молодым поэтам. Самому юному из них, Антону Мяховскому, 15 лет, самой «пожилой» — чуть за тридцать. Можно ли догадаться об этом по их стихам? Приблизительно — да. Если в стихах много литературы, то есть начитанности, то автор их чаще всего очень молодой человек. Он не обделен талантом, но собственной жизни, по существу, еще не было. Откуда же взяться живым наблюдениям, мыслям, родившимся не на заемном материале? Но разве плоха строка Веры Кремко о красивой девочке, с которой она, наверное, дружит: «Ты цветок кровей эльфийских»? Замечательно! Хотя и литературно. А вот Антон Мяховский о девушке, его ангеле-хранителе: «Ты понарошку забрела // Своим дыханием согреть // Обиженный затылок мой». Точный, непридуманный эпитет спасает схему стихотворения, очевидно, внушенного молодому поэту О. И. Сенковским. Только опыт жизни, пусть еще и не очень большой, помог Татьяне Сивец написать мудрые, афористичные строки: «Воспринимаешь себя как жертву — // А страдают все вокруг».

Что еще характерно в предлагаемой подборке стихов? В них нет камерности, и в темах и в исполнении чувствуется пульс жизни, что также есть одно из главных условий настоящей поэзии. Молодые люди полны энтузиазма, говоря словами Вики Тренас, «отгадывать // замысловатые кроссворды дорог // видеть // железнодорожные станции и автобусные остановки // запорошенные пылью памяти // чувствовать // запах приближающейся грозы...». Ей вторит Андрей Фамицкий: «Поднимайся, иди к этим людям внизу, // Жизнь попробуй на вкус, мир попробуй на зуб». Ироничен и остросоциален Игорь Сизов: «Если друг, пригласив домой, угощает меня ливеркой, // Это его отец получил зарплату». Ультрасовременен Виталий Москалев: «Спи, продвинутый малыш. // Монитор закрыл глаза. // Спит компьютерная мышь // В виртуальном мире сна». Да и любовь у молодых, слава Богу, пока еще без великих страданий, на что так щедр возраст: «Это все теперь не важно — // Распрямляю гордо грудь. // Завтра у кафе «Ромашка» // Ровно в восемь — не забудь!» (Олег Клён).

Наконец, еще одна примета стихов молодых: традиционность и новаторство формы не заслоняют друг друга. Как-то мирно уживаются. Если Игорь Сизов, Елена Мальчевская, Татьяна Сивец и Вика Тренас добиваются выразительности белым стихом и синтаксисом, уставшим от знаков препинания, то все остальные участники нашего поэтического форума придерживаются хорошо оправдавших себя старых форм.

Настоящая поэзия — всегда молода. Даже когда ее творят старики. Таково ее генетическое свойство. От Пушкина и до наших дней. Но молодость уже сама по себе поэзия! О чем и свидетельствуют голоса молодых, звучащие сегодня.

Отдел поэзии

Андрей ФАМИЦКИЙ

* * *

Я проснулся, и утро дышало в глаза,
И плешивый птенец мне запел из гнезда.

Детский смех за окном и старушечий крик,
Это точно весна, просыпайся, старик!

Поднимайся, иди к этим людям внизу,
Жизнь попробуй на вкус, мир попробуй на зуб.

Будь беднее, чем Бог, и богаче, чем Крез,
И запомни: сегодня ты снова воскрес.

* * *

Мало сказать, совершенна
Девушка в белом и розовом:
Женская сущность священна,
Если мужчинам не роздана.

Геометрия чувств

Я любил, как любил бы квадрат,
В геометрии чувств угловат,
Но в объятиях маленьких рук
Превратился в разнеженный круг.

Виталий МОСКАЛЕВ

Современная колыбельная

Спи, продвинутый малыш.
Монитор закрыл глаза.
Спит компьютерная мышь
В виртуальном мире сна.

Не чирикает модем.
Отключился Интернет.
Спит семейство микросхем.
Отдыхает и чип-сет.

BIOS впал в анабиоз.
Замолчал системный блок.
Спи, малыш — провайдер грез,
Битов искренний поток.

Жесткий диск уснул давно,
Веря в новый гигабайт.
Ночь глядит в твое окно:
— Спи, мой милый, засыпай!

Игорь СИЗОВ

Если

Если в подошвы моих туфель западают дорожные камни,
Значит, дешевы мои туфли;
Если в соседнем подъезде опять не горит лампочка,
Значит, беспечны жители моего дома;
Если водитель авто не уступил дорогу пешеходу,
Значит, в моем городе наглые люди;
Если облезлый пес бежит, поджав лапу,
Значит, дворовый пацан угостил его сапогом;
Если у окна стоит припаркованный «Москвич»,
Это сосед опять разбил свой мерседес.
Если под холодильником огромная лужа,
Значит, не сообщив, отключили электричество;
Если девушка прохожего желает синие розы,
Ее душа не знает прелести ромашек;
Если на улице не слышны звуки гитары,
Значит, ты опять порвал струны;
Если сегодня вечером звонили церковные колокола,
Значит, завтра будет воскресенье;
Если на небе от ковша видна лишь рукоятка,
Значит, сильный был дождь прошлой ночью;
Если друг, пригласив домой, угощает меня ливеркой,
Это его отец получил зарплату;
Если я возвращался домой старой дорогою,
Значит, я остался верен своим принципам;
Если на приглашение в кафе говоришь: «Это дорого»,
Это здорово!
И если в телефонной трубке не слышны короткие гудки,
Значит, ты мне поверила.
И не дай бог мне усесться в мерседес,
Надев туфли без камней в подошве,
Купив тебе длиннющие синие розы
Вместо огромной охапки ромашек…
Нет. Не хочу.
Это вне наших с тобою желаний.

Татьяна СИВЕЦ

Финиковая пальма

Если нужно —
как октябрьская погода
с упоминанием про санкции января.

Всегда —
как пышный цветок
в густом кусте пионов.

По натуре —
искра в золе повседневности
и холодок покаянной молитвы.

С рождения —
чуткие весы
с каждодневным перевесом милосердия.

По распоряжению судьбы —
финиковая пальма
в зыбучих песках
даже и моего
земного бытия:
Тамара.

Мученица

Нервы не под кожей — поверху…
Взрываешься от любого прикосновения.
Даже сочувствие, идущее навстречу,
становится невыносимым.

Честная —
теперь ты за притворство!

Добрая —
теперь за черствость ты!

Обманутая в прекрасных мечтах —
мучаешься и мучаешь подозрением.

Воспринимаешь себя как жертву —
А страдают все вокруг.

Полная сочувственной любви —
даже против не восстаешь!..

Что же, жизнь, ты делаешь с нами?..

Что же с жизнью делаем мы сами?..

Перевод с белорусского
Екатерины Макаревич.

Антон МЯХОВСКИЙ

Сильфида

«…Без всякого сомнения, то была Она! —
то был ее дух — мой ангел-хранитель…»

О. И. Сенковский. «Любовь и смерть»

Ты за моим стоишь плечом
Сейчас у правого крыла.
Не беспокоясь ни о чем,
Ты понарошку забрела
Своим дыханием согреть
Обиженный затылок мой,
Неслышно слезы утереть
Несуществующей рукой.
И белоснежных перьев пух,
Подув, слегка расшевелить,
И утомленный плачем слух
Беззвучным пеньем усладить:
— Мой грустный ангел, на ладонь
Я безмятежность положу.
Ты лишь возьми. Легонько тронь,
Я отвернусь, я не слежу…

Олег КЛЁН

* * *

За мной наблюдает луна —
Я сердце свое ей оставил —
Без опыта мало ума,
А с ним только перечень правил,

С которым пробился плечом
Я к звездным заброшенным скверам
И все невозможное счел
Как факт не совсем достоверный.

* * *

Скоро кончится неделя
Разлетится птиц косяк,
Только мне теперь до фени,
Умный я или дурак.

Плохо слышу или вижу —
Звезд сплетенье в небесах,
И хожу ли по карнизу
Без страховки я в трусах.

Это все теперь не важно —
Распрямляю гордо грудь:
Завтра у кафе «Ромашка»
Ровно в восемь — не забудь!

Елена МАЛЬЧЕВСКАЯ

* * *

В этот день женщины курили
на старых балконах
с металлическими перилами.
Они резко открывали дверь
и делали глоток хрусткого осеннего воздуха.

А вслед им летело: «Ты же бросила!»
А вслед им летело: «Ты же простудишься!»
А вслед им летело: «Ты же шлюха!»
А вслед им летело: «Ты же не любишь меня!»

Но женщины не слушали
глупых фраз.
Они поплотней закрывали дверь,
оставляя слова в сырых комнатах.
Женщины прикуривали и опирались локтями на перила.

Они стояли так в тапках на босу ногу.
Они стояли так в халатах с засаленными карманами.
Они стояли так в рубашках своих любовников.
Они стояли так в тонких чулках на холодном бетоне.

Стояли и курили.
Роняли зажигалки на тротуар
и пепел на головы прохожих.
Водили безымянным пальцем по лбу.
Молча выдыхали в хрусткий воздух.

А потом, покусывая мизинец, говорили: «Дерьмо…»
А потом, вздохнув, говорили: «Дерьмо…»
А потом, пнув перила, говорили: «Дерьмо…»
А потом, затянувшись, выдыхали: «Дерьмо…»

Тушили сигареты в геранях и пепельницах
и уходили в сырость комнат.
В этот день женщины курили
на старых балконах
с металлическими перилами.

Денис БУКА

Презумпция любви

Из листопада твоих слов
Я соберу гербарий.
Наверно, я уже готов
Читать любой сценарий.

Свою я роль уже прочел,
И вмиг все стало ясно:
Меня Амур не обошел…
Но я скорблю ужасно:

Как есть, схалтурил сценарист!
Картина не готова:
Во фразах милой, что ни лист,
Пропущены три слова!

Пускай иллюзия — кино,
Мечтать не запретишь.
Я выдумаю все равно,
О чем ты промолчишь…

Пенаты

Ах, пенаты, милые пенаты!
Отчего глядите так враждебно?
Здесь я был душою чист когда-то,
Здесь без денег был богат волшебно.
Где вы, где вы, вешние закаты?

Наизусть заученные строки
Каждый угол шепчет каждой стенке.
Зрелых лет печальные уроки —
Те же в кровь разбитые коленки.
Годы, не по-детски вы жестоки!

Почему так смотрите сурово?
Не наследство — пыл души я тратил!
В утешенье жду от вас хоть слово,
Вы ж твердите хором, что я спятил,
Дом покинув в поисках иного…

Полно вам брюзжать, мои пенаты.
Дайте вволю встречей насладиться!
Я все тот же, только бородатый,
И пришел увидеть ваши лица,
Бывшие Вселенной мне когда-то.

Вера КРЕМКО

Алесе

Ты цветок кровей эльфийских,
Нереальна, как виденье,
Ты монашка-адалиска,
Чувств-мгновений наводненье.
Невесома, словно солнце,
Шепот ветра с облаками,
Мысли — мудрости питомцы,
Ты звезда над всеми нами.
Будь же ты любима небом…

Вика ТРЕНАС

* * *

отгадывать
замысловатые кроссворды дорог
видеть
железнодорожные станции и автобусные остановки
запорошенные пылью памяти
чувствовать
запах приближающейся грозы
заглядывать
в глаза путешественника
уставшего от постижения расстояний
слышать
как теплые струи дождя
стекают по одежде времени

идти
босиком по мокрой щекочущей траве
раствориться
в дрожании молодой листвы

* * *

палач не знает жалости
с рожденья он такой
и кошка точит коготки
под ласковой рукой
огонь горит внутри меня
ну кто его поймет
звериная печаль моя
наружу ищет ход.

Перевод с белорусского Георгия Бартоша.



ГУСЕЙН ДЖАВИД

Шейх-Санан

Трагедия в четырех действиях

Возвращаясь к Гусейну Джавиду

Наше желание перечитывать — один из благодарных поклонов науке учиться читать. Открывая вновь хорошую книгу по прошествии лет, мы испытываем порой состояние Колумба, открывающего Америку. Первый раз она осталась не увиденной за туманом школьного скоростного восприятия литературы. Великие произведения нужно перечитывать несколько раз. Всякий раз мы находим в них что-то новое, ускользнувшее раньше. Почему так происходит? Потому что человек меняется, в жизни его происходят события, пережитые давно-давно героями больших книг, которые ранее нам были менее интересны. Теперь их поступки и мысли как воздух необходимы нам. Образованный человек несколько раз в течение жизни перечитывает Пушкина, Толстого, Гоголя, Чехова, Богдановича, Шевченко, Бараташвили, Гете, Байрона, Фирдоуси, Хайяма... И мало кто среди этих имен поставит Гусейна Джавида. А зря. Это один из блестящих поэтов и драматургов Азербайджана, создавший несколько пьес и стихотворений мирового уровня. Он не дожил до расцвета своей славы, умер в застенках НКВД в 1941 году, ложно обвиненный в контрреволюционной деятельности. Его драмы и трагедии («Князь», «Сиявуш», «Хайям», «Мать», «Дьявол», «Шейх-Санан» и другие) — это страстный поиск правды, смысла жизни; философия идейных кризисов, духовных обретений и опустошений на фоне противоречий эпохи.

В № 10 за прошлый год редакция, выбрав из большого наследия Гусейна Джавида несколько стихотворений, трагедии «Шейх-Санан» и «Дьявол», опубликовала лишь их начала. Сегодня мы завершаем публикацию первой из них. Читателю еще раз предстоит почувствовать очарование письма классика, стремительность и необычность сюжета. Чего стоят афоризмы Гусейна. Трудно удержаться не процитировать хотя бы такие: «Для правды эти речи слишком пышны»; «В любви, как в бесконечном новоселье, // Я черпаю и счастье и веселье»; «Отрекаюсь // Ото всего, что не любовь! И каюсь // В том, что не любовь во мне самом»; «Хоть солнце зрячим и в тумане светит, // Слепой его в зените не заметит»...

Действие первых фрагментов трагедии начинается в некоей восточной стране, в Благословенной Медине. Санан, тридцатилетний ученик почтенного богослова, знатока религиозных доктрин, не может ответить на любовь красавицы Захры, хотя ему кажется, что и он любит ее. Но всякий раз, когда они встречаются, Санану является видение другой девушки, грузинки Хумар, которая внушает ему еще более сильную любовь и зовет к себе, на небеса. Санан страдает от этой раздвоенности и заболевает. Положение усугубляется аскетичностью молодого шейха: «Страсть плотскую считаю я напастью, // Мне чуждо то, что отравляет кровь, // Близка мне лишь духовная любовь». Но Санан с ужасом понимает, что Хумар сильнее его принципов. Товарищи боятся за разум друга. Однажды обессилевшему Санану снится мудреный сон. Неожиданно для всех старый богослов истолковывает его как предвестие великой славы юноши. «Ах, милый сын! Ты будешь в мире славен, // Наставникам знатнейшим будешь равен, // Перед тобой склонятся стар и млад». Через десять лет так все и происходит, и наш герой отправляется к Великой Мекке, «Чтоб темным стала истина ясна, — // Заблудшие да узрят, где она!». Задолго до его прибытия там прошел слух о нем как чудотворце. К нему стекаются убогие, слепые, нищие. Захра, «надломленный, трепещущий цветок», не в силах оставить любимого и следует за ним, но Санан решительно отсылает ее на родину. Предчувствие роковой встречи с Хумар не оставляет его. Все узлы будущей трагедии завязаны.

Отдел поэзии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Шейх-Кабир — седовласый почтенный богослов, известный своей добродетелью и ученостью, знаток религиозных доктрин.
Шейх-Абузар — его приближенный и домоправитель.
Захра — дочь Шейх-Кабира.
Азра — подруга Захры, дочь Шейх-Абузара.
Шейх-Санан — ученик Шейх-Кабира, тридцати лет.
Шейх-Хади
Шейх-Садра } — товарищи Шейх-Санана.
Абулула
Шейх-Марван — ученик Шейх-Кабира, одноглазый, среднего возраста.
Шейх-Наим — товарищ Шейх-Марвана.
Шейх-Абуллахья } старцы-богословы, аскеты, у Абуллахьи
Шейх-Джафар } непомерно длинная борода.
Огуз } молодые парни, азербайджанцы.
Оздемир
Дервиш — старец почтенного вида.
Хумар (Тамара) — необычайно красивая и скромная грузинская девушка.
Нина — подруга Хумар.
Антон } щеголеватые молодые грузины.
Симон
Платон — отец Хумар.
Серго — слуга Платона.
Священник — громкоголосый здоровяк.

Двое слепых арабов, погонщик верблюдов, Шейхи и Мюриды, Ангелы.
Грузинские парни, девушки и дети. Шейхи и их приверженцы в арабской одежде, грузины — в старинной грузинской одежде, священник — в шелковой рясе.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сцена первая

Окрестности нынешнего Тифлиса, подножье горы. С одной стороны река Кура, с другой — бесконечная кривая тропинка, ведущая к горе. Впереди видны два-три шатра. Некоторые из мюридов возвращаются с берега Куры — несут кувшины с водой.

Весенняя пора. Грузинский праздник. Вечер. Близится закат. Шейх-Санан прогуливается вместе с Шейх-Садрой, слушает соловьев, рассеянно любуется окрестностями.

Шейх-Санан
(*вдохновенно*)
Кавказ, Кавказ, какой блаженный роздых,
Кристальная вода, прозрачный воздух!
Как поэтичен этот божий край...
Как будто снизошел на землю рай.
Да, здесь любой, кто созерцает это,
Невольно превращается в поэта.
Ласкают взор зеленые холмы,
И умиротворяются умы.
Послушаешь — бог весть, цветы запели
Иль соловьи высвистывают трели,
Иль речки колыбельную поют...
Леса, луга — божественный приют!
Под снегом блещут пики гор орлиных,
Сиянье отражается в долинах,
В выси плывут цветные облака,
Гармония опять душе близка.

В полдневный жар и солнце здесь нежгуче,
А ночь всегда сродни мечте певучей.
Река Кура — совсем особый мир:
То лунный свет, безмолвья тайный пир,
То в ярости, не знающей препоны,
Бурлит и издает глухие стоны.
А над рекой, над клекотом зыбей
Порхают стаи сизых голубей
В игре, в погоне милой и беспечной,
Как волны, утекающие вечно.
Куда, куда спешит их караван?
В небытие? В предвечный океан?
Куда стремятся? Что их в путь умчало?
Незрим конец, неведомо начало.
Не это ль суждено на свете всем?
Приходим и уходим, но зачем?!

Слышится стройная песня. Оба останавливаются, слушают.

Я обошел леса, взошел на горы
Для той, что видят внутренние взоры.
Среди красавиц я одну избрал
И клятву перед богом повторял,
Что для других не отрекусь вовеки
От видимой сквозь сомкнутые веки.
Розовощекий ангел мой — лишь он
Похож на приоткрывшийся бутон.
Пусть бренный мир красою женской болен,
Я от нее одной уйти не волен.

Появляются поющие Оздемир и Огуз.

Ш е й х-С а д р а
Друзья мои, примите наш салам!
Какого рода вы, в чем вера ваша?

О з д е м и р
Мы тюрки, исповедуем ислам.

Ш е й х-С а н а н
Дай бог вам счастья.

Ш е й х-С а д р а
Самой полной чашей.

Ш е й х-С а н а н
Скажите мне, а много ли здесь вас?

О з д е м и р
С десяток поселений. Нет, немного...

О г у з
А вы, мой шейх? Откуда в добрый час?

Ш е й х-С а н а н
Из Мекки мы идем во имя бога.

Юноши почтительно целуют руки шейхам.

Ш е й х-С а н а н
Как вас зовут?

О з д е м и р
Слуга ваш — Оздемир.

Ш е й х-С а н а н
А он?

О з д е м и р
Огуз...

Ш е й х-С а н а н
Да будет с вами мир.

О г у з
(*Оздемиру*)
Смотри, смотри, опять сюда подходит
Дервиш безумный.

По дороге идет почтенного вида дервиш в белом.
Оглядев людей, удивленно и резко останавливается.

Ш е й х-С а н а н
Странно...

О г у з
Вечно бродит,
Как сумасшедший...

Ш е й х-С а д р а
Он не чародей?

О г у з
Нет, нет, но раздражает он людей.

О з д е м и р
Всегда один, бродяжничает праздно,
Бормочет сам с собой, всегда бессвязно,
Не ест, не пьет, не знается ни с кем,
Не отвечает, словно глух и нем.

Ш е й х-С а н а н
(*подойдя к дервишу*)
Отец дервиш, простите бога ради,
Послушать вас мы, право, были б рады.

Дервиш молчит.

Какой вы секты? В чем ее закон?
Быть может, нам полезен будет он...

Ш е й х-С а д р а
Молчит! Глухонемой? Увы, наверно.

Ш е й х-М а р в а н
(*подходя)*
Да он притворщик, и при этом скверный:
Всегда коварен тот, кто слишком тих.

Ш е й х-С а н а н
Все злы или коварны... для кривых.
Нет, лик его невыразимо светел
И чист... Но почему он не ответил?
(*дервишу*)

Зачем ты так таинственно молчишь?
Во что ты веришь, чем ты жив, дервиш?
Откуда ты? Какому толку служишь?
Зачем по миру бесконечно кружишь?

Дервиш начинает петь на лад «макама дашти» с видом одержимого. Шейх-Санан внимательно слушает. Подходят шейхи и мюриды.

Д е р в и ш
Не спрашивай, я только пыль дорог,
Я пляшущий в безумьи мотылек,
Отец мой — изумленье, мать — сомненье...
Спускаются в ничто мои ступени!
Что знаю я о собственной судьбе,
Чтоб толком рассказать, кто я, — тебе?
Я нищий странник и бегу куда-то
От правоверных и от шариата.
Я только жаждой истины объят —
К чему мне шариат и тафикат?
Отверг я догмы, сбросил их вериги,
Не поклоняюсь ни единой книге;
Евангелье, псалтырь или коран —
Все это сон, обман, туман, дурман.
Мир — зеркало теней, а не таблица,
Рай или ад — все это только снится.

Ш е й х-С а н а н
Конечно же, есть тайны у святых,
Но для чего умалчивать о них?
Зачем людей бояться и чуждаться?
Примкнул бы к нам, стал другом, может статься.

Д е р в и ш
Твои слова — густой и липкий прах,
Намеренья твои — в твоих глазах.
Ты мыслишь о другом — здесь есть угроза.
В душе твоей — совсем иная греза.
Зачем я одинок? Еще поймешь.
Спроси у бога, коль его найдешь.
Но знай: кто над людьми решил подняться,
Тому завет — поменьше с ними знаться.
(*Горько смеется, указывает на мюридов.*)
Не будь к своим растрепам слишком строг —
Будь одинок, будь просто одинок.
(*Пронзительно глядит на Санана и хочет удалиться.*)

Ш е й х-С а н а н
Святой отец, скажи во имя бога...

Д е р в и ш
Ступай же, у тебя своя дорога!
В глазах твоих — незнанье, а в словах
Мне чудятся неискренность и страх.
Послушай, шейх, ты втайне лицемерен:
Спешишь к иному — прежнему неверен.

Ш е й х-С а н а н
(*устремляясь к нему)*
Святой отец, постой, прости меня,
Одним лишь словом просвети меня…

Д е р в и ш
(*устало и безразлично*)
Прочь! Прочь ступай...

Отгоняет его жестом. Глаза брезгливо-печальны, походка странная. Уходит. Шейх-Санан растерян и расстроен.

Ш е й х-С а д р а
Достойный шейх, подумай,
Чем взволновал тебя дервиш угрюмый?
Чем он смутил тебя?
Ты весь дрожишь...
Ты мудрый шейх, а он простой дервиш.
В чем смысл его туманных прорицаний,
Что ты себя не помнишь, как в дурмане?

Ш е й х-С а н а н
Все, чем я жил, отброшено во тьму...
Мне надобно остаться одному.

Шейх-Садра покорно кланяется и отходит. Издали доносится веселая и нежная музыка. Шейхи и мюриды оглядываются в замешательстве. Шейх-Марван, Шейх-Наим и некоторые другие пытаются заткнуть уши.

Ш е й х-С а д р а
(*с презрительной досадой*)
В уме ли вы? Не хочется — не слушай,
Но для чего же вы заткнули уши?
Прекрасного не запретил ислам,
Ужели это неизвестно вам?
А музыка и пение прекрасны,
И значит, возбранить их мы не властны.
Побойтесь бога! Милый звон пичуг,
Шуршанье листьев, поцелуя звук,
И смех девичий, и напевы уда,
И звучные псалмы царя Давуда —
Не музыка ли это? Мера, лад...

Ш е й х-М а р в а н
О господи! И это иджтихад!

Ш е й х-С а д р а
Да, иджтихад, познавший дух Ученья,
В нем тоже слышит музыку и пенье.

На тропинку выходят празднично одетые грузинские девушки, юноши и подростки, впереди — музыканты. Шейхи и мюриды отходят в сторону и наблюдают.

Д е в у ш к и
Дует майский ветерок,
Легкий райский ветерок.
Луг и солнце, чистый воздух
Превратили мир в цветок.

Ю н о ш и
Что нам делать, как нам быть?
Сердцу хочется любить,
Но любой кудрявый ангел
Может взглядом погубить.

Д е в у ш к и
Знает юноша — всегда
Стережет его беда,

Но влюбленный не боится,
И беде он скажет «да»!

Ю н о ш и
Нам красотки неверны,
Зря нас мучают они,
Средь измен и расставаний
Утекают наши дни.

Поют и пляшут. Оздемир и Огуз сначала хлопают в лад, их зовут — они присоединяются, танцуют лезгинку. Все вместе, танцуя, уходят. Оздемир и Огуз в знак прощания с шейхами прикладывают руку ко лбу.

Ш е й х-М а р в а н
(*иронически кивая им вслед*)
Теперь вы убедитесь с Шейх-Сананом,
Как можно верить этим «мусульманам»!

Ш е й х-С а д р а
Боюсь, ты их не понял до конца,
Не угадал в них чистые сердца.
И шейхи есть похуже иноверца:
Вид мусульманский, но гнилое сердце,
Они подозревают все и всех,
Но в них самих гнездятся зло и грех.

Ш е й х-С а н а н
(*подходит*)
Где он? Вещает дух его словами!

Ш е й х-С а д р а
Достойный шейх, вы вне себя! Что с вами?

Ш е й х-С а н а н
Где мой дервиш? Его я не настиг...

Ш е й х-М а р в а н
Он полоумный, да и еретик.

Ш е й х-С а н а н
Порой слывет безумцем мудрый некто,
Порой неверье — это тоже секта.
Безумец он, но устыдил меня,
Бродяга он, но победил меня.
Пусть на Мансура не похож он внешне,
«Я — бог» твердит и он с тоской нездешней.

Ш е й х-С а д р а
Мой шейх, он далеко ушел, поверь,
И мы не можем знать, где он теперь.

Ш е й х-С а н а н
Да, да... Ушел... И вы меня оставьте.
Здесь одного на склоне дня оставьте.
Я погуляю над Курой опять,
Мне надо побродить, поразмышлять...

Ш е й х-М а р в а н
Пойдем и мы, но в стороне, конечно...

Ш е й х-С а н а н
Не бередите ран моих сердечных...

Ш е й х-Н а и м
(*возникает*)
Шейх!

Ш е й х-С а н а н
Прочь, глупец!

Ш е й х-С а д р а
А я, мой господин?

Ш е й х-С а н а н
Пойду один. Один. Совсем один.

Уходит в задумчивости, и по мере того, как он удаляется, опускается занавес.

Сцена вторая

У дороги веранда. Перед ней цветущий сад с бассейном.

С е р г о
(*поет, поливая цветы*)
Я от милой далек, от цветка полевого.
Где народ, где отчизна? Скитаюсь без крова.
Я стенаю и плачу, я снова и снова
Повторяю: «Любимая, где ты, приди!»

Как давно я не видел очей ее чистых,
Алых роз не срывал с ее щек бархатистых,
Как давно не смеялся в ночах серебристых,
Повторяю: «Любимая, где ты, приди!»

А н т о н
(*входит с букетом цветов*)
Серго, дружок!

С е р г о
Я, господин мой!

А н т о н
(*вручает ему букет и сверток*)
В дар,
Будь так любезен, передай Тамар.

С е р г о
А что сказать ей, дорогой батоно?

А н т о н
Что тут сказать? Что это от Антона.

С е р г о
(*всходит на веранду*)
Тамар, ты где? Тамар, поди сюда!

Х у м а р
(*в белом одеянии*)
Что это?

Серго

От Антона.

Хумар

Вот беда!
Зачем ты взял, дурак! Верни немедля.
(*Презрительно отмахивается и уходит.*)

Антон

Ну что?

Серго

С ее характером — хоть в петлю.
Вернула. И кричит, как на раба.

Антон

(*швыряет букет наземь и топчет его*)
Вот так и ты увянь, моя судьба,
Стань прахом и погибни под ногами!
(*Уходит сутулясь.*)

Серго

О господи! Не девка — дым и пламя!

Симон

(*подходит, глядит на веранду*)
Вот он, моей волшебницы дворец...
Пройди я землю из конца в конец —
Я б в целом мире не нашел такого,
Не сбросил бы незримые оковы!
Чему б я радовался вдалеке,
Порабощен ее красой и властью?
Ведь плачущее сердце и в тоске
Находит неизведанное счастье.

Хумар с вышиванием выходит на веранду.

Симон

Дотла спалил меня любви пожар,
Помилуй, сжалься, пощади, Тамар!

Хумар

Подите прочь! Вы тешитесь мольбами,
Все то же повторяя вновь и вновь.
К чему мне это? Праздными словами
В чужой душе не вызовешь любовь.

Шейх-Санан

(*в задумчивости проходит мимо,
поднимает голову и видит Хумар*)
Что это? Я опять во власти сна?
Нет бога, кроме бога! То она!

Симон

Люблю тебя! Огонь мне сердце гложет!

Хумар

Подите вон! Ступайте! Бог поможет.

Платон
(*выходит, полусонный*)
Что там за крики? На дворе уж ночь...
(*Увидев понурого Симона*)
Опять влюбленный? Снова гонит прочь?

Хумар опускает голову. Подходит приятель Платона — толстый священник с грубым басом.

Священник
Привет, мой сын.

Платон
Святой отец, пожалуй,
Входи, будь гостем, посиди со мной.

Хумар подходит под благословение, целует священнику руку.

Священник
Ах, снова ты бледна, мой цветик алый,
Бледна, грустна и смущена душой.
Нехорошо! Подай-ка мне водицы...
Да не горюй. Что унывать девице?

Платон
Помилуй, отче! Доброе вино,
А не водица, здесь припасено.
И шестилетней выдержки! В Метехи
Не ведают цари такой утехи.

Священник
(*многозначительно взглядывая на Хумар*)
Попридержи-ка эту благодать,
Чтобы на свадьбе у Тамар подать.

Платон
(*со смехом*)
Ты хуже ничего не мог сказать бы,
Чем при Тамар заговорить о свадьбе.
Она мечтает о монастыре —
Или о смерти в молодой поре.

Священник
Грех, тяжкий грех — уныние без горя!
Бог даст, она одумается вскоре.
(*Хумар*)
Вся молодежь у ног твоих — и что ж,
Ты от нее в глухой затвор уйдешь?

Платон
Пойдем, достойный отче, выпьешь, право,
Дурь из нее и ты не выбьешь, право.
(*Внезапно приходя в ярость и указывая на крест на груди священника*)
Пусть слышат Матерь Божья, Иисус,
Крестом господним искренне клянусь,
Пока меня земля родная носит,
Что первому отдам я, кто попросит,
Тамару, дочь мою, кто б ни был он...
Пусть выйдет замуж — или душу вон!

Священник
(*оторопело*)
Зачем же клясться? Клятва-то — не шутка!
Кто за язык тянул? И слушать жутко!

Платон
Поклялся — значит, так тому и быть.
Я знал, что говорил. Пошли-ка пить.

Уходят в дом. Хумар, сидя на веранде, задумывается. Подходит Нина.

Нина
Опять, опять в раздумье и печали.
Увы, другой найду тебя едва ли.
А между тем ты в Грузии одна
Так ангельски прелестна, так умна.
Подобной нет нигде — ни в захолустье,
Ни при дворе... Откуда ж столько грусти?

Хумар
Ты знаешь, Нина, в чем моя тоска:
Я выхода ищу из тупика.
Хочу желанье матери исполнить,
Ее завет последний, горя полный.
Она твердила: «Помни, дочь моя,
Что лучший муж не даст тебе житья,
Что муж — всегда изменник и мучитель.
Уйди же в монастырь, уйди в обитель».

Нина
Еще бы! Твой отец так страшно пил,
Что бедная вконец лишилась сил.
Представь-ка: пьяный зверь — и ангел
кроткий...
Тут кончишь скоротечною чахоткой!

Шейх-Санан
(*подходит*)
О да, она. Она. Мой давний сон,
Мой невозможный, счастью равный сон.

Хумар
(*Санану*)
Кто ты?

Шейх-Санан
Я раб, твоей красой томимый.

Нина
Быть может, это...

Хумар
Это одержимый.

Шейх-Санан
Конечно, одержимый! Спору нет!
Виновна в этом только ты, мой свет.

Серго
(*подходит*)
Что за незваный гость в чужой ограде?
И что он здесь болтает на ночь глядя?

П л а т о н
(*с бокалом вина выходит на веранду*)
А ты что разорался? Странник тут
Всегда найдет вниманье и приют.
(*Санану*)
Шейх, вы ко мне? Я слушаю. В чем дело?

Ш е й х-С а н а н
Не знаю сам. Все знать мне надоело.

П л а т о н
Здесь неудобно? Так пойдем ко мне.

Ш е й х-С а н а н
Я видел сон. Теперь я не во сне.

П л а т о н
Чего хотите вы? Я весь — усердье.

Ш е й х-С а н а н
Хочу, чтоб проявила милосердье,
Мне улыбнулась хоть единый раз,
Ко мне вернулась взором синих глаз.

С в я щ е н н и к
(*хохоча*)
Да он влюблен в Тамар! Теперь понятно...

Ш е й х-С а н а н
Влюблен безумно и невероятно.
(*Обращаясь к Хумар*)
Ответь же мне, раскрывшийся бутон,
Ужель забыла ты наш прежний сон:
Как ты звала меня все выше, выше...
Туда, туда... Иль не тебя я вижу?

П л а т о н
Где это было? Где встречались вы?

Ш е й х-С а н а н
На небе. Средь безбрежной синевы.

С в я щ е н н и к
Ну да, на небе. Он землей не скован.

П л а т о н
Бедняга! Он Тамарой околдован.

Появляются шейхи и мюриды.

Ш е й х-М а р в а н
Шейх здесь...

Ш е й х-Н а и м
Ох, мы плутали без конца…

Ш е й х-С а д р а
Но что с ним сталось? Нет на нем лица!

П л а т о н
(*тихо, священнику*)
Шейх кажется вполне приличным малым.

С в я щ е н н и к
Да, кажется...

Ш е й х-С а н а н
(*своим спутникам*)
Увы, друзья, Санан...

Ш е й х-С а д р а
Великий шейх, потоком небывалым
Тебе навстречу толпы мусульман
Стремятся, чтоб послушать Шейх-Санана.
Скажи им слово мудрости...

Ш е й х-С а н а н
Не стану.
Не нужен больше я ни им, ни вам.
Понадобится вам другой наставник.
А я... Себе, былому, чужд я сам,
Отрекся я от помышлений давних.
Увы, отныне полон я иным:
(*указывая на Хумар*)
Любовью к ней отныне одержим.

Ш е й х-М а р в а н
Ты говорил, что женщин ненавидишь,
Что за грехи на них одних вина.
Что ж изменилось?

Ш е й х-С а н а н
Разве ты не видишь,
Что ангел, а не женщина она?
(*Экстатически, всем*)
О, поглядите, как она прекрасна,
Как очи голубые смотрят ясно!
Я погружаюсь в эту синеву
И словно приближаюсь к божеству.

Ш е й х-Н а и м
Достойный шейх, не забывай о главном —
Об имени своем, о деле славном.
Перед самой Каабой клялся ты
Не ради лживой женской красоты.

Ш е й х-С а н а н
Она — моя Кааба, дом и вера,
Все остальное — прах. Мертво и серо!

П л а т о н
Поп, ты был прав. Я сдуру дал обет.
Теперь я должен слушать этот бред.

С в я щ е н н и к
Обет был глуп, но погоди яриться,
Он сам отстанет.
(*Санану*)
Стар ты для девицы.

Ш е й х-С а н а н
Кого соединяет дух, не плоть,
Тех молодыми делает господь.

С в я щ е н н и к
Что у тебя за талисман на шее?

Ш е й х-С а н а н
Святой коран.

С в я щ е н н и к
О боже, я немею:
Как может христианка стать женой
Магометанина? Наш бог — иной.

Ш е й х-С а н а н
О, бог един, различны лишь сужденья,
Людей разъединяют заблужденья,
Пусть много их, но истина одна...

С в я щ е н н и к
(*отбирает у Платона бокал, протягивает шейху*)
А если так, то выпей-ка вина.

Ш е й х-С а н а н
Я опьянен душой. Вино излишне.

С в я щ е н н и к
Для правды эти речи слишком пышны.
Бери и пей!

Шейх-Санан влюбленно смотрит на Хумар, берет бокал, хочет выпить, однако не осмеливается, колеблется. В конце концов решительно осушает его. Шейх-Садра стоит погруженный в раздумье.

В с е
(*пока он пьет*)
Опомнись, Шейх-Санан!

Ш е й х-М а р в а н
И этот проповедовал коран!

Ш е й х-Н а и м
(*Санану, с любопытством*)
Ну, что в нем есть? Что манит святотатца?

Ш е й х-С а н а н
В нем есть соблазн, но мудрый не поддастся.

С в я щ е н н и к
(*доставая из кармана рясы маленький крест*)
Отлично, милый шейх, а это — крест.
Надень на шею. Он тебя не съест.
Возьми, возьми. Ведь истина едина,
Раз бог един. Не бойся, будь мужчиной.

Ш е й х-С а н а н
(*надевая крест*)
Сын Мариам распят был... Что ж, опять?
Вам мало? Ты меня решил распять?
Чего еще ты хочешь? Вознесенья?
Я крест живой, но не ищу спасенья.

Ш е й х-М а р в а н
О, как ты мог?! Теперь не жди добра...

Ш е й х-С а н а н
Но это же кусочек серебра.
Надеть его, надеть кольцо на палец —
Не все ль равно? Ты просто глуп, страдалец!

С в я щ е н н и к
(*Санану*)
Как смеешь издеваться ты над тем,
Что свято нам, что дорого нам всем?

Ш е й х-С а н а н
По-моему, ты путаешь понятья:
Мы чтим Ису, а не одно распятье.

С в я щ е н н и к
Так! Но без дела в вере все мертво.
Возьми теперь коран, сожги его.

Ш е й х-С а н а н
Сжечь книгу? Для чего? Мне это странно!
Какой же смысл в сожжении корана?

С в я щ е н н и к
Ты хочешь увернуться? Стыд и срам!

Ш е й х-С а н а н
(*протягивая ему коран*)
Бери. Ты можешь сделать это сам.

В с е
(*в смятении и ужасе*)
Как, сжечь коран!

Ш е й х-С а н а н
Пусть жжет, коль есть причина.

Ш е й х-С а д р а
Шейх мудр, он знает все...

Ш е й х-С а н а н
Коран — лавина,
А не поток чернил. Коран — гроза,
А не бумага. Сжечь его нельзя.

Небо заволакивают тучи, грозно гремит гром,
который время от времени грохочет до конца сцены.

С в я щ е н н и к
(*не прикасаясь к корану, настойчиво*)
Пока в огне не сгинет то, что ложно,
Тебе поверить будет невозможно.

Ш е й х-С а н а н
Кто явно чтит, а тайно предает,
Коран огню стократно предает.
Но суть не в том. Ведь об Исе-пророке
И Мариам вещают эти строки.

Х у м а р и Н и н а
Ах!

П л а т о н
Полноте, отец! Довольно, грех...

В с е
Шейх, отрекись от зла. Покайся, шейх!
Покайся!

Ш е й х-С а д р а
Замолчите!

Ш е й х-С а н а н
Отрекаюсь
Ото всего, что не любовь! И каюсь
В том, что не есть любовь во мне самом.

Ш е й х-Н а и м
О шейх, Каабу вспомни, божий дом!

Ш е й х-С а д р а
(*Наиму)*
Умолкни!

Ш е й х-С а н а н
(*указывая на Хумар*)
Вот мой рай, моя Кааба!

С в я щ е н н и к
(*Платону*)
Как быть? И впрямь не клялся уж хотя бы!

П л а т о н
(*решительно, Санану*)
Еще одно: чтоб сочетаться с ней,
Два года должен ты пасти свиней.

Мусульман охватывает неистовство.

Ш е й х-С а д р а
Ну, это слишком! Глупо, злобно, мерзко!
Пойдемте же, мой шейх. Вам здесь не место.

Ш е й х-С а н а н
Люблю ее... Вам нужен свинопас?
Что ж, я готов. Ведите хоть сейчас.

Шейхи и мюриды с возгласами разочарования отходят.

Ш е й х-С а н а н
Друзья, ступайте. Более ни слова.
Бог вам пошлет наставника другого.
Нашел я ту, которую искал,
Обрел высокий свет средь этих скал.
Идите в мир, извечный груз тащите,
Но так же в мире темном свет ищите.
Санана позабудьте вы, бог с ним:
Он, как Меджнун, любовью одержим.

Ш е й х-С а д р а
Достойный шейх, представьте на мгновенье.

Ш е й х-С а н а н
Ступайте прочь. Здесь божье мановенье!

Ш е й х-М а р в а н
А все, чему учил, — бездушный звон...

Ш е й х-С а н а н
(*яростно*)
Прочь, маловеры! Убирайтесь вон!

Шейх-Садра в отчаяньи стоит один.

П е р в а я г р у п п а м ю р и д о в
О, поспешим домой — к Каабе, к Мекке,
Помолимся о падшем человеке,
Слепую страсть не смог он побороть,
Слаб человек, но милосерд господь.

В т о р а я г р у п п а м ю р и д о в,
М а р в а н и Н а и м
Наставник наш отрекся от корана,
Он предал все, что прежде славил рьяно,
Он пьет вино, на грудь повесил крест,
Он предал нас — бежим от этих мест.

П е р в а я г р у п п а
Пойдем молить пощады у аллаха
Тому, кто на пути не ведал страха.

В т о р а я г р у п п а
Пойдем, чтобы не впасть в невольный грех,
Аллах за слабость покарает всех.

Ш е й х-С а н а н
Прощайте, с вами жалость иль наветы —
Со мной одна любовь. Я полон света.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Сцена первая

Через полтора года. Конец весны, лунная ночь. В одном углу сцены свинарник. У входа спят две свиньи. Слева кувшин для воды. Хлев тускло освещен. Вдалеке виднеется комната Хумар, которая привлекает нежным, ясным светом. Серго с кувшином вина в руке выходит из хлева.

С е р г о
(*поет*)
Свод небесный украшают звезд весенних
легионы,
Лик земли — младые девы, чьи ланиты,
как пионы,
Гибну в пламени любовном, издаю глухие
стоны,
Рок — предатель, ты не знаешь ни пощады,
ни закона.
(*Выпивает кубок вина.*)
Как будто луч ударил по глазам...
Эй, шейх-чабан, послушай, где ты там?

Ш е й х-С а н а н
(*с длинными волосами и бородой в одежде грузинских пастухов, выходит из сада*)
Я тут, Серго...

С е р г о
Давай-ка выпьем дружно!

Ш е й х-С а н а н
Ты ешь и пей, мне ничего не нужно.

С е р г о
Санан, вино — ну, право, как в раю.

Ш е й х-С а н а н
Но ты же знаешь, друг, что я не пью.

С е р г о
Ах, милый шейх, как раз составим пару...

Ш е й х-С а н а н
Отстань, Серго.

С е р г о
Ты выпей за Тамару...

Ш е й х-С а н а н
О господи, дался вам этот яд!
Пьешь без конца...

С е р г о
Ну, ладно, виноват.
Не хочешь пить — сыграл бы на свирели,
Спел, сказку рассказал бы, в самом деле.

Ш е й х-С а н а н
Мне худо, друг. Прости, я нездоров.
(*Отходит в сторону.*)

С е р г о
На твой недуг нет в мире докторов.
(*Выпивает еще кубок вина и поет*)
Не зальют вина кувшины роковое пламя страсти,
От любимой нет ни слова, я не ждал такой напасти,
Бог мне дал глаза, чтоб видеть, рок столкнул во тьму несчастья,
Рок-предатель, ты не знаешь ни пощады, ни препоны.
(*Из сада доносится лай собаки.*)
Незваный гость! Эй, кто там? О-го-го!

О з д е м и р
(*с хурджином в руке, с ним Огуз*)
Свои, свои! Что ты кричишь, Серго?

С е р г о
Соседи, вы? Здоровы?

О з д е м и р
Слава богу.

С е р г о
Входите.

О з д е м и р
Нам в обратную дорогу.
Два слова скажем шейху и пойдем.

С е р г о
А где он, шейх? Зайдите лучше в дом.

О з д е м и р
Нет, ты возьми хурджин для Шейх-Санана.
И будь здоров. Прощай, уже не рано.
(*Отходят.*)

Хумар с Ниной выходят из дома. В руках у Хумар миска с едой.

Х у м а р
Серго, шейх отдыхает от работ?

С е р г о
Ах, госпожа, да разве он уснет?
Ведь он сложеньем вроде серафима:
Не ест, не пьет. Уму непостижимо,
Когда он спит. Беседует с луной,
Сидит и что-то шепчет в час ночной.

Х у м а р
(*передавая Серго миску с едой*)
Ты шейху помогай в чем только сможешь,
А что велит, придешь и мне доложишь.

Возвращаются.

Н и н а
Да, Шейх-Санан — хороший человек.

Х у м а р
Таких не знает наш порочный век.
И сверх того, что он — ума палата,
Само лицо его светло и свято.

Серго уходит в хлев с хурджином. Шейх-Санан появляется с другой стороны сада, глядит вслед Хумар.

Ш е й х-С а н а н
Уходит милая — не ждет меня, уходит,
Уходит чистая, — как солнце дня, уходит,
Уходит гордая, рассудок мой круша,
Уходит божество, и вера, и душа...

С е р г о
(*выходит из хлева*)
Друг, принесла Тамар тебе покушать.

Ш е й х-С а н а н
Не хочется.

С е р г о
Ее ты должен слушать!

Ш е й х-С а н а н
Нет, не хочу... Озяб... Бросает в жар...

С е р г о
Поспал бы, что ли...
(*Санан уходит в хлев.*)
Увидал Тамар —
И снова угрызенья и стенанья...
Вот человек! Он создан для страданья!

С и м о н
(*входит с двумя молодыми парнями*)
Серго, душа моя...

С е р г о
Симон? Входи!

С и м о н
Потише. Где Санан?

С е р г о
С тоской в груди
Он, как всегда, мечтает иль рыдает,
А если спит, то и во сне страдает.

С и м о н
Как думаешь, я что-то не пойму,
Платон-пьянчуга дочь отдаст ему?

С е р г о
Хозяин неотесан, суеверен,
А потому и впрямь не лицемерен:
Поклялся на евангельи — отдаст.

С и м о н
Да, на любую мерзость он горазд
И дочь убьет из прихоти минутной...

С е р г о
Ошибся. Эта прихоть обоюдна.
Тамаре шейх успел внушить любовь,
Он оттеснил других ее рабов...

П е р в ы й П а р е н ь
Но ведь Тамара в монастырь стремилась,
При чем же этот шейх, скажи на милость?

С е р г о
Увы, свинарник, а за ним пустырь
Влекут ее, как прежде — монастырь.
Здесь для нее — священная обитель,
Где шейх — непререкаемый учитель.

П е р в ы й П а р е н ь
(*Симону*)
О чем же думать, тупо глядя ввысь?
Тамар пойдет за шейха. Отступись.

С е р г о
Да, срок двухлетний скоро истекает,
Обет отцовский девку подстрекает.

Симон
Пусть так, но ведь не умер и Симон,
И что тут делать, знает только он.
(*Достает набитый кошелек,*
подбрасывает в воздухе, кидает Серго.)
Вот! Золотом полны тугие недра.
Я заплачу за кровь, и очень щедро.

Подходят — с одной стороны Оздемир, с другой — Нина,
и, не замечая друг друга, наблюдают и слушают.

Серго
Я понял вас, любезные друзья.
Но не сейчас. О нет, сейчас нельзя!

Первый Парень
Он прав. Сейчас не время. Это точно.
Придем поздней. Придем порой полночной.

Симон
Удача — это птица: улетит —
И не поймать. Я ожиданьем сыт.

Обнажает кинжал и хочет кинуться в хлев.
Оздемир хватает его за руку, кинжал падает. Парни с обеих сторон
схватывают Оздемира.

Первый Парень
Не двигайся или прощайся с жизнью...

Подбегает Огуз. Окинув сцену зорким взглядом,
сдавливает парня сзади за глотку.

Огуз
А ну, собачий сын, попробуй, взвизгни...

Оздемир
(*Симону*)
Казнись всю жизнь в преддверье адской тьмы!
Ты человек, такой же, как и мы,
Понять бы мог, что шейх любовью ранен,
Он — не от мира подлого сего,
Мечтатель кроткий, вечный чужестранец…
Как смел поднять ты руку на него?

Огуз
Как смел так бессердечно, так спокойно
К нему, что сроду птицы не подбил,
Вести убийц? Нет, жить вы недостойны,
И мне на вас троих достанет сил.

Выхватывает кинжал, бросается на Симона.

Оздемир
(*держит его*)
Остановись. В отмщенье нет величья!
Убьешь их — в чем тогда твое отличье?

Огуз
Пусть подыхают. Не могу простить.

Оздемир
Нет, сильному не подобает мстить.
(*Симону*)

Подите вон, вам надо торопиться,
Но пусть навек запомнит тот убийца,
Которому мешает Шейх-Санан,
Что он умрет, своей же кровью пьян.

Трое поспешно удаляются.

Ш е й х-С а н а н
(*выходит из хлева*)
Что за тревога? Что здесь происходит?

О з д е м и р
Нет, ничего, отец мой, кто-то бродит
Там, за оградой. Ты бы вновь прилег...

О г у з
(*отбирая у Серго кошелек*)
Что это?

С е р г о
Это? Это кошелек.

О г у з
А в кошельке? За кровь святого плата?
(*Бьет Серго по лицу*)
Я вижу, ты разбогател, проклятый!

Ш е й х-С а н а н
Огуз!

О г у з
Мой шейх, тебя убить хотят,

Ш е й х-С а н а н
Убить? За что же? В чем я виноват?
Я бедный странник. Мне помыслить больно,
Что я кого-то ввел в соблазн невольно!

О г у з
(*Серго*)
А ну, холоп, бери свой кошелек,
Ступай за мною, да не падай с ног.

О з д е м и р
Великий шейх, теперь ты понимаешь,
Теперь ты догадался, мой отец,
Что ты себя измучаешь, измаешь —
Они ж тебе откажут под конец.
Что толку ждать? Наемные убийцы,
Быть может, и сейчас обходят дом.
Спасайся, шейх! Силком возьмем девицу,
А тех, кто нас настигнет, перебьем.

Ш е й х-С а н а н
Мой Оздемир, я грешен, любострастен,
Но я на преступленье не согласен.

О з д е м и р
О шейх, я повинуюсь, но скорбя.
Будь осторожен, береги себя.

Ш е й х-С а н а н

Ах, не гляди, мой сын, так зло и строго.
Не бойся. Жребий наш — в деснице бога.

О з д е м и р
(*целует шейху руку*)

О шейх, молю тебя: случись беда —
Мы бросим все и ринемся сюда.
Погибнуть за тебя — нет доли краше,
Тебе повиноваться — счастье наше.

Ш е й х-С а н а н

Но вспомните и о своих делах.
Идите. Да поможет вам аллах.

Нина, никем не замеченная, направляется в комнату Хумар.

Ш е й х-С а н а н
(*один)*

О, я над бездной, я над самой бездной!
Я гибну, защищаться бесполезно.
Я на краю паденья своего.

Н и н а

И все это подстроил наш Серго!..

Ш е й х-С а н а н

Но нет, я не ропщу, о боже правый,
Хумар — моя награда, счастье, слава.
Кто полюбил, судьбе не прекословь,
Блажен, кто погибает за любовь.

Берет кувшин, стоящий у входа в хлев, и уходит за водой в сад.
Появляется Антон в белой чохе. С ним мрачный верзила.

А н т о н

Серго, душа моя...

В е р з и л а
(*заглядывает в свинарник*)

Молчи покуда.
Санан один и крепко спит, паскуда.

А н т он

Серго!

В е р з и л а

Да нам не нужно никого:
Я без Серго сейчас убью его.
(*Бросается в свинарник.*)

А н т о н
(*глядя у двери*)

Бей, бей! Еще! Отличные удары!
Коли его, коли! Теперь Тамара
Поймет, как поднимать меня на смех.

В е р з и л а

Он, видно, заколдован, этот шейх.
Похоже, он не чувствует кинжала.
Нет крови. Как в солому, входит жало.

Тут надо что-то сделать сверх того...
Ага, вот этак я пройму его!
(*Затворяет дверь, и хлев бурно загорается изнутри.*)

А н т о н
Ты хлев поджег?!

В е р з и л а
Огонь высок и светел.
Санан-святоша превратится в пепел.

А н т о н
Тут носа не подточит и комар...
Поздравим же прелестную Тамар!

Хумар и Нина выходят и смотрят на них с возрастающим беспокойством.

В е р з и л а
(*хохоча)*
Он так уснул, огнем любви объятый,
Что внидет прямо в райские палаты.
(*Меняя тон*)
Но больше смысла нет играть с огнем,
Пошли отсюда...

А н т о н
В добрый час. Уйдем.
(*Быстро уходят.*)

Х у м а р
Ах, эти тоже что-то замышляли.

Н и н а
Спаси нас боже от такой печали.

Налетает порыв ветра. Гремит гром. Слышен треск пожара. Все это продолжается до конца сцены.

Х у м а р
Теперь я понимаю! Здесь поджог!
Серго, Серго! Куда он деться мог!

С е р г о
Я здесь. Пожар?..

Х у м а р
Скорее! Настежь двери!

Н и н а
Предатель, негодяй... Какие звери!

Х у м а р
Беги туда! Спаси его, спаси! Он там, хватай его и выноси!

Серго распахивает дверь, оттуда вырывается язык пламени. Серго хочет войти, но не осмеливается.

С о с е д и
(*подходя*)
Беда? Несчастье? Что стряслось, Тамара?

Х у м а р
Санан, Санан погиб в огне пожара!

Н и н а
(*Серго*)
Палач!

Х у м а р
На помощь, люди! Все ко мне!
Мой бедный друг, мой шейх погиб в огне!

Теряя силы, падает на руки Нины.
Вдруг появляется Шейх-Санан с кувшином.
Все в изумлении.

Ш е й х-С а н а н
(*с обожанием глядя на Хумар*)
Шейх не погиб! Не пострадал нимало
Твой шейх ни от огня, ни от кинжала.
Тот, кто любовным пламенем палим,
Пройдет, как призрак, сквозь огонь и дым.
Но если б и поверг меня убийца,
С создателем я б мог соединиться.
Моя могила — вечность, ибо я
Продлил любовью сроки бытия.
В любви, как в бесконечном новоселье,
Я черпаю и счастье, и веселье.
Пусть я паду, обугленный, в крови,
Мой дух взовьется в небеса любви,
В небесные сияющие сферы,
Влюбленных принимающие сферы.
Там, там я обниму любовь мою,
Мы с ней не разлучимся и в раю.

З а н а в е с

Сцена вторая

Комната в Медине. На полу циновки, тюфяки, подушка. Две двери. Два-три окна в сад. Солнце только восходит. Когда поднимается занавес, смуглый араб-слуга приводит в порядок тюфяки и уходит. Входят Шейх-Хади и Абулула.

Ш е й х-Х а д и
Благодаренье господу, мы дома,
В Медине, и блаженная истома
Здесь в воздухе чистейшем разлита...
Медина даже воздухом свята:
Душе он очищенье посылает
И сердце от недугов исцеляет.

А б у л у л а
Да, да, мой шейх, здесь воздух — благодать,
Но я б хотел о новостях узнать.

Ш е й х-Х а д и
Узнай. Ведь мы ушли в такие дали,
Что от домашних новостей отстали.
Меня же клонит к сладостному сну.

Я разомлел. Немножко отдохну.
(*Вслед уходящему Абулуле*)
О Шейх-Санане прежде всех разведай
И тотчас расскажи.

А б у л у л а
Пойду по следу.

Ш е й х-Х а д и
И о Захре спросить не позабудь:
Здорова ли, больна — хоть что-нибудь!

Абулула уходит. Шейх, накрывшись абой, ложится.
Свет на сцене гаснет, в углу поднимается другой занавес.

Ш е й х-С а н а н
(*объятый языками пламени, с тоской и восторгом*)
О боже, я сгораю, я сгораю!
К чему я ближе — к аду или к раю?
Увы, любовным пламенем гореть —
Не значит жить, не значит умереть.
Аллах, аллах, я не ропщу, однако —
Ни тени милосердия, ни знака...
О боже, если ты не дашь мне сил,
Зачем тогда меня ты сотворил?

В призрачных руках сверкают мечи и кинжалы.
Кажется, они разят Санана.

А н г е л
(*внезапно возникает*)
Не жалуйся, великий шейх, не сетуй,
Тебя не позабыл создатель света,
Творец, как прежде, покровитель твой,
Пророк господень — за твоей спиной,
И ангелы крылатою толпою
Тебя ведут единственной тропою.

Ш е й х-Х а д и
(*пробуждаясь, в ужасе*)
Нет бога, кроме бога! Едкий страх
Объял меня во сне...

Ш е й х и А б у з а р,
А б у л л а х ь я, Д ж а ф а р
(*входят*)
Велик аллах!

Ш е й х-Х а д и
Друзья мои, входите...
(*Обнимаются, целуются.*)

Ш е й х-А б у з а р
Вы здоровы?

Ш е й х-Х а д и
Да, слава богу.

Ш е й х-А б у з а р
Пусть под этим кровом
Ученость ваша паче расцветет,
И воля божья будет ей оплот.

Ш е й х-Х а д и
Абулулу встречали?

Ш е й х-А б у з а р
Не встречали.

Ш е й х-Х а д и
Что слышно о Захре?

Ш е й х-А б у з а р
Она в печали.
Больна, и безнадежно. Труп живой.

Ш е й х-Х а д и
Велик аллах. Над всеми суд его.

Ш е й х-А б у з а р
Не ест, не пьет... Бог весть, что это значит?
Все плачут о Захре — она не плачет.
Не умерла, хотя в ней жизни нет,
Остались только очи да скелет.
Все дни она безмолвно, одиноко
Проводит на могиле у пророка.

Ш е й х-Х а д и
О, пощади, нет сил внимать без слез...
О Шейх-Санане мой второй вопрос.
Не приходил ли кто-нибудь оттуда?

Ш е й х-А б у з а р
Паломник есть из Мекки, он покуда
Не знает точно, верен ли рассказ,
Что Шейх-Санан вот-вот обнимет нас.

Ш е й х-Х а д и
Велик аллах в неизреченной силе!

Ш е й х-А б у з а р
Теперь нам расскажи, как вы ходили
В далекие края, на срез земли,
Что было там и как обратно шли.

Ш е й х-Х а д и
Великие мы испытали страсти,
Паломничество наше — цепь несчастий.
В пути погибли верные друзья,
Вернулись лишь Абулула и я.

Ш е й х и
(*все трое, горестно*)
Един лишь бог, мы все к нему вернемся,
В различный срок, но к одному вернемся.

Ш е й х-А б у л л а х ь я
Да будет так, как повелел аллах.

Ш е й х-Д ж а ф а р
Но что ждало вас на его путях?

Ш е й х-А б у з а р
Что было на неведомых дорогах?

В с е т р о е
Поведай нам о горестных итогах.

Ш е й х-Х а д и
Мы от Каабы устремились в путь,
Не скоро привелось нам отдохнуть;
Мы в Йемене остались ненадолго,
Но в Индию влекло нас бремя долга,
И всюду по пути учили мы,
Что лишь ислам выводит дух из тьмы.
Встречало нас почтенье и вниманье,
Нас слушали с восторгом мусульмане,
Другие нас оспаривали, но
Мы побеждали в споре всех равно,
Пустели их языческие храмы,
Торжествовала истина ислама.

Ш е й х-А б у л л а х ь я
Да, жив ислам, он крепнет с каждым днем!

Ш е й х-Д ж а ф а р
Неугасимый свет все ярче в нем!

Ш е й х-Х а д и
Так шли мы, посещая край за краем,
Без страха просвещая край за краем.
Уже прошли мы Индию почти,
Но до конца не дали нам дойти.
Мы с горечью пустились в путь обратный.
На Средиземном море, — вероятно,
Близ берега уже, — в недобрый час
На корабле застигла буря нас.
Казалось, начались в кипящей пене
Потоп всемирный и столпотворенье.
Корабль по кругу шел, кружился он
Среди попятных волн и встречных волн.
То на гору летя, по воле ветра,
То падая в разверзшиеся недра.
Крутился шторм подобьем колеса,
Он разорвал на клочья паруса,
Со всех сторон стенанья доносились,
Кругом рыдали, падали, молились,
Взывая к милосердию творца,
Объяты влажным холодом конца.
Когда мы все отчаялись в спасенье,
То был уже не шторм — миротрясенье:
Гром грохотал и молнии, ветвясь,
Гигантской саблей поражали нас,
Не знали мы, где небо и где море,
Все было только ужас, смерть и горе.
Мы вспомнили свой город и страну,
И бедный наш корабль пошел ко дну.

Ш е й х-А б у л л а х ь я
О, в этом было что-то роковое...

Ш е й х-Д ж а ф а р
Нежданная беда страшнее вдвое...

Ш е й х-Х а д и

Все, кто умел, поплыли кое-как,
Влекомы бурей,сквозь кромешный мрак,
Пытались со стихиями сражаться,
На гребне волн старались удержаться,
Но быстро шли ко дну, лишаясь сил...
Я больше о спасенье не просил,
Стал повторять предсмертное моленье,
Благословляя божее веленье, —
И вдруг услышал некий слабый зов,
Он доносился с ближних берегов.
Поплыл на голос, выбрался на сушу —
Так сохранил аллах живую душу.
Как ночь прошла, не помню. Тяжело
Мне было. Но светило дня взошло —
Из десяти (без слез признать смогу ли?)
Абулула и я не потонули.

Ш е й х-А б у з а р

Так пусть теперь отважных сыновей
Аллах потопит в милости своей!
Тех, кто терпел, не зная укоризны,
Да одарит он долголетьем жизни.

А б у л у л а
(*входит*)

К нам Шейх-Садра идет среди своих
Соратников.

Ш е й х-Х а д и

Санана нет меж них?

А б у л у л а

Его не видел я.

Ш е й х-Х а д и
(*с тревогой*)

Но отчего же?
Не явь ли этот сон? Помилуй, боже!
(*Подходит к окну.*)
Темно в глазах, померк лазурный свод.
Беда с Сананом — чую наперед.

Входит Шейх-Садра с другими шейхами и мюридами.
Вид усталый.

Ш е й х-Х а д и

Садра, мой друг, что сталось с Шейх-Сананом?
Не попрощаться ль с шейхом навсегда нам?
(*Шейх-Садра колеблется.*)
Не бойся принести дурную весть.
Не надо лгать. Скажи нам все как есть.

Ш е й х-С а д р а

Его приходу — Грузия помеха.
Остался он, а мы ушли без шейха.

Ш е й х-Х а д и

Он жив?

Ш е й х-С а д р а
Да, жив.

Ш е й х-Х а д и
Так слава небесам!
Что ж вы ушли, раз шейх остался там?
(*Шейх-Садра молчит.*)
Да не таись!..

Ш е й х-М а р в а н
Ведь их тревога точит...

Ш е й х-Х а д и
(*Марвану*)
Начни и продолжай, раз он не хочет.

Ш е й х-М а р в а н
Шейх предал нашу веру и коран,
Кощунствовал без меры Шейх-Санан.
Он, женоненавистник, в честь девицы
Повесил крест; теперь он винопийца
И стал пасти свиней ее отца,
Великий Шейх-Санан...

Ш е й х-Х а д и
(*многозначительно*)
И вы конца
Не стали ждать истории постыдной,
Его с презреньем бросили, как видно,
И, чистые, вернулись без него,
Спасая нашей веры торжество,
А ваш наставник славный этим часом
Вдали остался нищим свинопасом...

Ш е й х-М а р в а н
Чье сердце обвинит нас, чей язык,
Когда «наставник славный» — еретик?

Ш е й х-Х а д и
Марван, да ты не только одноглазый,
Ты крив душой — она больна проказой.
(*Общее молчание.*)
Вам был учитель бесподобный дан,
Столп веры, светоч знанья — Шейх-Санан.
Хоть солнце зрячим и в тумане светит,
Слепой его в зените не заметит.
Санан повесил крест, стал пить вино,
Но вы его мюриды все равно.
Коль скоро свято бремя послушанья,
Вам всем пристало жить как христиане.
Я думаю, что если Шейх-Санан
Зачем-то принял веру христиан,
То и тогда он выше перед богом,
Чем вы в своем усердии убогом.

В с е
Он нам не внемлет, нас не видит он...
Он нас прогнал, нас ненавидит он...

Ш е й х-Х а д и
Еще бы! Обнаружили испуг вы,
Радетели и слуги мертвой буквы,
И он — Кааба веры — вновь узрел,
Сколь чужды вы и слов его, и дел.
А я готов поклясться пред Единым,
Что он не стал в душе христианином.
Скажи, Садра, есть смысл в моих словах?

Ш е й х-С а д р а
Твои слова внушил тебе аллах.
(*Горестно и упрямо*)
И все же пусть мы слепы, пусть мы гнусны,
Понять нас можно тоже, как ни грустно.

Ш е й х-Х а д и
А именно? Как можно вас понять?

Ш е й х-С а д р а
Оставив шейха, принялись опять
Мы странствовать, учить людей исламу,
И ровно год скитались без вождя мы.
Вернулись. Видим как нельзя ясней,
Что наш великий шейх пасет свиней.
Два дня мы убеждали, умоляли
Оставить этот ужас, но едва ли
Шейх даже слышал нас: он точно глух,
Слова скользят, не задевая слух.

Ш е й х-Х а д и
Пусть даже так. И вы бы с ним остались.

Ш е й х-С а д р а
Но все мои товарищи, печалясь
И сокрушаясь, двинулись домой.
Быть с ними — это долг последний мой.
Я предлагал остаться. Шейх ужасно
Сердился и твердил, что все напрасно.
Он нас прогнал. И пусть я был не прав,
Пошел за всеми, крылья обломав.

Ш е й х-Х а д и
Ах, Шейх-Санан — подобье океана,
Никто не мыслит шире Шейх-Санана,
Нас, грешных, разделяет с ним черта
Незримая — ведь он не нам чета.
Теперь я понимаю, что мне снилось:
О, вещий сон! Все, все в нем прояснилось!..

Ш е й х-М а р в а н
(*Наиму*)
Ох, эти сны!

Ш е й х-С а д р а
Поведайте и нам...

Ш е й х-Х а д и
Мне снилось, что в огне мой Шейх-Санан,
Что он объят пыланием пожара

И сквозь огонь разят его кинжалы.
Шейх в ужасе, он сетует на то,
Что бог его оставил, что никто
Не поддержал его на бездорожье...
(*Общее изумление.*)
И вдруг слетел прелестный ангел божий,
С огнем его крыла переплелись,
Он поднял шейха и унесся ввысь.

В с е
Был во спасенье послан божий воин...

Ш е й х-А б у з а р
Шейх милости великой удостоен!

В с е
Зачем же мы оставили его?
Зачем не понимали ничего?

Ш е й х-Х а д и
Увы, он — океан, а вы — болотце...

А б у л у л а
Последнее раскаянье зачтется.

В с е
Повинную главу не тронет меч!
Вернуться к шейху или в землю лечь!

Ш е й х-С а д р а
(*грустно-иронически*)
Не странно ли — стемнеет, и над крышей
Летучие начнут кружиться мыши
В надежде, что навеки свет исчез,
Что солнце навсегда ушло с небес.
Но чуть засветит первый луч денницы,
Настанет утро, защебечут птицы,
Они отыщут темные углы
И затаятся до вечерней мглы,
Чтоб вечером пуститься в путь обратный...
Увы, как в этом мире все превратно!

Ш е й х-Х а д и
Как быть, всем ошибаться суждено.
Что было — было, но прошло оно.
Не станем тратить время на унынье,
Нам надобно другим заняться ныне.
К пророку на могилу мы пойдем,
Там силы и решимость мы найдем,
Поклонимся святыне несравненной,
И да поможет нам Благословенный
Осилить нашу слабость, выйти в путь,
Доверье шейха сызнова вернуть.

В с е
Пойдем, нас ждет священная обитель!
Пусть мы погибнем — да живет учитель!

Шейх-Хади, Шейх-Садра и другие выходят.

Ш е й х-М а р в а н
(*Наиму*)
Устойчивости в них ни капли нет:
Во тьме неверья видят некий свет.

А б у л у л а
(*выходя последним*)
Те, чьи глаза навеки тьмой одеты,
Не видят и божественного света.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Сцена первая

У дороги веранда, как это было во втором действии. Цветущий сад. Май. Воскресенье. Когда поднимается занавес, несколько молодых грузин, навеселе, проходят по дороге. Один из них играет, другой причудливо и смешно пляшет, остальные рукоплещут. Нина выходит на веранду, смотрит на них. Юноши, продолжая петь и плясать, уходят. На веранду выходит Хумар.

Н и н а
(*Хумар*)
Всё дома, дома... Всё одни, одни...
Так, взаперти, проходят наши дни.
А на дворе весна ветвями машет,
Округа вся уже поет и пляшет,
Весь мир смеется, радуясь весне,
И лишь тебя не тянет к новизне.

Х у м а р
Ах, мой цветок, мне жизнь сама не в радость:
Чуть выйду в сад иль у окна усядусь,
Нахлынут мысли черные... Весна
Мне тяжела. Я от нее больна.

По дороге с песней проходят пестро разодетые девушки,
за ними — юноши и подростки.

Д е в у ш к и
Нам фиалки май принес,
Гиацинты, купы роз,
Соловей поет, как будто
Задает душе вопрос.

Ю н о ш и
Солнце встало в вышине,
Мир смеется по весне,
Вешний свет на все вопросы
Отвечает правду мне.

Д е в у ш к и
Веет райский аромат,
Пряный майский аромат,
И открыты все объятья,
И любой любому брат.

Ю н о ш и
В глубине очей — любовь,
В тишине ночей — любовь,
Влюблены, хмельны, беспечны,
Мы весну встречаем вновь.
(*Доносится звон церковных колоколов.*)

Х у м а р
Ты слышишь, Нина, погребальный звон?
Чью душу нынче отпевает он?
Пока одни смеются и ликуют,
Поют, шумят, играют и танцуют,
Есть и другие — те, кто одинок,
Кого несчастье грубо сбило с ног, —
Они в тоске, а близкие в тревоге,
И смерть с косой маячит на пороге...

Н и н а
Тамар, кругом весна, о чем тужить?
Один уйдет, другой придет, чтоб жить.

Х у м а р
Придет. Уйдет. Родятся. Колобродят...
Что нужды?

Н и н а
(*глядя на дорогу*)
Твой отец сюда подходит.

Приближаются Платон и священник.

Х у м а р
Лукавый поп! Твердит: «Тамар, Тамар!»
А исподволь готовит мне удар.

Колокола звонят.

С в я щ е н н и к
Платон, ты слышишь?

П л а т о н
Видно, кто-то умер.

С в я щ е н н и к
Симон...

П л а т о н
Вот никогда бы не подумал!

С в я щ е н н и к
Два года он в Тамару был влюблен,
Молил, грозил, стенал и плакал он —
И, наконец, с собой покончил.

П л а т о н
Право,
Мне жаль его. Симон был парень бравый.

С в я щ е н н и к
Антон, бедняга, тоже еле жив.
Стал бледен, грустен, страшно молчалив.
И он зачахнет поздно или рано...

П л а т о н
Что делать! Я дал слово Шейх-Санану.
Я дал обет. Назад мне путь закрыт.

С в я щ е н н и к
Тебя от клятвы церковь разрешит,
Дабы не сделать дочь твою несчастной.

П л а т о н
(*со смехом*)
Что? Дочь мою? Вот это уж напрасно!
Ей безразлично, лето иль зима,
Жизнь или смерть, сиянье или тьма...

С в я щ е н н и к
Ах, что за чушь! Стрекочешь, точно галка!
Ужель тебе родную дочь не жалко?

П л а т о н
(*беря священника за руку*)
Понятно! Заходи. Ты будешь тут,
Когда узнаем мы господень суд.
(*Входят в дом*).

Из сада выходит Шейх-Санан, оживленный и сияющий.
Его волосы и борода совершенно белы, в руке — пастушья палка.
Он идет к веранде, останавливается перед Хумар и вопросительно,
со значением глядит на нее.

Х у м а р
Что, мой Санан? Какая-нибудь просьба?

Ш е й х-С а н а н
Хумар, теперь просить мне довелось бы
Лишь об одном, лишь у тебя одной,
И, кроме этой просьбы, нет иной.
Ты знаешь все, что было и что сталось.
О чем же мне еще просить осталось?

Х у м а р
(*учтиво)*
Слова твои приятны и скромны,
Но все же до конца мне не ясны.

С е р г о
(*входя, шейху)*
Какие-то в чалмах из страшной дали
Прошли через моря, через пески
И целый день, мой шейх, тебя искали
Как бывшие твои ученики.

Ш е й х-С а н а н
(*сердито и устало*)
Свиней напоминает их порода,
Которых я пасу уже два года.
Им ученичество не по плечу,
Скажи, что я их видеть не хочу.
(*Хумар, с глубокой нежностью*)
Хумар, Хумар, в моей любви бескрайней
Нет никакой неясности и тайны.

Я для тебя отрекся от корана,
От имени, от славы, от друзей,
Стал свинопасом...
(*Снимает шапку.*)
Рано, слишком рано
Стал старика согбенного белей.
Два года не смеялся я ни разу,
Два года был в плену одной мечты,
Жил этой грезой, отвергая разум, —
А ты, мой ангел? Что мне скажешь ты?
Что ты решишь, мой ангел ясноликий?

Хумар
(*печально*)
Ах, Шейх-Санан, подвижник мой великий!
(*Не в состоянии продолжать.*)

Шейх-Санан
Решай, Хумар, теперь решаешь ты.
Ты светоч красоты и доброты,
И, что ты ни решишь, все будет свято.
Когда в волненьи слушаешь меня ты,
Я над собой не властен — все отдам
Тебе, твоим глазам, твоим устам.
Они и мукой веселят мне душу,
Я ради них себя дотла разрушу,
Я буду счастлив, если милый взор
Мне выразит сомненье иль укор:
Ведь даже в них таится близость наша,
А гибель от тебя — блаженства чаша.

Священник, Платон и Нина выходят на веранду.

Платон
Опять чего-то хочет Шейх-Санан?

Шейх-Санан
Я вспомнил, что обет тобою дан.

Священник
Какой обет? Нам, право, недосужно...

Шейх-Санан
(*досадливо*)
Я не с тобой. Тебя-то мне не нужно.

Священник
Ох, наш Меджнун! Совсем рехнулся он...

Шейх-Санан
Кто всех срамит, сам разума лишен.

Платон
Что ж, спросим у Тамар...

Священник
Платон, помилуй,
Девичье слово не имеет силы.
Да он и сам зарока не сдержал:
Он втайне Магомета ублажал,
Был верен лживым догматам ислама…

П л а т о н
Не может быть!

С в я щ е н н и к
Увы, увы, хотя мы
Поверили ему, наш свинопас
Коран читает и творит намаз.

Ш е й х-С а н а н
(*Платону*)
Я не слыхал бесстыднее навета!

С в я щ е н н и к
(*бросаясь к нему и оголяя его грудь*)
А где твой крест, угодник Магомета?!

Ш е й х-С а н а н
Мой крест, как и коран, в душе моей,
А совесть — мой имам и архиерей.
(*Указывая на большой крест на груди священника*)
Иные крест целуют, им грозятся,
А в их утробе дьяволы резвятся.

С в я щ е н н и к
(*в замешательстве*)
Молчи, отступник, нечестивец, враг!

Ш е й х-С а н а н
Я замолчал. И все же это так.

С в я щ е н н и к
Прочь, негодяй! Нет от тебя покоя!
Найди себе пристанище другое...

Х у м а р
О!

П л а т о н
Полно, отче, ты уж слишком яр...

С в я щ е н н и к
Уйди от нас! Ты надоел Тамар!

Рывком вталкивает Хумар и Платона в комнату, входит за ними. На веранде остается растерянная Нина.

Ш е й х-С а н а н
(*отчаянно*)
Хумар, не уходи. Вернись, мой ангел.
Хумар, прости. Хоть отзовись, мой ангел.
Хоть выгляни и брось прощальный взор.
Вся жизнь моя — ошибка и позор.
Я больше не желаю жить, довольно.
Я отгорел. Жить — это слишком больно.
Я больше не могу. Погас, потух.
Я ухожу — не шейх и не пастух.
О, выйди хоть на миг. Давай простимся.
Взгляну на милый лик, и возвратимся —
Ты — к прежней жизни, я — в небытие.
О, покажись, сокровище мое!

Дай на тебя взглянуть, мой ангел кроткий.
Мне снова в путь, последний и короткий.

Ждет, стоя у дороги, смотрит разочарованно, с тоской, потом нетвердым шагом безумного уходит направо.

Х у м а р
(*выбегая, Нине*)
Где Шейх-Санан?

Н и н а
Ушел он, твой Меджнун...

Х у м а р
Убил его, убил презренный лгун!
А я замкнула слух, смежила веки...
О господи, ведь он ушел навеки...

Поспешно уходит за шейхом, Нина — за ней. Слева появляются Оздемир, Огуз, Шейх-Хади, другие шейхи и мюриды.

Ш е й х и и м ю р и д ы
Скажите нам, где победитель зла?
Где веры неизменная кыбла?
Где знамя правды? Где Кааба знаний?

С в я щ е н н и к
(*вместе с Платоном выходя на веранду*)
О ком вы?

В с е
О великом Шейх-Санане!
Ответьте нам, скажите нам, где он?

С в я щ е н н и к
Черт знает, где. Его прогнали вон.

В с е
Проклятый поп, ты что-то смел на диво,
И удержу не знает твой язык.
Смотри, ты пожалеешь, долгогривый,
Что на людей достойных поднял крик.

П л а т о н
Друзья, зачем стоять вам у порога?
Расположитесь здесь, зайдите в дом.
Санан вернется. Подождем немного.
Санан придет. Немного подождем.

Д е в у ш к и, ю н о ш и и п о д р о с т к и
(*проходят и поют разноголосо, не в лад*)
Нам фиалки май принес,
Гиацинты, купы роз,
Соловей поет, как будто
Задает душе вопрос...

Нина, запыхавшись, появляется справа. Кричит и плачет.

Н и н а
Тамар бежала из дому! Она
Вслед за Сананом из дому бежала!

П л а т о н
(*гневно священнику*)
Теперь-то ты доволен, сатана?
Из-за тебя дождался я скандала!

С в я щ е н н и к
(*проходящим грузинам*)
Вы слышите? Тамару шейх увел!
Догоним их! Здесь явный произвол!

Г р у з и н ы
В погоню, люди! Девушку украли!

Ш е й х-Х а д и
(*мусульманам*)
Пойдем и мы! Настигнем их в пути!

М у с у л ь м а н е
Без нас они укроются едва ли,
Должны мы от погони их спасти!
(*Торопливо следуют за грузинами.*)

З а н а в е с

Сцена вторая

Закат. Над Курой обрывается отвесная скала. Поодаль, по ту сторону скалы, маленькая лужайка. С той стороны скалы, которая не видна зрителям, есть тропа на вершину, со стороны же сцены — обрыв. Когда поднимается занавес, где-то вдали слышится щемящая мелодия пастушьей свирели.

Шейх-Санан задумчиво и устало стоит на вершине скалы с непокрытой головой. Волосы его развеваются, в руке палка. Он тяжело дышит, сделав несколько шагов, оглядывается, вздыхает, вытирает пот со лба рукавом. Появляется старый дервиш. Увидев Шейх-Санана, бросает на него удивленно-иронический взгляд, громко хохочет.

Д е р в и ш
Да это ты ли? Что с тобой, скажи?
Где шейхи, где мюриды, где хаджи?
Не видно ни следа былого блеска...
Я поражен: отличье слишком резко.

Ш е й х-С а н а н
(*глядя вдаль, указывает на что-то дервишу*)
Неверно, что за мною нет толпы:
Не только шейхи — даже и попы
Идут за мной. Убогое обличье
Предполагает новое величье.
Сей странный мусульманин, Шейх-Санан
Теперь привлек потоки христиан.
Как видишь, целый мир мне поклонился.
Любуйся же: ты вовремя явился!

Д е р в и ш
(*вглядываясь, озадаченно*)
По-моему, они хотят напасть,
В их лицах и глазах — слепая страсть.
Растут как туча. Держатся все вместе.
Боюсь, что эти люди жаждут мести.

Ш е й х-С а н а н
(*внимательно смотрит*)
Да, мести, крови, изуверских кар...
Идут, спешат, и впереди — Хумар.

Д е р в и ш
Что вызвало их гнев сверх всякой меры?

Ш е й х-С а н а н
Извечный спор религии и веры.

Д е р в и ш
(*брезгливо*)
Религия и догма, страшный сон!
Теперь и ты узрел, как страшен он.
О, если б сбросил этот мир вериги
Застывших догм, бесчисленных религий!

Ш е й х-С а н а н
(*глядя вдаль, глухо*)
Ну, Шейх-Санан, гордись и созерцай,
Какой обрел ты благодатный рай.
Он мудрым словом был тебе завещан:
Все зло и горе мира — из-за женщин.

Д е р в и ш
О чьем ты слове вспомнил?

Ш е й х-С а н а н
Шейх-Кабир,
Моей далекой юности кумир,
Мудрец и прозорливец вдохновенный,
Когда-то предсказал мне эту сцену.

Д е р в и ш
Мой шейх, ты сбросил путы естества,
В тебе отныне истина жива,
Твой ум прозрел мистические выси,
Особый мир — не в Мекке, не в Тифлисе.
Божественным сиянием одет,
Теперь и сам ты источаешь свет,
Теперь ты бог, тебе доступны разом
Божественная милость, мощь и разум.

Ш е й х-С а н а н
Как много слов ты сыплешь с языка!
Поди найди другого простака.
Хватало мне стыда, огня, кинжала —
Мистического вздора не хватало.
Ты первым стал сводить меня с ума
И очень преуспел...
(*Завидев подходящую Хумар*)
Хумар, Хумар,
Чего ты хочешь? Дома, на отшибе ль —
Везде тебе нужна моя погибель.

Х у м а р
Шейх, милый шейх! Не мешкай, сбереги
Остаток сил. Бежим. Кругом враги...

Ш е й х-С а н а н
(*с видом безумного*)
Заманишь. Я живым тебе не дамся.

Х у м а р
И я с тобой! Не бойся, не упрямься!

Д е р в и ш
Шейх, для чего ты мучаешь ее?
Пойми, в ней оправдание твое...

Х у м а р
Прости меня, была я виновата,
Не поняла любви твоей крылатой.
Теперь ты мне супруг и господин,
И бог у нас один, и путь один.

Ш е й х-С а н а н
(*лаская кудри Хумар*)
Да, ты на эти каменные стены
Не взобралась бы только для измены...

Д е р в и ш
(*посмеиваясь*)
Есть ангелы, Санан, — светлы как день,
Но искони ведут себя как тень:
Ты к ним — уходят легкою стопою,
Ты отойдешь — стремятся за тобою.

Качает головой и странной своей походкой удаляется.
На лужайку выбегают Оздемир, Огуз, шейхи и мюриды.
Видят Шейх-Санана на вершине.

В с е
Вот шейх! Благословенный Шейх-Санан!
Хвала и слава богу мусульман!

Ш е й х-С а н а н
(*с насмешливым недоумением*)
Зеваки, для чего вы тут сгрудились?
Ступайте вон, вы просто заблудились.

Ш е й х-Х а д и
(*глядя на Санана, с волнением*)
Как сильно изменился милый лик!

Ш е й х-С а д р а
Спускайся, шейх, опасен горный пик!

Ш е й х-С а н а н
Кто над землею воспарил, как птица,
Готов разбиться, но не опуститься.

Ш е й х-Х а д и
К чему гордыня? Мы твои друзья!
Теперь мы будем как одна семья.
Припомним все, что было пережито,
Поделимся, поговорим открыто.

Ш е й х-С а н а н
Я не сойду. Идите вы ко мне.
Я буду с вами только в вышине.

А б у л у л а
Шейх, заслужили мы твое прощенье,
Нам страшно горных троп коловращенье.

Ш е й х-С а н а н
Вам страшно? Вы не знаете пути?
Зачем же было вам сюда идти?

О г у з
Есть путь иной — пологий и окружный.

Ш е й х-Х а д и
Тогда в обход! В обход! Скорее! Дружно!

В с е
Скорей, скорей! Не медлите! Кругом!
Быть может, мы его еще спасем!

Х у м а р
(*оглядываясь*)
Санан, бежим! Теперь и наши ближе,
Я слышу их. Не медли. Я их вижу.

Ш е й х-С а н а н
Пред нами пропасть в дымке голубой…

Х у м а р
Тогда погибнем вместе. Я с тобой.

На вершину взбегают священник, Платон, грузины.
Хумар с возгласом испуга укрывается в объятиях Санана.
Грузины хотят броситься на них.

С в я щ е н н и к
(*грузинам*)
Постойте, погодите!
(*Зычно*)
Эй, Тамара!
Тобой владеет дьявольская чара.
Одумайся, вернись! Взгляни окрест!
Тебя зовет животворящий крест.
(*Простирая руку к Санану*)
Се дьявол. Проклинаю неустанно.
Анафема! Отыди прочь, сатано!

Х у м а р
Ты попусту хлопочешь. Не греши.
Как отделить мне тело от души?

П л а т о н
Хумар, вернись в отцовские объятья,
Иначе мне — позор, тебе — проклятье.

Ш е й х-С а н а н
(*умоляюще*)
Иди, Хумар. Он твой отец. Смирись.
Есть долг повиновенья. Покорись.

Х у м а р
Шейх, не проси и постыдись обмана.
Я жить на свете без тебя не стану.

С в я щ е н н и к
(*Хумар*)
Смотри, как солнце божее красно:
Побагровело от стыда оно,
От гнева, от обиды, от печали...
Ах, этого мы от тебя не ждали!

Х у м а р
И я, как солнце, на закат пришла.
И я сгорю. Пусть торжествует мгла!

Ш е й х-С а н а н
(*прижимая Хумар к груди*)
Нет, нет, тебе не страшен дым заката,
Мы полетим с тобой — туда куда-то,
К седьмому небу... О, моя краса,
Мы вознесемся, как пророк Иса!..

С в я щ е н н и к
(*грузинам)*
Чего же вы стоите, истуканы?!

Толпа делает шаг к Санану и Хумар, но появляются мусульмане.

О з д е м и р
Посмейте только тронуть Шейх-Санана!

Ш е й х-Х а д и
(*направляется к Санану*)
Шейх!

Ш е й х-С а н а н
Отойди. Ты злобен и упрям.
(*Пальцем очерчивает в воздухе круг.*)
Не видишь, что ли? Здесь — Бейт-уль-Харам,
И вход сюда закрыт непосвященным,
Таким, как ты, слепым и развращенным.

Ш е й х-М а р в а н
(*Санану*)
Шейх!

Ш е й х-С а н а н
Прочь, изменник, ноги уноси!

С в я щ е н н и к
О господи, помилуй и спаси!

Ш е й х-С а н а н
(*Хумар*)
Что хочешь ты? Скажи, отбросив робость!

Х у м а р
Спастись!

Ш е й х-С а н а н
Гляди, спасенье наше — пропасть.

П л а т о н
Держите их! Внизу — шальной поток…

Х у м а р
Летим?

Ш е й х-С а н а н
Летим!

Х у м а р
Прощайте!

Ш е й х-С а н а н
С нами бог!
(*Рука об руку, бросаются с обрыва.*)

Г р у з и н ы
Их больше нет.

М у с у л ь м а н е
Их нет.

П л а т о н
О боже, боже,
Ты покарал меня. Я уничтожен.

С в я щ е н н и к
Платон!

П л а т о н
Ах, дочь моя!

С в я щ е н н и к
Да ну, не плачь!..

П л а т о н
(*бросается на него с кинжалом — грузины удерживают*)
Ведь это ты убил ее, палач!

Ш е й х-Х а д и
Спуститься бы! Здесь выплыть тоже можно…

М у с у л ь м а н е
Пойдемте!

Г р у з и н ы
Вместе!

П л а т о н
Это безнадежно.

З а н а в е с

ЭПИЛОГ

Ясная майская ночь. Поодаль от Куры зеленый, утопающий в цветах склон горы. Шейх-Санан, держа Хумар в объятиях, задыхается, но делает попытку подняться на вершину горы, однако у него нет больше сил. Он опускает бездыханное тело Хумар на землю, кладет ее голову себе на колени и гладит ее растрепанные кудри.

Ш е й х-С а н а н
О мой бутон, весна моя, Хумар,
О украшенье бытия, Хумар,
Среди замшелых скал, речного гула
Зачем ты так таинственно уснула?
(*Осматриваясь*)
Какая красота: луна, гранит,
И как она спокойно, сладко спит!
(*Целует ее в лоб.*)
Пред этой тишью и ее царицей
Архангелы готовы преклониться.
В мерцаньи этой ночи, этих чар
И сам творец любуется Хумар.
(*Разглаживая ее кудри*)
Спи под покровом голубого дыма,
Спи целомудренно и нерушимо,
Спи, девственной душою ввысь летя,
Спи крепко, луноликое дитя...

Ш е й х-Х а д и
(*быстро подходя*)
Шейх, шейх, очнись от тягостной дремоты.

Ш е й х-С а н а н
Что ты кричишь? Чего ты хочешь? Кто ты?

Ш е й х-Х а д и
О шейх, убийцы рыщут по пятам,
Пойдем со мной, пойдем скорее к нам!

Ш е й х-С а н а н
Ты, видно, пьян. Иди, беспутный, мимо.
Ты потревожишь сон моей любимой.

Шейх-Хади хочет проверить пульс у Хумар, Шейх-Санан бьет его по лицу.

Ты хочешь разбудить ее, подлец!
Ступай же прочь, или тебе конец...

Ш е й х-Х а д и
О шейх, так оскорблять меня — жестоко.
Твоя Хумар, увы, теперь далёко —
На берегах иных, безбурных рек:
Она разлучена с тобой навек.

Ш е й х-С а н а н
Ах, полно! Ангел не подвержен смерти.

Ш е й х-Х а д и
Увы, мой шейх, взгляните и проверьте.

Ш е й х-С а н а н
(*гневно*)
Глупец, меня оспаривать — тебе ль?

(*С подозрительностью безумного*)
А может, у тебя другая цель?

Подходит Шейх-Марван.

Не приближайся, дьявол одноглазый.
Не подходи. Убью обоих сразу.
Предательство не сможет вам помочь.
Вас породила ночь. Уйдите в ночь.

Оба отходят и издали наблюдают за ним: Шейх-Марван — зло и настороженно, Шейх-Хади — горестно и сочувственно.

Ш е й х-С а н а н
Хумар, проснись. Хумар, пора проснуться.
Уйдем отсюда. Нам нельзя вернуться.
Враги везде. Нам не дадут житья.
Хумар, проснись, любимая моя!
(*Целует руку Хумар и, опустив, видит, что рука бесчувственно падает. Целует Хумар в глаза, в щеки, гладит ее волосы, растерянный и потрясенный.*)
О, неужели вправду нет надежды?
Хумар, ты мне не отвечаешь? Где ж ты?
(*Смотрит на нее и вдруг начинает хохотать.*)
Рок, ты смеяться вправе! Смейся, рок!
Мне ангел изменил — я одинок.
Неверный ангел мой меня покинул,
И сердце мне пронзил, и душу вынул.
(*Спохватываясь*)
Хумар, я не обидел ли тебя?
Быть может, замолчала ты, скорбя?..
Ну, не грешно ль в пути оставить друга?
(*Другим тоном*)
И все-таки я ускользну из круга:
В твоем коварстве есть один изъян,
Тебя везде найдет глупец Санан.
(*Долго смотрит на нее.*)
Бескровное лицо, худые пальцы...
Хумар, проснись! Пора в дорогу! Сжалься!
(*Пытается поднять ее, потом с горечью обращается к небесам*)
А милосердье? Где оно, творец?
А милость божья?
(*Глядя на Хумар*)
Нет, всему конец!

В отчаяньи обращает взор то к небу, то на Хумар, то на шейхов и, наконец, остановив его на Хумар, с тяжелым вздохом падает.

Ш е й х-Х а д и
Ушел и он. Погас, как звезды утра.
Потух наш светоч, наш учитель мудрый.

Ш е й х-М а р в а н
(*с притворным волнением*)
Но, может, он без чувств? Ты погляди...

Ш е й х-Х а д и
Нет, все его страданья позади.

Ш е й х и и м ю р и д ы
(*подходят и начинают причитать в присущей им манере*)
Ужасно счастье их, но возвышает!

Прекрасна гибель их, но устрашает!
Проснитесь, встаньте, пленники любви!
Аллах, благослови их, оживи!
Великий шейх, восстань, завет исполни,
Веди нас к цели средь лучей и молний!

Грузины
(*подбегают и начинают причитать в присущей им манере*)
Боже правый, что случилось?
Что стряслось, скажите, люди?
Отчего мы все рыдаем?
Не вздохнуть нам полной грудью!
О, проснись, невеста мая,
Средь зеленого пожара!
Горы Грузии в печали,
Встань, прекрасная Тамара!

Шейхи и мюриды
Аллах соединиться им помог,
Но позавидовал убийца-рок!
Весна надежды обратилась в пепел...
Где мудрость шейха, где великолепье
Жены его, красавицы Хумар?
Аллах, верни нам свой бесценный дар!

Грузины
О Тамар, как ты поблекла!
Где цветка живого шелест?
Где его младая свежесть,
Где его святая прелесть?
Ты припала к звонкой чаше —
Меду было слишком мало...
Пробудись, уснувший ангел,
Встань, прекрасная Тамара!

Дервиш
(*спускаясь с горы*)
Но ведь они ушли — Санан с Хумар?
Кто ж этим причитаниям внимал?
(*Указывая на умерших*)
Увы, они не спят, они не дремлют:
Кто слеплен из земли, вернется в землю.

Шейхи и мюриды
Ты что-то знаешь? Так скажи ясней!

Грузины
Что знаешь ты о нем или о ней?

Дервиш
Что вам сказать? Вы суетны и глупы.
По сути, это вы живые трупы.
Но в вышине — увидит зоркий взгляд —
Санан с Хумар, как ангелы, парят.
И если б вы не плакали, не пели,
А ввысь, сосредоточась, поглядели, —
Кто волю бога сердцем принимал,
Увидел бы Санана и Хумар.

Все притихли. Дервиш поднимает правую руку к небу.

Вон, вон они — глядите в небеса!
Вон Шейх-Санан — и он летит к Тамаре...

Все смотрят в небо. Шейх-Хади и Шейх-Садра задумчивы.

Ш е й х-М а р в а н
Немыслимы такие чудеса...

Ш е й х-Н а и м
Нет никого среди небесных марев...

Д е р в и ш
Увы, кто слеп душою, глух умом,
Их не увидит в небе голубом,
Но я их вижу: вон они...

Свет на сцене гаснет, в углу поднимается второй занавес.
Хумар и Шейх-Санан, рука об руку, витают в облаках.

Г р у з и н ы
Да, верно!

М у с у л ь м а н е
Вон шейх летит в голубизне безмерной...

Г р у з и н ы
А вон Тамар...

Д е р в и ш
Кто сердцем чист, взгляни:
Летят и улыбаются они.

В с е
Да, да, они смеются и ликуют...

Д е р в и ш
Велик аллах! На небе не тоскуют...
Они, как две звезды, пустились в пляс,
Боюсь, они хотят покинуть нас.

Подходит священник,
с недоумением смотрит то в небо, то вокруг.

В с е
Ах!

М у с у л ь м а н е
Исчезают..

Г р у з и н ы
Кажется, исчезли...

Д е р в и ш
У трона божья, в глубине небес ли,
Оденет их непреходящий свет.
Но здесь их больше нет. Их больше нет.

Занавес в углу опускается. На сцене загорается свет.

С в я щ е н н и к
(*выходит вперед, всем*)
О глупцы, о суеверы,
Как легко вас обмануть!

Зло и грех не знают меры,
Вас уводит ложный путь.
Еретик, пришлец убогий
Напустил на вас дурман,
Но рассеет пастырь строгий
Злонамеренный обман.

В с е
(*священнику*)
Говорит в тебе гордыня,
И черства душа твоя.
Двое были в бездне синей,
За пределом бытия.
Сколь они чисты и святы,
Наши бедные друзья,
Знает ныне сонм крылатый
За пределом бытия.

С в я щ е н н и к
Двое грешных, любострастных
Не войдут в господень рай.
Избегай путей опасных
Иль в геенне полыхай.
О несчастные безумцы,
Кто отсюда видеть мог,
Будто две души несутся
В неизвестность без дорог?

В с е
Двое, двое из юдоли
Вознеслись, как Иисус,
От страданья и от боли,
Сбросив плоти ветхий груз.
Нам осталась на потребу
Повесть грустная сия,
А они умчались к небу,
За пределы бытия.

К о н е ц

Из книги «Пьесы», т.2.
Гусейн Джавид. — Баку : Язычы, 1982.



Войти в Храм Любви

Обращение и осмысление творчества писателей, которые являются уже достоянием истории и культуры, с одной стороны, легко, с другой — трудно. Легкость подхода обусловлена тем, что вся их жизнь и творчество известны во всех подробностях, их произведения становились объектом многочисленных исследований, статей и размышлений. Трудность заключается в том, что новая эпоха, современные требования читателей, слушателей и зрителей побуждают к иному осмыслению и прочтению их произведений. Тем более что касается это драматургических произведений. Сегодня нам ясны инновационные подходы к прочтению и постановке пьес мировых корифеев литературы. Но, к сожалению, по известным нам причинам творчество не всех мастеров от литературы стало достоянием широкого круга читателей и зрителей. К ним без всякой натяжки можно отнести гениального азербайджанского поэта-философа, поэта-драматурга Гусейна Джавида. Уважаемому читателю, не знакомому или мало знакомому с его творчеством, может показаться слишком пафосным определение, данное его соотечественником, однако я должен уверить вас в обратном. Попытаюсь обосновать свою позицию.

Во-первых, как вам уже стало известно из биографических данных, любезно представленных читателю Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Али Теймур оглы Нагиевым, Джавид был репрессирован, и большинство его произведений, естественно, попало под запрет. И долгое время, вплоть до конца XX столетия, хотя они уже были известны в изданиях его произведений, некоторые из них еще не получили сценического воплощения у себя на родине. (Инерция мышления или стереотип советского подхода?!)

Во-вторых, безусловно связанных с «во-первых», некоторые пьесы его в переводе появились лишь на русском языке и только к концу прошлого столетия. То есть, он почти не известен мировой читательской общественности. Если прибавить к этому и неизвестность постановок его пьес на других языках, то все становится ясным и достаточно аргументированным.

Однако наряду с указанными объективными предпосылками к его неизвестности читательской публике мы позволим себе высказать свои соображения относительно планетарного значения Гения Гусейна Джавида, которые могут быть восприняты не менее объективными, чем те, о которых мы высказались выше.

Для начала определимся по поводу планетарного мышления азербайджанского философа, поэта-драматурга. По нашему мнению, планетарность обещает вместить в себя общечеловеческие проблемы и чаяния, указать пути выхода из невежества, животной природы, человеческих страстей, познания себя в макрокосмосе и микрокосмосе во Вселенной.

Вся история философии, культуры и литературы давным-давно доказала, что именно такое изображение и осмысление делало разнонациональных писателей носителями мировых идей.

Сколько бы ни пыталось советское литературоведение, апеллируя к штамповым выражениям «но выводы его были расплывчатыми и абстрактными», «но Г. Джавид далек от мысли сделать из этого какие-то реальные выводы», «но протест этот романтически расплывчат», «несмотря на то, что сам поэт назвал себя певцом любви и красоты («Мой бог — красота и любовь»), в стихах его нашла отражение общественная жизнь того времени», «сложен и противоречив был творческий путь Г. Джавида», привязать его идеалы к революционной борьбе — ничего из этого не получилось. Видимо, не отказываясь от советских идеологических установок, они не только так и не смогли приблизиться к верному пониманию поэтического текста, идейных интенций, глобаль-

ных прогнозов писателя мирового масштаба, но и не смогли не признать исключительность его творчества, его историческую, человеческую объективность, далекие от революционной борьбы.

Замкнутость на примитивных революционных посылах не давала возможности литераторам-идеологам вникнуть в духовный процесс развития писателя: рождение в семье священнослужителя, получение духовного образования в Иране, светского образования в Турции, преподавательская деятельность (азербайджанский язык и история литературы в средней и высшей школах Азербайджана), его пребывание в Западной Европе… А ведь эти события жизни давали достаточную пищу для суждения о человеке, вобравшем в себя не только древнюю восточную литературу (а знания арабского и персидского языков позволили ему читать их в оригинале), но и знания о западноевропейской философии, литературе и культуре.

Если виртуально сместить пространственно-временные границы, то, на наш взгляд, при условии такой же известности благодаря переводу произведений на мировые языки, Гусейна Джавида вполне можно было бы поставить по значимости в один ряд с Шекспиром. Если Гете были бы известны произведения азербайджанского поэта-драматурга, то в своем «Западно-восточном диване» он так же высоко бы вознес его имя, как сделал это с именем азербайджанского классика Низами. Это виртуальное обозначение можно было бы продолжить до бесконечности. Однако, учитывая ограниченные возможности статьи, мы лишь вкратце остановимся на одном аспекте-концепте «любовь», который проявлен во всем его творчестве.

В Коране говорится: «Те, кто верят, обладают великой Любовью к Богу». Пророк Мухаммед сказал: «Обладающий сильной Любовью к Богу беспорочен в Любви и хранит свою влюбленность в тайне от других; он, несомненно, умрет святым». Джавид хочет видеть человека Совершенным, поэтому он требует от него не мирской любви, которая возникает от красоты преходящих форм и в результате сама становится преходящей. В понимании поэта любовь человека — это результат Любви Бога. Любовь — один из его Атрибутов. Любовь — Атрибут Божественной Воли, тогда как Воля — Атрибут Божественной Сущности. Любовь — это то совершенство, которое схоже с совершенством Бога. Когда любовь сливается с влюбленным, тот перестает быть просто рабом и не будет больше погружен во временный мир, наполненный греховными соблазнами.

Джавид считает основой сотворенного мира Любовь, которая насыщается лучами движения, активности и света. Любовь — это совокупность всего совершенного в сущности человека. Интересно, что если Любовь для его персонажей сравнивается с огнем, заполняющим сердца их (ибо там обитает душа человека, стремящаяся к своему Источнику), то разум их должен проявить себя как Вселенский Разум. Шейх-Санан не сгорает в пожаре, разожженном для его уничтожения злодеями, он одержим любовью-огнем к Богу-Истине и через Него к земной возлюбленной, его не могут сломить ни лютая вражда окружающих-иноверцев, ни презренные взгляды единоверцев. В человеческих страстях, в которых отсутствует духовность, читай Любовь, торжествует Дьявол!

Где зарождаются противоречия, бедность, нищета, злоба, жестокость, войны? У Джавида на этот вопрос один ответ: там, где отсутствует Любовь. Не в оппозиции ли жестокого и благородного представлены герои драмы «Марал» и «Шейх-Санан»? Не выразителями ли высоких демократических идей являются Шейда из одноименной пьесы и Ариф из драмы «Иблис» («Дьявол»)? Некоторые критики пытались обвинить Джавида в альтруистическом тоне его героев, якобы лишенных активной деятельности. Да, трудно понять духовный поиск людей, которые ищут совершенства в заблудшем в грехе мире, пытаются найти пути своего совершенства, хотя бы даже индивидуального, но полного Любви ко всему окружающему, в первую очередь, к людям без национальной принадлежности и вероисповедания. Как близки и знакомы нам сегодня эти сокровенные чувства его персонажей, как бы нам хотелось войти в этот Храм Любви, где есть Единый Бог для всех и высокая нравственность… А может быть, и сегодня нас тоже могут обвинить в чрезмерном альтруизме…

Таково величие Гения Джавида, который еще до конца не раскрыт, который ждет искателя всех пластов его иносказательного текста, который своей Любовью взывает к вере в Абсолютный Разум, который верит в красоту и любовь Совершенного Человека.

Руководитель Центра азербайджанского языка и культуры при БГПУ им. М. Танка профессор Рафик Новрузов.

ГЕОРГИЙ ПОПОВ

Откуда течет «Нёман»

27 июля 1970 г.

Звонил Евг. Евтушенко. Его волнует судьба поэмы. «Штамп стоит?» Нет еще, говорю. «Как поставят — дай телеграмму». Он имеет в виду штамп Главлита.

Между прочим сказал, что его приглашают на Байкал, в Египет и Перу. От Египта он отказался наотрез, а на Байкал и в Перу поедет. На Байкал, в Белоруссию, а потом уже в Перу.

Макаенок, когда я передал ему телефонный разговор, — заметил:

— Отказался ехать в Египет — это понятно. Боится упасть в глазах евреев.

28 июля 1970 г.

С поэмой такая морока, какой мы и не припомним.

Вторую неделю читает ее Главлит и не отважится дать визу. Читают — и ничего не могут понять. Дело дошло до того, что Бр. Спринчан сел рядом с цензором (Иваном Петровичем), прочитал всю поэму от начала до конца и растолмачил все, что тому было непонятно.

Иван Петрович обрадовался:

— Вот теперь ясно и понятно... Теперь никаких вопросов.

Однако прошло после этого три дня, а воз и ныне там. Наконец наше терпение лопнуло, и вчера Макаенок позвонил Маркевичу, начальнику. Оказывается, послали корректуру в Москву и ждут, что она скажет.

31 июля 1970 г.

Ну-с, Москва, наконец, сказала «добро». Вчера забрал корректуру из Главлита и, зайдя на почту, сразу же дал телеграмму Евтушенко: «Штамп стоит. Все в порядке. Ждем в Минске», как и уславливались.

Идет и снимок — Евтушенко вместе с Робертом Кеннеди. В Коктебеле на пляже он сказал:

— Этот снимок обошел почти всю прессу мира, а у нас ни разу не печатался. Вот бы дать!

И даем.

Мы, неманцы (не все, но многие), рассчитываем, что Евтушенко может помочь нам увеличить тираж на будущий, 1971 год.

Дай-то бог!

2 августа 1970 г.

Евтушенко в Швеции. Пресс-конференция. Вопрос:

— Есть ли в Советском Союзе цензура?

— Есть.

Журналист в недоумении:

— Недавно здесь выступал Кочетов. Он сказал, что цензуры нет… Кто же из вас прав? Кто искренен?

Продолжение. Начало в № 12, 2010 г., № 1,2, 2011 г.

— Оба правы и оба искренни. Каждый по-своему, — ответил Евтушенко.

Да, оба правы и оба искренни. Цензуры нет, у нас Главлит с ограниченными функциями, и все-таки она, цензура, есть.

В 1959 году мы хотели дать рассказ Ежи Путрамента «Пустые глаза» — Главлит снял его, ибо в рассказе действует Гитлер и, собака, ведь говорит и действует именно как Гитлер! Позже, года три-четыре назад, сняли (уже в ЦК, по сигналу Главлита) рассказ Арк. Савеличева «Счастливый». Причина? Да очень простая! Сосед помогает жене «счастливого» надеть новые туфли и… поглаживает ее ноги до колен и выше... Как же можно! Это же безнравственно!.. Наконец случай с Евтушенко. До Москвы, до ЦК КПСС поэма дошла, только там и решили. Спасибо, что решили положительно. Могло быть и хуже.

12 августа 1970 г.

Дважды звонил Евтушенко. Нет, не отвечает. Макаенок махнул рукой: пусть едет в Сибирь, а потом уже к нам.

Макаенок с понедельника (7 августа) в отпуске.

21 августа 1970 г.

Вчера ездили по грибы в коласовские места, за Миколаевщину. Набрали ведра три — боровиков и подосиновиков мало, больше лисичек и подберезовиков.

Владелец машины — Горбунов Петр Тимофеевич, сын того самого Горбунова, Тимофея Сазоновича, который долгое время был секретарем ЦК КПБ. Этому — последнему — Горбунову «Неман», в сущности, обязан своим рождением.

29 августа 1970 г.

Началась борьба за тираж будущего года. Разослали около двух с половиной тысяч писем с рекламными листовками. Дали полосы (куски) в газетах, собираемся выступить по телевидению. Наш минимум — сорок тысяч. Это трудно — добиться такого тиража, но — можно.

31 августа 1970 г.

Вчера проводил Аленку в Москву, в литинститут.

Вечер. На вокзале толпы людей (много молодежи), шум и гам, и какая-то неустроенность мира сего, и жалко ее стало. Хоть она и стреляный воробей, а все же... Всяко может быть.

* * *

Сегодня узнал, что издательство не выполняет заявку «Союзпечати». Девятого номера было затребовано 33877 экз., а печатаем 32 тысячи. Бумаги не хватает.

Вот и борись за тираж!

* * *

— Что вечно перед вечностью, перед лицом этих миллионов и миллиардов лет?

3 сентября 1970 г.

У Макаенка на даче.

Он пополнел — брюшко вываливается из штанов, лицо — что твой самовар, но настроение не ахти какое, поэтому и не работается.

Да и какая работа пойдет на ум, когда ты занят разводом. В следующую пятницу суд, а эта процедура не из приятных. Наболтает жена чего-нибудь сдуру, — попробуй потом опровергнуть.

Последнее, чувствуется, его особенно беспокоит. Сегодня (то есть, уже вчера) он хотел специально подъехать в Минск, чтобы поговорить с женой — последний раз перед судом… Она, говорит, уже написала в заявлении, что он, Макаенок, пьет, как бы не выкинула еще какой фортель. Потом, лет через десять, Сережка (сын) откопает дело в архивах, посмотрит — попробуй его разубедить.

Беспокоят его и денежные расчеты. Чтобы деньги не попали в руки будущему любовнику или мужу жены (он допускает и такую возможность), хочет предложить такой вариант: три тысячи на книжку ей самой, три — дочери, три — сыну. Так как сын несовершеннолетний, то до наступления совершеннолетия он, Макаенок, будет выплачивать ему еще по сто рублей в месяц. Ну, и вдобавок, квартира остается за ней. Дачу берет себе.

* * *

Разговаривал по телефону с женой Евтушенко. Кстати, зовут ее Галиной Семеновной.

Она сказала, что Евтушенко на Байкале, завтра-послезавтра должен звонить (из Иркутска), и тогда она передаст ему нашу просьбу.

А просьба наша состоит в том, чтобы Евтушенко числа 10 сентября был в Минске. Дело в том, что 12-го у нас телепередача, и хочется, чтобы он принял в ней участие. Это была бы лучшая реклама, какую только можно себе представить. Для «Немана», разумеется.

7 сентября 1970 г.

В прошлую пятницу (4 сентября) Макаенок развелся с женой.

* * *

Евтушенко пообещал приехать в Минск 11-го сего месяца. Что ж, как раз к передаче.

8 сентября 1970 г.

Звонит Матуковский:

— Слушай, когда Евтушенко приедет, познакомь нас, все-таки у него с «Известиями» старая дружба... И — имей в виду, у меня машина, если понадобится...

* * *

Юлька:

— Дедушка, а ты не забыл, что я люблю арбуз?

* * *

Опять Юлька, когда спутала нитки:

— Ой, запутала-замутала!

11 сентября 1970 г.

Самолет, по расписанию, прибывает в 12.00. Едем на вокзал встречать. Я и Бр. Спринчан — первыми — на такси. Следом за нами приехали Андрей Макаенок на своей «Победе» и остальные — А. Белошеев, Г. К., В. Кудинов и Л. Шакинко — тоже на такси.

Обращаемся в справочное бюро:

— Как самолет?

— Опаздывает на час.

Что делать? У Макаенка какие-то дела в театре (на завтра намечается пятисотый спектакль по «Левонихе на орбите»), и он уехал утрясать эти дела. Мы остались ждать.

Без пятнадцати час. Вдруг кто-то пускает слух, будто самолет из Москвы уже приземлился. Бежим сломя голову туда, бежим сюда, — нет Евтушенко. Спрашиваем пассажиров, кто откуда, — из Львова, Риги, даже из Гродно, а из Москвы нет и нет.

И вдруг… даже глазам не верится… Навстречу шагает Василь Быков с толстым портфелем-сумкой. Все наши аплодируют — полушутя-полусерьезно, — раздаются выкрики вроде того, что, мол, этот гость стоит того, которого мы ждем.

В это время к неманцам примкнул Алексей Слесаренко, с нами остался и Василь Быков.

Скоро вернулся и Макаенок.

— Не прилетел?

— Не прилетел...

Ждем. Волнуемся.

Наконец приземляется «АН-10», подруливает к аэропорту. Впятером — Макаенок, женщина-администратор филармонии, еще двое из той же филармонии (один из них, кажется, директор) и я спешим самолету.

Пассажиры один за другим спускаются по трапу. Евтушенко нет и нет. «Может, не прилетел?» — думаю. Ждут, волнуются и остальные, особенно, вижу, Макаенок. Наконец появляется долговязая фигура в синем вельветовом костюме, в плаще и экстравагантной вязаной шапочке с хохолком. Сходит, сперва подает руку женщине из филармонии (Нине Васильевне), потом целуется с Макаенком, со мной, знакомится с остальными.

Идем к аэропорту. Увидел Василя Быкова, — улыбается, подойдя, — обнимает и целует его, знакомится, здороваясь за руку, со Спринчаном, К., Слесаренко, Кудиновым, Шакинко. В машину Макаенка садимся вчетвером: Евтушенко, сам Макаенок, Быков и я. Гостиница, редакция и наконец квартира. В гостинице — разговор с администрацией филармонии. Просят дать два вечера. Евтушенко отказался, как отрубил:

— Один! Я не артист, а поэт, хватит и одного.

В редакции пробыли совсем недолго — минут двадцать. Прошлись по всем кабинетам, познакомили его со всеми сотрудниками, которые не были в аэропорту, и тронулись дальше.

* * *

Когда подъехали к дому, Евтушенко и я вылезли и стали подниматься на четвертый этаж. Макаенок остался в машине — что-то сказать (или наказать) шоферу.

Лестничная площадка, как и весь пролет, в пятнах — дом не ремонтировался вот уже восемь или девять лет, с тех пор, как был построен, — всюду мусор и вдобавок из квартир истекают какие-то запахи, не всегда приятные...

Василю Быкову довелось бывать в высотном доме, где сейчас живет Евтушенко (кажется, у Твардовского), и он с улыбкой заметил:

— А что, там (имелся в виду дом на Котельнической набережной) квартирки-то получше!

Евтушенко засмеялся:

— Я стыжусь не только говорить, а и вспоминать про те квартиры...

Он хотел что-то добавить, но в это время мы остановились, и я нажал на кнопку звонка и одновременно всунул ключ в замочную скважину. Мы вошли. Я включил свет, предложил раздеваться, проходить, словом, все как полагается в таких случаях.

Знакомлю. Валентина, Наташка... Проходим в комнату. Стол уже накрыт — садись и начинай пировать. Валентина постаралась на славу. Какое-то время спустя входит и Макаенок. Позже явились Спринчан и Белошеев, потом — Геннадий Буравкин, — и наконец Г. К. Последнего я не приглашал и не думал приглашать, он явился сам, по своей охоте, явился как ни в чем не бывало, лишь бы выпить с Евтушенко.

Но это было позже. А пока мы постояли, посидели, посмотрели кое-какие книги (я показал роман Бориса Савинкова «То, чего не было») и лишь после этого стали усаживаться, Евтушенко — во главе стола, по левую руку от него Быков, с другой стороны — я, Макаенок, Валентина, напротив Евтушенко — Наташка… Первый тост — за гостей, — то есть за Евтушенко и Быкова. Василь Быков поправил: «Не за гостей — за гостя!» — и мы выпили за Евтушенко. Потом — за хозяев, потом... не помню, за кого.

Знакомя с Наташкой, я заметил:

— Это и есть та самая испанистка, о которой я говорил в Коктебеле.

И теперь, за столом, они довольно бойко болтали по-испански. Время от времени Евтушенко переводил разговор, попадались колкие реплики в его адрес,— и сам же смеялся.

Обед всем понравился. Самое большое впечатление произвели пресные блины с маслом. На них навалились дружно — и Евтушенко, и Быков, и особенно Макаенок, — Валентина едва успевала подавать…

* * *

В Хатынь поехали вчетвером: Евтушенко, Макаенок, Буравкин и я.

Логойское шоссе. Леса по сторонам. Листья кое-где побагрянели и пожелтели и виднеются далеко, оживляя пейзаж. Местность холмистая. Где-то за Острошицким Городком Буравкин заметил:

— Наша белорусская Швейцария!

Евтушенко вдруг примолк, пригляделся:

— Красиво! — И опять заговорил о чем-то, бойко и оживленно. Он вообще болтал в дороге больше, чем кто-либо другой.

В Логойске остановились, вышли из машины. Еще в Минске Буравкин сказал, что здесь есть родник, из которого бьет вкусная вода. Вот к этому-то роднику мы и направились вчетвером. Подошли, зачерпнули ладошками, напились. Евтушенко принимался пить раза два или три и все похваливал водичку: мол, хороша, хороша!..

Леса то подступают вплотную к шоссе, то отходят, как бы открывая покрытые стерней, а кое-где и распаханные косогоры.

— Партизанские леса, — говорю я.

— Да, партизанские, — как эхо отзывается Буравкин.

Тишина, безлюдье... Это чувство — чувство тишины и безлюдья — не покидает нас до самой Хатыни. Когда стали подъезжать, все как-то примолкли, даже Евтушенко перестал болтать и насупился. Так — молча — вышли из машины и молча побрели к мемориальному комплексу. Только возле монумента разговорились мало-помалу. Я сказал, что фигура (как она сделана) мне не нравится. Буравкин и Макаенок поддержали меня: слишком громоздка... Евтушенко не согласился. По его словам, фигура хотя и давит немного на весь комплекс, все же интересна с чисто художественной точки зрения и не может не производить впечатления.

Народу было немного — ходило человек пять-шесть одиночек, — и в этой тишине как-то особенно веско, четко и волнующе звучали колокола. Мы прошли в самый конец, разглядывая надписи и прислушиваясь к дальнему и ближнему бою колоколов, постояли на возвышении и повернули назад. Евтушенко расспрашивал о Хатыни, о других местах, где зверствовали немцы, Буравкин (он лучше

нас с Макаенком знает это дело) отвечал, называя по памяти цифры. Иногда мы останавливались, читали имена бывших жильцов той или иной хаты…

— Сильное впечатление производит все это! — качал головой Евтушенко.

Перед тем как покинуть Хатынь, мы постояли у экскурсии. Экскурсантов было немного, человек тридцать. Женщина-экскурсовод очень громко и как-то заученно, а значит, и равнодушно произносила слова, которые мне лично показались совсем, совсем ненужными.

— Да, этого не забудешь! — опять вздохнул Евтушенко, последний раз окидывая взглядом весь Хатынский мемориальный комплекс, в том числе и громоздкую бронзовую фигуру мужчины с ребенком на руках.

* * *

После Хатыни — Курган Славы на Московском шоссе, — он тоже произвел большое впечатление. Вид с вершины изумительный. Поля, перелески, леса на горизонте. Кажется, в Белоруссии, где так тесно от лесов, рек, озер и деревень, трудно найти место, откуда открывался бы такой далекий простор.

По плану после Кургана Славы мы должны были вернуться в Минск. Но Макаенок нарушил этот план. Когда стали подъезжать к городу, он дал команду повернуть по кольцевому шоссе вправо, и минут через двадцать мы очутились у него на даче. Здесь нас ждали Василь Быков (как он здесь очутился, не представляю) и Бронислав Спринчан. А полчаса спустя явился и Иван Шамякин. Наскоро собрали на стол, и начался пир горой.

Макаенок принес свои наливки (четырех или пяти сортов — прямо из погреба), достал настойки из березовых, липовых, дубовых, тополевых почек и — вместе с Евтушенко — стал колдовать, смешивая, добавляя по капле для аромата и вкуса то одно, то другое. Впрочем, пили мало, во всяком случае, не настолько много, чтобы опьянеть вдрызг. Болтали о разных разностях, о литературе, разумеется. Василь Быков, как и у меня дома, был сдержанным, немногословным. Нажимал на закуску.

Вдруг Евтушенко, обращаясь к Быкову и даже хлопая его по спине, спросил:

— Слушай, сколько у тебя вещей, которые еще не напечатали?

Быков пожал плечами:

— Ни одной! Все, что я пишу, печатается.

— Ну вот... А ты... — казалось, укоризненно протянул Евтушенко.

Разъезжались часов в десять. Евтушенко, Быков, Буравкин и я поехали прямым ходом в Минск. Спринчану в нашей машине места не хватило. Его Шамякин подбросил до автобусной остановки.

12 сентября 1970 г.

Телевизионная передача была назначена на 13.55. Мы, участники передачи, собрались к одиннадцати часам. Евтушенко здесь еще не было, — накануне мы договорились, что приедем за ним в гостиницу в 13.00, не раньше.

Звоню с телестудии, спрашиваю, как настроение, что он сейчас делает.

— Пишу стихи! — голос какой-то отрешенный.

Напоминаю о вчерашнем уговоре, прошу в 13.00 быть на месте, в номере, и кладу трубку.

После предварительного «прогона» берем с Макаенком такси и едем в гостиницу. Евтушенко одет, выглядит бодрым и очень довольным. Когда мы с ним шли по коридору гостиницы, он, показывая на свой костюм стального цвета, сказал:

— Семьсот долларов!..

Я усомнился — что-то слишком дорого, хотя костюм, прямо скажем, сшит недурно.

— Семьсот. Точно. Шил парижский портной, который шьет и Жану Маре.

На студию приехали, когда до начала передачи оставалось еще минут пятьдесят. К этому времени нагрянул и Иван Шамякин. Сфотографировались в сквере, рядом с помещением студии, и пошли в саму студию. Здесь, в кабинете, Евтушенко вдруг оживился:

— Хотите, я прочитаю вам стихи, которые только что написал?

Бог мой, конечно, хотим.

Он сел у окна, достал листок бумаги, исписанный немыслимыми каракулями, и начал читать стихи о Хатыни. Читал великолепно, и стихи, при всей их неотделанности, были недурными, и все это произвело впечатление. Аплодировали. Хвалили. Он был доволен.

— Не хуже Кончаловской? — подмигнул Макаенок.

— Ну! — тот протестующе передернул плечами.

О стихах Натальи Кончаловской в «Правде», посвященных Хатыни, мы говорили вчера, когда ехали к Кургану Славы. Евтушенко возмущался: «Так плохо написать…» Макаенок его поддерживал. Буравкин тоже.

* * *

После мы слышали отзывы, будто передача получилась интересной. Но я недоволен ею.

Было какое-то напряжение, казалось, вот-вот кто-нибудь сорвется и испортит все дело. Г. К. говорил вяло — не говорил, а резину тянул, — к тому же, неправильно ставил ударения в словах, и это меня коробило. Потом Макаенок... Не Цицерон, нет, хотя перед выступлением написал речь и порядком вызубрил ее. Потом я… У меня было чувство, что мы затягиваем, и я часто заглядывал в бумажку, на ходу выбрасывая целые абзацы. Потом — Шакинко, Савеличев, Спринчан... Наконец Евтушенко... Впрочем, передо мной выступала еще Наталья Татур, а потом уже я и все остальные. А под конец опять Г. К. и Макаенок, — последний отвечал на вопрос кого-то из телезрителей, переданный по телефону.

Гвоздем программы был, конечно, Евтушенко. И говорил он хорошо, и стихи читал как надо. А стихотворение про Хатынь прозвучало кстати и великолепно, несмотря на отдельные слабые строчки.

После передачи (она длилась час) телевизионщики записали Евтушенко на пленку (полчаса времени), и мы разошлись. Мне надо было позвонить собкору «Известий» Матуковскому и договориться с ним насчет машины на завтра. У Макаенка в этот вечер был 500-й спектакль «Левонихи» в Купаловском театре. На спектакль, а потом и на банкет он пригласил и Евтушенко.

8 октября 1970 г.

Ну-с, Евтушенко уехал, а дело его живет.

Вспоминают часто — и с неизменным уважением, даже — случается — с восторгом. И в этом нет ничего удивительного. Большой поэт, яркая, самобытная личность.

Но в официальных, что ли, кругах реакция иная, чем в литературных. Вчера в редакцию препожаловала некто Галина или Марина Павловна, кажется, инструктор отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС, то да се, и Сименон ей не по душе, и «Белый пароход» Чингиза Айтматова не по нраву. Разговариваю с нею (присутствовали также Товстик и Белошеев), а все кажется — главное впереди. И правда, уже под конец, перед тем как попрощаться, вдруг начинает о Евтушенко. «Как поэма попала к вам? Зачем напечатали фотографию с Робертом Кеннеди?» — и так далее, все в этом роде.

Разговор был долгий и оставил тягостное чувство. Как будто наелся хрена с редькой и все время тебя мучает отрыжка. А может, эта Галина или Марина и есть отрыжка? Отрыжка печально памятных времен культа личности?..

Ой, как грустно на этом свете, господа!

11 октября 1970 г.

А. Солженицыну дали Нобелевскую премию. Интересно, возьмет или откажется, как это сделал Пастернак, — вот вопрос.

15 октября 1970 г.

Приезжала Аленка. Пожила несколько дней и опять отправилась в град-столицу.

Учится и работает, вернее — работает и учится. Делает пьесу о художнике, не помню, как она называется. Первый вариант вышел хорошим, но... крамольным, а значит, и неперспективным. Второй — хуже, слабее во всех смыслах. Посмотрим, каким будет этот, третий.

Вообще девка, кажется, делает не то, что сейчас надо, и в этом ее беда. Евтушенко очень понравилось «Житие папы Карло», но сейчас, говорит, это не напечатаешь — надо ждать. А известно, нет ничего хуже, как ждать и догонять...

21 октября 1970 г.

Чудеса твои, господи, да и только! Давно ли мы хвалили роман Вс. Кочетова «Чего же ты хочешь?», давно ли этот роман наше издательство выпустило 65-тысячным тиражом, а сейчас его начинают помаленьку изымать из библиотек. Без шума, без свиста, но изымать!

А кто виноват? ЦК, кто же еще! ЦК нажимал и проворачивал… Если бы этот же самый ЦК больше доверял нам, работникам журналов, и больше бы полагался на нас, было бы куда лучше. Во всяком случае, меньше было бы всяких накладок вроде кочетовской. А то давят, давят — то ЦК КПСС (инструктора, кстати, зовут Галина Павловна Колупаева), то ЦК КПБ, то цензура, тупая, нерассуждающая… Попробуй в таких условиях делать журнал!

4 ноября 1970 г.

Макаенок в Москве, на пленуме Союза писателей, посвященном, кажется, драматургии.

* * *

У нас осложнения с записками Бориса Микулича. В КГБ держат, тянут, не говоря пока ничего определенного. Из телефонных разговоров ясно только, что Б. И. не нравится, что лагерь обрисован черными красками (как будто это курорт!) и еще что-то в этом роде, что именно — трудно понять. Разговоры полны намеков и полунамеков. А нам сдается, что главное в другом. В записках нарисованы мрачные типы фискалов, Алеся Кучера и др. Они осуждаются, клеймятся безоговорочно. А осудить, заклеймить их — значит, пусть косвенно, но осудить, заклеймить и всех нынешних фискалов, работающих на КГБ. Вот ведь как все оборачивается.

14 ноября 1970 г.

Макаенку в связи с пятидесятилетием дали орден Трудового Красного Знамени. Юбилей отметил скромно, у себя на даче. Никаких торжественных вечеров с докладами и речами. Я болел и не был на юбилее, о чем не жалею. Что-то фальшивое есть в подобных встречах, поздравлениях и поцелуях…

19 ноября 1970 г.

Записки Бориса Микулича зарезали начисто, так сказать, под корень.

Вчера вызывает меня С. В. Марцелев. То да се, как дела, над каким номером работаете и так далее в этом роде. А потом — р-раз! — как обухом по голове:

— Сколько экземпляров записок Микулича отпечатала машинистка?

— Пять, — отвечаю. — А почему это вас интересует?

— Так вот, все пять соберите, один дайте мне, а остальные заприте у себя в сейфе. И — никому не показывайте!

— В чем дело?

— Так надо! — вот и весь ответ.

А сегодня и Макаенок звонит. Оказывается, и его вызывал Марцелев, и ему сказал то же самое.

Кучер и др. могут ходить и радоваться.

23 ноября 1970 г.

Странная это штука — «Другая планета», — тянет, и все тут. И чувствую, не брошу, пока не напишу, хотя и не питаю надежды, что ее можно будет напечатать.

25 ноября 1970 г.

Галина Павловна аукнула. Вчера звонила Марцелеву. Ей, видите ли, не понравился наш одиннадцатый номер. Информация о Евтушенко, документальная повесть о каких-то Бонч-Осмоловских… Марцелев, разумеется, в страшном гневе: «Как? Зачем? Почему?» Разыскал меня в Союзе писателей перед собранием (по телефону) и выложил все начистоту, пригрозив оргвыводами.

Что ж, так и надо, мы знали, на что шли.

26 ноября 1970 г.

Приглашали в КГБ (не вызывали, а именно приглашали), к А. Д. Р. Но он был занят с кем-то из Совета министров, и разговор состоялся в каком-то управлении.

Вполне нормальный разговор, кстати сказать. Он свелся к тому, что печатать Микулича нельзя. Рано. И — выпускать из рук тоже нельзя. Там могут подхватить, раздуть и т. д. Вывод все тот же — собрать все экземпляры и запереть в сейф.

Мельком (кстати пришлось) коснулись Солженицына. Оказывается, о н и читали и «Раковый корпус», и «В круге первом»...

Я сказал:

— Дайте почитать! Ведь мы, литераторы, должны знать, что это за вещи.

Улыбнулись, пожали плечами:

— У нас был один экземпляр — изъяли в Бресте, на границе, — прочитали и переслали в Москву.

11 декабря 1970 г.

Приезжала Аленка. Я перепечатал ей пьесу «По ту сторону дождя» — о художнике-неудачнике... Пьеса, на мой взгляд, талантливая, есть куски (сон Никиты, например) гениальные. Но... но в общем впечатление чего-то громоздкого и не пригодного для сцены.

Сейчас Никита — фигура трагическая. Если бы ее, эту фигуру, сделать комической, то есть несколько сместить акценты, заострить ситуацию, — все стало бы на свои места. Дон Кихот от искусства — вот кто такой Никита. И это его не обижает и не принижает. Ведь, если разобраться, все, все — Шекспир, Толстой и Достоевский, сам Сервантес — Дон Кихоты и не больше. Они хотели исправить нравы, изменить человечество, указать ему новые пути... И что же вышло?

30 декабря 1970 г.

Вот и кончается год. Подписан первый номер, Борис Микулич не пошел, Лебедев обрезан (эпизод с Толочко)... Радует только тираж. Заказ поступил на 58 000 экз., даем 50 000. Бумаги не хватает. Розница сокращена до предела.

...С Новым годом, товарищи!

5 января 1971 г.

Год начался и хорошо, и плохо, все зависит от того, как смотреть.

Хорош тираж. Хотя восемь тысяч срезали (розницу), все-таки и того, что осталось, — дай бог каждому.

А плохо... Макаенок опять завел речь о том, что хотел бы уйти, да жаль — журнал попадет в дурные руки. Эти дурные руки — руки В. П., человека невежественного, далекого от литературы.

Если Макаенку жаль, то каково-то нам, положившим на журнал всю жизнь. Во всяком случае, последние двенадцать лет жизни! Ну, остальные немного меньше, однако... грустно, грустно!

29 января 1971 г.

Звонок из ЦК, от В. П:

— Макаенок?

— Его нет. Позвоните позже.

Кладет трубку.

В этот день Макаенок так и не явился. На другой его тоже не было. На третий заявляется жив-здоров, как говорится. Передаю, что звонил П. Снимает трубку, набирает номер: «В чем дело? Зачем я ему мог понадобиться?» Не отвечает. Наконец дозвонился. Слышит:

— Андрей, говорят, ты собираешься уходить из «Немана»... Как скоро?

— А что?

— Да я хотел бы на это место, то есть, на место главного...

— А кто говорит?

— Говорят...

— Не знаю, кто говорит, но они ошибаются. Я и не думал... А там что, в ЦК-то?

— Надоело, пора менять должность.

Мы подивились наглости человека, посмеялись. Потом Макаенок подхватился и — к Шамякину: «Надо Ивану рассказать, пусть посмеется!» На другой день я узнал, что Иван Шамякин и смеялся, и возмущался — все вместе.

12 февраля 1971 г.

Спектакль по пьесе «Затюканный апостол». Впечатление какое-то неопределенное.

Во-первых, спектакль как бы проявил, выпятил недостатки самой пьесы. То, что мы называем сюжетом, загнано вовнутрь. Макаенок не то что не признает сюжета как такового, а считает, что главное — характеры. Но в данном случае характеров нет и не могло быть — есть образы, воплощающие мысли, идеи, иными словами говоря, образы-идеи. А спектакль по такой пьесе все-таки скучноват.

Во-вторых, оформление... Условное, абстрактное перемешалось с реальным, и получилась мешанина, которая и разрушает впечатление. Что-то от Беккета, от «Годо» есть и в пьесе, и в спектакле. Только там мысль автора (а потом и постановщиков) обнажена до предела и впечатление было цельное и сильное.

И, наконец (впрочем, под конец-то надо было отнести оформление), артисты играли так себе. Малышу не хватало четкой дикции; текст пропадал, — а когда сюжет загнан вовнутрь, — выручить может лишь четко произносимый текст, если он достоин того, чтобы его четко произносить.

20 февраля 1971 г.

Был Лебедев, секретарь райкома партии, записки которого мы печатаем в «Немане».

Рассказывал о пленуме обкома, на котором он выступил с речью. И не с простой речью, а с речью острой, чуть ли не зубодробительной. Я думал, он громил и ниспровергал, — черта с два! — просто-напросто возмущался какими-

то комсомольцами, которые пропили собранные в фонд Вьетнама деньги. Рублей пятьдесят, кажется.

Я слушал и думал: до чего измельчали мы, коммунисты, если такое выступление выдаем за некую доблесть!

18 марта 1971 г.

Звонил Макаенок. Из Москвы. Ночью. Только что приняли спектакль по пьесе «Трибунал» (на Малой Бронной). Все очень хорошо, и он рад, почти счастлив.

Мы ожидали его в редакции 22-го, в понедельник, но в этот день сдается спектакль по этой же пьесе в Бресте... Хочет и туда ехать, как же иначе!

* * *

Макаенок все эти дни торчит в театре. В редакцию заглядывает лишь на часок-другой — задать традиционный вопрос:

— Ну, что нового?

Лебедев, когда звонит, разговор начинает всегда одним и тем же вопросом:

— Ну, как жизнь молодая?

Сначала представится:

— Лебедев… Из Березы… — А потом сразу, как бы заученно: — Ну, как жизнь молодая?

У Макаенка иная манера. Когда берешь трубку, то первым делом слышишь:

— Это я… — И лишь после этого: — Ну, что там нового?

А так как нового бывает слишком мало или, наоборот, слишком много, то и не знаешь, что сказать.

— Да ничего как будто, — тянешь неопределенно, а сам думаешь, вспоминаешь, что такого было в те дни, когда главного не было в редакции.

29 апреля 1971 г.

Съезд писателей Белоруссии. Все тихо, мирно, вполне благопристойно.

«Неман» наконец получил должную оценку, и это радует. Упрекнули лишь за то, что обошли молчанием юбилей И. М. Упрек справедливый, жаль, его не слыхал Андрей Макаенок, — это он запретил давать хоть строчку.

— Пусть он хороший писатель, но он — скверный человек, и я не хочу, чтобы его имя фигурировало в журнале! — Такими или почти такими словами выразил он свою мысль.

Российскую Федерацию представлял на съезде Александр Смердов. Вот встреча! 10 июля 1941 года, в день отправки на Запад, в действующую армию, я заглянул к нему в «Советскую Сибирь», где Смердов работал, кажется, литконсультантом. На столе у него лежала верстка его первой поэтической книжки «Письма с дороги». Он был молод, счастлив и, несмотря на войну, радовался вслух и сиял всем лицом.

Помню, зашли Илья Мухачев и Афанасий Коптелов. Мы втроем уселись на мягком диване, стоявшем при входе справа, Смердов остался за столом, держа руку на верстке книжки. Разговор зашел о войне, о том, что Россию немцам не победить и т. д. Илья Мухачев вдруг сверкнул глазом, слегка похлопал меня по спине и сказал:

— А знаете, что умному на фронте труднее, чем глупому? У Брюсова на этот счет есть интересная мысль: «Чем выше интеллектуально развит человек, тем он более трус»...

Потом Илья Мухачев читал вторую часть своей поэмы «Мой друг». Первая часть была опубликована незадолго до того в «Сибирских огнях», вторая находилась еще в работе, ее никто не знал, и мы все слушали, глядя на автора, крупного, мужиковатого на вид, читавшего негромким глуховатым баском.

После чтения опять разговоры о войне, о том, как долго она продлится. Разошлись часа через два, крепко пожав друг другу руки. Смердов пообещал при-

слать мне на фронт книжку «Письма с дороги», как только она выйдет. Увы! Его самого скоро взяли в армию. Книжку мне прислали из Анжерки сестры, я возил ее всюду с собой, и вот вчера, во время банкета по случаю закончившегося съезда, дал на подпись автору...

29 апреля 1971 г.

Игорь Шкляревский привез поэму «Сторожевая ветка». Читал в «Немане». Перед тем как читать, хвалил поэму, называя ее чуть ли не гениальной. Наверное, это и ослабило впечатление. Поэма показалась довольно-таки обыкновенной.

Будем печатать.

6 мая 1971 г.

Алексей Кулаковский:

— Что вы так стараетесь, Георгий Леонтьевич! Журнал хороший, — все считают, что это заслуга Макаенка, а чуть что не так, — Попов виноват… Свое, свое надо делать!

7 мая 1971 г.

На праздники (на первое и второе мая) приезжала Аленка. Привезла бывшую «Гостиницу», которая теперь называется «Где же ты, брат мой?..». Пьеса, кажется, хорошая, художественная. Если ее поставить, она будет пользоваться успехом, на мой взгляд. Но — кто поставит? Вот старый и вечно новый вопрос!

Между прочим, пьеса «По ту сторону дождя» понравилась Розову. По словам Аленки, он считает, что пьеса есть, причем, пьеса законченная — хоть сейчас в театр, — но... надо годик подождать.

12 мая 1971 г.

9-го Макаенок вернулся с Кубы, 10-го заглянул на часок в редакцию, а вчера улетел в Киев. У него там две премьеры сразу и — затем — съезд писателей Украины, на котором он будет представлять свою республику.

Настроение у него бодрое, приподнятое, он полон сил и желания работать. Куба произвела на него очень большое впечатление, а Фидель Кастро в особенности. Фиделя он считает самой яркой фигурой нашего времени.

* * *

У Ленки в институте состоялся семинар. Обсуждали «Художника». Мнение, в общем, у всех хорошее.

Провожая Макаенка в Киев, я в аэропорту вскользь, между прочим сказал ему об этом. Макаенок заинтересовался очень, как мне показалось. Попросил дать ему эту пьесу. Я сказал, что она, Аленка, хочет, чтобы он прочитал «Брата» (бывшую «Гостиницу»).

— Давай обе пьесы. Как вернусь — обе прочитаю. А вдруг удастся протолкнуть в министерстве!

…Если бы удалось!

16 мая 1971 г.

14 мая была редколлегия. Говорили долго и много, и в общем хорошо.

Журналом довольны. Раздался только один критический голос —Тарас Хадкевич выступил против публикации Жоржа Сименона. Но его никто не поддержал.

Когда редколлегия кончилась, узнали, что наш главный выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета республики. Позвонил в Киев, не смог связаться — оставил телефонограмму в Союзе писателей… Потом выпили — кубинский ром — за того, кто вез этот ром через океан.

21 мая 1971 г.

Звонок из Москвы. Беру трубку.

— Это Марта Яковлевна. Из Театра сатиры… Где Макаенок?

Объясняю.

— Как вернется, скажите, пожалуйста, пусть немедленно, сейчас же позвонит к нам в театр. Скажите, это очень важно. — И потом, после разговора о том о сем: — Он ведь теперь у нас драматург номер один!

22 мая 1971 г.

В «Неман» повалила всякого рода антисоветчина. Нас и раньше не забывали, а сейчас, кажется, прямо-таки возлюбили, как самых ближних.

Сперва прислали (кто? — вот вопрос) программу ненасильственного изменения существующего строя. На тонкой бумаге, без интервалов — шесть страниц. Первый экземпляр. Шрифт ясный, четкий, несколько старомодный. Общая мысль программы не новая — за Советскую власть, но без коммунистов и с некоторым допущением (в рамках семьи) частной инициативы.

Потом — какое-то воззвание и прокламация в форме интервью с неким молодым советским человеком. Это уже пятый или десятый экземпляр под копирку, и разобрать что-либо просто невозможно. Ясно одно: кто-то радеет, болеет, не спит или…

У Герцена в статье «С того берега» есть любопытная мысль: «Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущею, неизвестною нам революцией».

Так радеет или действует по указке извне? Кто и когда ответит на этот вопрос?

3 июня 1971 г.

Не везет «Неману» в этом году. Материалы — один интереснее другого — летят в корзину.

Полетели записки Бориса Микулича, уже подготовленные к печати, а на них мы так рассчитывали! И вот сейчас летит документальная повесть Бориса Клейна «Жена карбонария» — о Мигурских, героях рассказа Льва Толстого «За что?» — тоже почти готовая к печати. Повесть читалась, обсуждалась, автор перерабатывал ее с учетом замечаний редакции...

И дело все в том, что Борис Клейн обвинен в политическом двурушничестве. Открыто, с кафедры проповедовал одно — он преподавал историю КПСС, — а за углом, так сказать, в узком кругу, совсем другое. И вот результат — исключен, уволен с запрещением преподавать и заниматься научной работой.

Я не знал Бориса Клейна как человека (мы не сходились близко), но автором он был толковым, настоящим, и как автора, потерянного для «Немана», его можно пожалеть. «Побег из Колымажного двора», «Доктор Руссель», «Дело Бонч-Осмоловских»... Все эти вещи запомнились крепко.

4 июня 1971 г.

Послал Аленке деньги — «пенсию», как она выражается.

Пересекаю проспект, подхожу к приходной кассе, чтобы расплатиться за телефон, и вдруг навстречу женщина, очень живая, даже, как показалось, жизнерадостная.

— Георгий Леонтьевич, не узнаете?

— Лидия Александровна!

Она протягивает руку, я пожимаю ее, и пошло — пятьсот слов в минуту.

Лидия Вакуловская, та самая... Впечатление такое, что встряска пошла ей на пользу. Много пишет, часто печатается (последние роман и повесть приняты журналами «Москва» и «Октябрь»), друзья (Климашевская, В. Тарас и др.) от нее отвернулись, но это и к лучшему.

— Ведь это мне подсунули письма Солженицына. Когда допрашивали в КГБ, я все ждала: сознается, сволочь, все скажет тот, кто подсунул... Нет — отрекся!— и пришлось всю вину взять на себя... Переживем!..

8 июня 1971 г.

Во дворе Союза писателей встретил Макаенка. Отошли в сторонку.

— Знаешь, какая мысль пришла мне в голову? А что, если взять Василя Быкова редактором отдела прозы? А?.. Перетащим его в Минск, квартиру дадут... Думаю, там (кивок в сторону здания ЦК КПБ) одобрят и поддержат... Как ты?

Я сказал что-то в положительном смысле, а потом пораскинул умом и пришел к убеждению, что это не лучший вариант. Во-первых, не хочется понижать в должности (а значит и ущемлять материально) Кудинова. Во-вторых... Во-вторых, еще неизвестно, справится ли Василь Быков. Читать уйму рукописей, отбирать, редактировать… Макаенок, например, может разобрать, дать дельный совет, а сам поправить, отредактировать не в состоянии. Во всяком случае, до сих пор не отредактировал ни одной страницы. Возвращая прочитанную рукопись, он обычно предупреждает:

— Ну, на стиль я не обращал внимания…

А Василь Быков? А если и он на стиль не будет обращать внимания?

11 июня 1971 г.

Звонит Макаенок:

— Ну как? Не уехал еще?

— Нет... Хорошо, что ты позвонил... — и выложил ему свои сомнения насчет Василя Быкова.

Думал, будет возражать, доказывать, — нет!

— Так я же в порядке совета... Дело это не срочное… Вернешься — подумаем...

14 июня 1971 г.

Коктебель... Тот же Коктебель. Начальство сменилось, порядки (вернее было бы сказать — беспорядки) остались прежние.

На этот раз нас поместили в седьмом бараке (вторая комната). Просторно, хотя и сыровато. И — запах какой-то… Впрочем, этот запах здесь во всех бараках.

15 июня 1971 г.

Среди отдыхающих нет-нет да и попадаются знакомые по прошлому лету. Алексей Каплер и Юлия Друнина — и в столовой у них тот же столик, на веранде, жена Шукшина, кажется, Лев Кондырев, еще кто-то — фамилий их не знаю, запомнились одни лица…

В прошлом году «гвоздем сезона» был Евг. Евтушенко. Сейчас Евтушенко нет и «гвоздя» нет, — и как-то скучновато по сравнению с прошлым годом.

Да и погода... Сегодня был дождь, с утра дует ветер. Не «южно»!

17 июня 1971 г.

Ну и Крым!.. Ветер, то солнце, то дождь... Вода в море плюс четырнадцать... Войдешь и — как пробка — выскакиваешь обратно.

20 июня 1971 г.

Послали Аленке денег на дорогу. Значит, в конце июня нагрянет сюда.

А Наташка не хочет ехать. Так, во всяком случае, она сказала Алесю Савицкому, а тот — Людмиле Борисовне, своей жене, отдыхающей здесь, в Коктебеле, вместе с нами. Это существенно меняет планы. Без нее и Валентина, а вернее всего, и Аленка не останутся здесь дикарями.

21 июня 1971 г.

Читаю «Затерянный мир Кинтано-Роо» Мишеля Песселя. Любопытная книжица.

«Неведение мое оказалось во многих отношениях неоценимым качеством. Особенно оно помогло мне в общении с людьми. Ко всем, кто мне встречался на побережье, я относился с таким наивным и обезоруживающим доверием, что даже самые отъявленные злодеи не смели меня обидеть. Таким образом, у меня оказалась защита, о которой никто даже не подозревал».

24 июня 1971 г.

Юлька:

— Когда я вырасту большая, то вырожу девочку.

— Почему именно девочку?

— Мальчишки плохие, они дерутся.

26 июня 1971 г.

Приехала Ленка. Сдала на пятерки, это значит — на повышенную стипендию.

Молодец!

29 июня 1971 г.

Вечером мы с Юлькой возвращались с набережной. Встречается Александр Миронов с супругой. Вместо: «Как отдыхаешь? Что нового?» — с места в карьер:

— Вот дом Катьке строю... Пристала: «Давай, папа, мне отдельную дачу!» Ну, давай так давай!.. Теперь, если кто будет писать, так по адресу: «Планерский, Моровая 3-А...» — и весело засмеялся.

Катька — дочь Миронова. Она, кажется, еще не кончила школу.

5 июля 1971 г.

Юлька:

— Зачем вы назвали меня Юлей? Лучше бы Даша или Марина… А то имя плохое и я плохая...

29 июля 1971 г.

Ездили с Валентиной к Юльке.

Дача детсада в хорошем месте. Леса, леса… Недалеко от Минска (километров десять), а тишина — как где-нибудь в глухих дебрях.

И все-таки ребятишек жалко. Они скучают по дому, да и развлечений здесь почти никаких. Выведет воспитательница на «поляну», к старым липам, сядет — а вы, дети, играйте, играйте!

Жалко стало девчонку. Очень жалко. И — делать нечего, — там, на даче, при всех минусах лучше, чем в городе.

30 июля 1971 г.

Награды. Вручал Сурганов. Запомнились Бровка, Пестрак, Семеняко, Ширма, Корж-Саблин. Киты, все, кроме Семеняко, почти совсем седые. Из молодых — Пташников, Саченко, Глебов.

Вручение проходило церемонно и... скучно. Сурганов каждому говорил заученные слова, что-то вроде того, что, мол, желаю здоровья и новых творческих успехов, люди получали из его рук красные коробочки с орденом или медалью,

бормотали что-то вполголоса и, смущаясь, неловко возвращались на место. Бровка «толкнул» речь, но, опять же, стереотипную, скучную.

Завершив раздачу наград, Сурганов взял листки бумаги и зачитал поздравление.

И — ни шутки, ни улыбки, ничего.

1 августа 1971 г.

Аленка делает новую пьесу. Название — «На кругах полудня» — тяжеловатое и претенциозное, но лучшего не нашла пока.

Работает на кухне, за крохотным круглым столиком, на котором едва помещается машинка. Бывает так: Аленка стучит на машинке, рядом, на столе и стуле, горы небрежно разложенных рукописей, тут же Наташка «перекусывает», а Валентина моет посуду под краном или готовит что-нибудь на завтра. Шум, гам, звон, всякие запахи и, вдобавок, разговоры...

Будет просто удивительно, если у нее что-то получится.

4 августа 1971 г.

Жара, какой не было в Минске сто лет. Температура в тени 30—32 градуса, на солнце — до сорока и, говорят, выше.

Душно. Дышать нечем.

Листья на некоторых тополях пожелтели или, не успев пожелтеть, посохли и осыпались, идешь — как по железным стружкам. Березы, липы, клены и каштаны тоже начинают желтеть и помаленьку осыпаться. Кое-где дворничихи сгребают листья в кучи и жгут, как это делают поздней осенью. По вечерам терпкий дымок тянется по воздуху, проникая в квартиры.

6 августа 1971 г.

Умер Янка Мавр, немного не дотянув до девяноста.

Вчера состоялись похороны. Лето, отпускной сезон, и народу было не много. По очереди стояли в почетном карауле. Жалкий оркестр (человека четыре) играл похоронный марш. И речи на гражданской панихиде были какие-то бесцветные, жалкие. Шамякин, Якимович, Хомченко... Все говорили по обязанности и — одно и то же: родился, работал, умер... А ведь в это «родился — умер» вмещается восемьдесят восемь лет!

Впрочем, именно эти восемьдесят восемь лет и предопределили общее настроение: «Пожил старик! Дай бог каждому!» — было как бы написано на лицах.

8—9 августа 1971 г.

Звонит Макаенок:

— Знаешь, Никита Богословский прислал письмо. Дескать, ваш журнал сейчас самый умный и прогрессивный... Ну, и... предлагает юмористическую повесть «Завещание Глинки». Если, говорит, немного сократить и кое-какие фамилии изменить, то можно и напечатать... Как ты, а?

Я сказал — пусть присылает, посмотрим. Но никаких авансов давать не надо. Макаенок хочет так и сделать, то есть не давать никаких авансов.

Продолжение следует.



ЕЛЕНА АТРАХОВИЧ

Осташковская весна

(из книги «Мой дед Кондрат Крапива»)

Перелистывая страницы своей книги, я заново анализирую прошлое, стараюсь понять события жизни моего деда, которые происходили еще до моего рождения, переосмыслить те или иные впечатления. В работе над книгой мне помогают собственные воспоминания, рассказы тех, кто хорошо знал Кондрата Кондратьевича, документы. Открывая папки с архивными материалами, всегда невероятно волнуюсь, ведь многие из них я уже держала когда-то в руках в кабинете деда, а то и читала вместе с ним. Теперь они бережно хранятся в архивах, фондах библиотек и музеев. Сегодня это уже история.

Дед много рассказывал мне о своей жизни. Слушать его всегда было очень интересно. Будучи литератором, он и мыслил-то по-особенному, логично, упорядоченно. Его рассказы были обдуманными, цельными, а потому запоминались. Дед вообще продумывал все и всегда, и делал это очень тщательно. Такова была яркая черта его натуры.

В главе, предложенной сегодня вниманию читателя, я расскажу одну романтическую историю, произошедшую с моим дедом в далекие дни его юности. Некоторые детали тех давних событий я знаю непосредственно из рассказов самого Кондрата Кондратьевича. Кое-что пришлось, уже впоследствии, восстанавливать по письмам, фотоснимкам и другим архивным материалам.

Юношеские годы моего деда — это начало XX века. Если говорить более точно, то события, описанные в данной главе, произошли девяносто пять лет назад. Так уж было угодно судьбе, что забросила она простого крестьянского парня Кондрата Атраховича, юношу из небольшой белорусской деревни Низок, окруженной густыми, почти непроходимыми лесами и топкими болотами, в самый центр России, в далекий и красивый русский городок Осташков, где жила тогда юная красавица, купеческая дочка Екатерина Абакшина.

В своей автобиографии «Ад маленства да сталасці» Кондрат Кондратьевич написал и про городок Осташков, и про сестер Абакшиных. Очень тепло написал, но как-то уж очень коротко. И я понимаю, почему. Такая краткость, лаконичность была совершенно в характере деда. О чем-то глубоко личном он всегда говорил очень мало, если вообще говорил. Всего в нескольких строчках описал он свое знакомство с семьей осташковского купца Петра Абакшина.

Для читателей Кондрат Крапива был и остается прежде всего сатириком, а значит, скептиком. Друзья, коллеги воспринимали его как человека очень рационального, в чем-то прагматика. Мы же, самые близкие, знаем, что и лириком был он, и романтиком. К тому же был когда-то молодым.

Одним из ранних и ярких романтических воспоминаний Кондрата Кондратьевича была та далекая весна 1916 года, которую провел он в городке Осташкове… Осташковская весна.

Был молод. Хотелось мечтать. И мечталось. О многом. Молодой Кондрат Атрахович думал тогда не только о том, что когда-нибудь встретит хорошую девушку, обзаведется семьей, построит дом. Мечтал он и о каких-то больших свершениях.

Август 1915 года. В разгаре Первая мировая война. Заметно поредели ряды кадровых военных. Как раз в это время Кондрат Атрахович, молодой учитель земского народного училища в деревне Мнишино Першайской волости Минского повета, был призван на военную службу. Предстояло ему в качестве кадрового офицера постоять, как говорили тогда, «за веру, царя и отечество». В то далекое время понятие «отечество» включало в себя, по сути, все земли, входившие в состав России-матушки. Земли белорусские значились во всех официальных бумагах под названием Северо-Западный край. При этом культура, язык, история белорусов — все это были реалии, которые ярко свидетельствовали о самостоятельном этническом развитии нации. Как рассказывал Кондрат Кондратьевич, и сам он, и его земляки ясно и определенно осознавали себя именно белорусами, и никак иначе. Поэтому, отправляясь «стоять за веру, царя и отечество», Кондрат Атрахович думал, в первую очередь, о небольшой, затерянной в лесах и болотах деревне Низок, где родился, думал про Узду, Столбцы и Койданово, где учился, словом, патриотические чувства в его сознании были связаны прежде всего именно с родными местами. С такими настроениями и отправился дед на свою первую военную службу.

Поступив в распоряжение командования, девятнадцатилетний Кондрат Атрахович был направлен в Гатчинскую школу прапорщиков. Кстати, у историков есть предположения, что именно про эту школу прапорщиков в Гатчине писал в своих мемуарах генерал П. Н. Краснов.

В России того времени изготавливались из серебра стандартные жетоны для выпускников школ прапорщиков государственного ополчения. Такой жетон в 1915 году представлял собой изображение орла с наложенным ополченческим крестом. На реверсе было выгравировано название школы и год выпуска, а также фамилия выпускника. Курс обучения составлял 3 месяца. Если сопоставить даты, то получается, что дед мой был в одном из первых выпусков Гатчинской школы. По окончании этой школы Кондрат Кондратьевич тоже получил такой выпускной жетон. К сожалению, он не сохранился.

Итак, оказавшись в 1915 году на военной службе, Кондрат Кондратьевич уже имел определенное образование и специальность. За плечами у него была не только церковно-приходская школа, но и городское училище, после окончания которого он экстерном сдал экзамен на звание народного учителя. Все это не только обеспечило юноше возможность зарабатывать на хлеб в гражданской жизни, но и на военной службе дало право на поступление в школу прапорщиков для прохождения учебы и присвоения ему офицерского чина. Сам Кондрат Кондратьевич писал об этом так: «Выяснилось, что мое небольшое образование что-то значило».

Несколько слов о первом офицерском чине моего деда. Чин прапорщика относился в старой русской армии к обер-офицерским. Название было образовано от старославянского «прапор» — что означает «знамя». Во время войны это был самый первый офицерский чин (вплоть до 1917 года). Таким образом, дед мой стал прапорщиком военного времени.

В царской армии существовала определенная система обращений соответственно субординации. Так, обращение к солдату со стороны всех вышестоящих чинов было на «ты», «рядовой» и по фамилии. К офицерскому же составу, начиная от прапорщика и до капитана, принято было обращаться «ваше благородие».

Начав свою службу в старой армии прапорщиком и окончив через несколько лет уже в чине поручика, дед мой, простой парень, как говорится, «от сохи», неожиданно стал «ваше благородие». Таким образом, он оказался уже в ином, более высоком социальном статусе, по сравнению со многими другими выходцами из крестьянского сословия. В будущем, когда наступили мрачные годы сталинских репрессий, это обстоятельство чуть было не оказалось для него роковым.

Итак, по окончании Гатчинской школы прапорщиков Кондрат Атрахович был направлен для дальнейшего прохождения службы в город Осташков Тверской



Кондрат Крапива дома в своем кабинете, 1980-е годы

губернии. Всю весну и лето 1916 года он прослужил там в 38-м запасном батальоне. Был взводным офицером, обучал ополченцев для отправки на боевые позиции. В Осташкове прослужил он недолго, вскоре ему самому довелось оказаться в эпицентре Первой мировой, в настоящем пекле, на Румынском фронте.

Осташков, куда прибыл новоиспеченный офицер Кондрат Атрахович, находится на берегу древнего озера Селигер, в центральной части России между Москвой и Санкт-Петербургом. Надо сказать, что это удивительно красивые места, овеянные глубокой стариной. Селигер упоминается в древних летописях еще в XII—XIII веках, когда озеро было частью оживленных новгородских путей.

Дед, сельский житель, всегда был близок к природе. Он умел наблюдать и воспринимать ее красоту. Природа Селигера впечатлила его и показалась в чем-то близкой и знакомой. Он ощутил, что здесь такой же, как дома, влажный, даже сырой климат и такой же знакомый, совсем «белорусский», мелкий моросящий дождь, приносимый западным ветром, «мокрик», как называли его местные жители. Он увидел заболоченные леса, среди которых были расположены небольшие островки полей, отвоеванные у суровой природы и заботливо возделанные человеком. Тяжкий крестьянский труд был хорошо знаком деду. Он прекрасно понимал, что хлеб на этой земле добывать так же нелегко, как и в его родной Беларуси. Запомнилось ему еще и то, что в хорошую погоду вокруг Селигера стояла полная тишина. Причем, была она непростая, какая-то особенная, гулкая.

Надо сказать, что в центре России, так далеко от родного Низка, Кондрату Атраховичу еще бывать не доводилось. Осташков, расположенный на живописном берегу, сразу понравился юноше. Осташковский плес был самым большим и самым широким на озере. Дед рассказывал, что в непогоду здесь бывало очень неспокойно. Волны брали разгон, а разгулявшись, с воем и гулом бушевали в полную силу.

Особенно опасным местом местные жители считали пролив между Кличевом и Городомлей, где нередко тонули рыболовецкие суда. Неслучайно место это издавна называли Чертовы ворота. Не дай Бог оказаться здесь рыбаку или путнику в ненастье. Разбушевавшиеся валы бились о берег с такой силой, что выбрасывали не только утлую лодчонку, но и легко справлялись с крупными судами. Дед до этого на озерах, подобных Селигеру, не бывал и таких штормов не видывал. Зрелище бушующей воды было совершенно новым впечатлением для юноши.

Близостью озера объяснялась еще одна характерная особенность Осташкова — запах. Дед рассказывал, что в городе стоял запах озера. Его трудно описать, но он запомнился. Было ощущение, что воздух там густой, насыщенный смесью ароматов леса, рыбы и водорослей.

Впечатлила его не только окружающая природа, но и сам Осташков, расположенный на полуострове в южной части Осташковского плеса и простирающийся вдоль прибрежной полосы на несколько километров. Купола церквей, возвышающиеся над полуостровом колокольни, остроконечные шпили башен и белые дома — все это отражалось в водной глади озера, создавая великолепный архитектурный пейзаж, словно сошедший со старинной гравюры. Надо сказать, что при обилии в городе самых простых, небольших одноэтажных деревянных домов в два-три окна центр Осташкова заметно выделялся.

Древнейшим местом в городе был северо-восточный мыс городского полуострова, именуемый в народе Наволок. Дед рассказывал, что оттуда, прямо из города был виден остров Кличен. Знаменит он был тем, что служил в старину передовой заставой суздальцев на «серегерском» пути. На острове возвышалось городище, как раз в том месте, где когда-то стояла известная с новгородских времен сторожевая крепость. Дед помнил, как силуэт городища угадывался среди зарослей леса в лучах заходящего солнца, словно эхо далекого прошлого, как память о суровой истории этого края.

Осташков — город древний, первое письменное упоминание о нем относится к XV веку. Правда, самого города тогда еще не было, а были две осташковские слободки, окруженные густыми заболоченными лесами. Лет примерно через сто, уже в конце XVI столетия, две эти слободы объединили и обнесли крепостной стеной оборонного типа. Польский король Стефан Баторий стоял тогда у самого Селигера. Надо было защищаться. Тогда-то и появилась эта крепость, воздвигнутая на полуострове.

Красивое название — Осташков — имеет свою историю. Есть легенда, что имя городу дал не сказочный богатырь, не легендарный герой, а простой рыбак. По народному преданию, первой в Наволоке, самой древней части города, была изба, хозяина которой звали Евстафий, а по-народному Осташко. Отсюда и название города. За свою историю Осташков знал много сражений, не раз переходил в руки завоевателей. Это не случайно, ведь он стоял на распутье, откуда уходили дороги в Москву, Тверь и Торжок. Поэтому и центр Осташкова находился на перекрестке Продольной и Поперечной улиц. В этом месте впоследствии был построен великолепный Троицкий собор. Со временем город разросся вдоль берега. Появились административный центр, жилые и промышленные кварталы.

Уже к концу XIX века Осташков стал не только промышленным, но и культурным центром региона. Мостовые выложили камнем, центральные улицы вечером освещались, а в центре города выстроили бульвар, где с удовольствием прогуливались по вечерам горожане. Жители очень любили свой город и называли себя осташами с гордостью.

Оказавшись в Осташкове, Кондрат Кондратьевич сразу обратил внимание на одну характерную особенность его планировки. Улицы были проложены в виде очень правильной прямоугольной сетки. Это была классическая, характерная для своего времени, так называемая регулярная застройка. Длинные улицы пересекались короткими переулками. Интересно, что такую планировку предложил в свое время известный русский архитектор И. Е. Старов. Считается, что по его проектам были построены и некоторые дома в городе. Самыми красивыми в осташковской регулярной застройке были угловые дома. Таков был популярный в то время градостроительный прием — поставить по углам «образцовые» дома. Это помогало понять, как надо потом, по мере развития городской структуры, застраивать город.

Поскольку дед по натуре своей был педант и во всем любил порядок, он, оказавшись в Осташкове, решил, что центр города понравился ему именно по причине своей упорядоченности. Впоследствии же понял, что неосознанно почувствовал общую высокую архитектурную культуру центральной части этого городка. Уже в советское время, бывая в Ленинграде, он находил общие черты осташковской архитектуры с городом на Неве.

Главной улицей Осташкова был Екатерининский переулок, идущий с востока на запад от гавани для парусного флота. Выделялась и улица Каменная. Она была самой популярной среди осташковских извозчиков.

Вспоминая этот городок, дед отмечал, что очень цельно и выразительно воспринимался центр, где располагались дома, построенные в XVIII—XIX веках в стиле классицизма. Они были, как правило, белые. Именно эти постройки и определяли лицо города.

В свои двадцать лет Кондрат Кондратьевич видел в основном бревенчатые дома, выстроенные в традициях народной белорусской архитектуры, неизменных на протяжении веков. То, что довелось увидеть ему в Осташкове, было ново, а потому запомнилось. Деду сразу бросилось в глаза обилие в этом городе домов с мезонинами. Такова была столичная мода конца XIX века. Отголоски этой моды были сильны и в Осташкове. Но осташи, большие патриоты своего города, дома с мезонинами считали исключительно местной достопримечательностью. В городе говорили, что если дом выстроен без мезонина, то он, дескать, не их, т. е. не осташковский. Причем, мезонины эти были жилые, в три окна, с высоким фронтоном. Вот в таком-то доме, просторном, большом, двухэтажном, и жила Екатерина Абакшина.

К тому моменту, когда молодой Атрахович оказался в Осташкове, городок этот уже хорошо был известен своими культурными традициями. Центром культурной жизни был городской театр. Не знаю, посещал ли дед этот театр. Про то он ничего не говорил. А вот другой объект культуры сразу же привлек его внимание — публичная библиотека.

Библиотека была построена в Осташкове еще в первой половине XIX века, там собиралась вся городская читающая публика. Беседовали, обменивались новостями, делились впечатлениями и т. д. По сути библиотека являлась центром интеллектуальной жизни города.

Дед говорил, что в той библиотеке было очень хорошее собрание книг. Этим она и привлекла его внимание.

Испытывая тягу к чтению, Кондрат Кондратьевич старался использовать для этого любую возможность. Свое невысокое по тем временам образование он постоянно стремился дополнить сам. Самообразованию он всегда придавал большое значение. По этой причине, например, поступив, в свое время, в четырехклассное городское училище в Столбцах, был крайне огорчен отсутствием там мало-мальски хорошей библиотеки. Точнее говоря, библиотека-то была, но очень бедная. Так вот, учась в столбцовском училище, дед узнал от своего друга и земляка П. Герасимовича, который учился в Койданове, о койдановской библиотеке и о том, что там имеется немало интересных книг. По этой причине он, не задумываясь, перевелся на учебу в Койданово.

Попав волею судьбы в 1916 году в Осташков, дед первым делом поинтересовался, есть ли там библиотека. Наличие таковой в городе его очень обрадовало. И не просто обрадовало, а открыло перед ним совершенно новые, недоступные до тех пор возможности самообразования. Потому что в библиотеке, как я уже говорила, во-первых, имелась хорошая литература, а во-вторых, она являлась своеобразным клубом для образованных горожан.

Выходец из далекой белорусской деревни, из глубинки, дед, оказавшись в городе хоть и провинциальном, и небольшом, но по-своему очень культурном, попал в совершенно новую для него среду. Осташкову посвящал свои поэтические строки еще Федор Тютчев. В местном городском театре с большим успехом шли пьесы А. Островского и А. Грибоедова. Когда-то в этом театре даже блистала петербургская звезда Прасковья Орлова, которая стала женой осташковского купца Савина.

К слову сказать, знаменитая пьеса А. Грибоедова «Горе от ума» была поставлена в Осташкове после смерти Николая I одновременно со столичными театрами. Но в отличие от столичных постановок, здесь пьеса шла, так сказать,

«в чистом виде», то есть без исправлений, внесенных цензурой. Газеты писали, что публика буквально ломилась на спектакль. Приезжали даже зрители из Санкт-Петербурга и Москвы. А вскоре после этой театральной постановки издатель Иван Бочкарев, высланный по высочайшему повелению в Осташков как неблагонадежный и «личность подозрительная и вредная», издал эту пьесу полностью прямо с жандармских списков, что вызвало небывалый ажиотаж у местной публики.

В городе этом в разное время бывали многие знаменитые люди, среди них — А. Толстой, И. Шишкин, А. Островский.

Одним словом, некая культурная аура этого края, которая витала в округе, видимо, каким-то незримым образом воздействовала на молодого Кондрата Кондратьевича, оставив сильное впечатление на всю дальнейшую жизнь.

Несмотря на то, что был он занят, находясь на военной службе, всякий раз, когда выпадала свободная минута, Кондрат Атрахович отправлялся в библиотеку. Там он познакомился с осташковской молодежью. Там произошло его знакомство и с сестрами Абакшиными. Девушки учились в гимназии, две из них уже к тому времени учительствовали. Отец их, известный в округе осташковский купец Петр Абакшин, был человеком грубым, необразованным, даже, по рассказам деда, неграмотным. Но, видимо, понимал купец, что на дворе уже не девятнадцатый век и что дочерям-то надо дать хорошее образование. А дочерей у него было не две и не три, а пять! Мало того, что всех надо было одеть, обуть, прокормить да выучить, их ведь еще надо было благополучно выдать замуж. А для этого каждой требовалось приличное приданое, достойное купеческого сословия. Вот это-то и составляло главную заботу отца.

По этой причине изворачивался Петр Абакшин как мог, только бы его любимые дочери ни в чем не нуждались, а главное, чтобы они, не дай бог, не оказались бесприданницами. По тем временам для родителя, а тем более для купца, это была просто катастрофа.

Не помню, рассказывал ли Кондрат Кондратьевич, чем именно торговал Абакшин и где размещались его торговые ряды. Да это и не суть важно. Так уж вышло, что на голову купца свалилось «несчастье» в виде пятерых дочерей. От этого он, Абакшин, испытывал чувство растерянности и был всегда сильно озабочен. Работал не покладая рук. Дела, правда, шли с переменным успехом, но девушки не слишком огорчались по этому поводу. Они, следуя новым веяниям, хотели независимости и надеялись больше на самих себя. С легким юмором говорили они о хроническом беспокойстве отца за их приданое. Девушки были образованны, обаятельны. Каждая по-своему была красива. По этой причине имели они все основания рассчитывать не только на отцовскую помощь и поддержку, но и на собственные силы.

В Осташкове стояла военная часть, и юные жительницы этого городка охотно заводили знакомства с военными, испытывая тайную, но вполне понятную и совершенно естественную надежду — найти спутника жизни. А тут появился на горизонте молодой красивый Кондрат Атрахович. Новоиспеченный офицер, револьвер в кобуре, шашка на боку, от природы — заметная внешность. Он сразу же привлек внимание юных горожанок.

Был дед стройным, высоким, метр восемьдесят пять ростом, с прямым, открытым и проницательным взглядом, у него был волевой, немного тяжелый подбородок, упрямая складка губ. Все это придавало его лицу мужественности. Немного «разбавляли» этот строгий облик его голубовато-серые глаза, привнося чуточку романтики.

Держался дед с достоинством. Так было всегда, полагаю, что и в молодости. До службы в армии он работал учителем. Хотя поработать к тому моменту успел недолго, но мне думается, что работа эта в некоторой степени способствовала его спокойной манере держаться. А кроме того, у деда было какое-то природное, глубокое чувство собственного достоинства.

Характерной чертой его внешности, еще с юности, была прямая осанка — настоящая офицерская выправка, которая осталась потом на всю жизнь. Людям такого склада очень идет военный мундир. К тому же, будучи в Осташкове, обмундирование дед носил по всей форме — ходил с шашкой. Хотя говорил, что шашка эта при ходьбе очень мешала, но форма есть форма.

Еще одна любопытная деталь — в то время он пробовал носить небольшие усики, тонкие, немного щегольские, совсем в духе времени. Продолжалось это недолго. Дед говорил мне, что такая мода была почему-то очень распространена в Гатчинской школе прапорщиков как раз в период его учебы.

Став старше, он больше ни разу не носил ни бороды, ни усов, всегда был гладко выбрит. Но тогда, в 1915—1916 годах, видимо, отдал небольшую дань моде. Молодой командир, он умел скакать на лошади, владел шашкой и другими военными искусствами. Армия, как говорил сам дед, убрала с него «вясковую шурпатасць», то есть обтесала.

В течение жизни, наблюдая и стараясь понять отношение деда к противоположному полу, я сделала некоторые выводы. У меня сложилось впечатление, что дед мой не относился к числу тех, кого называют любителем прекрасного пола. Думаю, что по натуре он был другим. Вместе с тем, относился к женщинам с уважением. Полагаю, что это было природное качество. Таким я его помню, и думается мне, таким же был он и в девятнадцать-двадцать лет. Но поскольку внимание пятерых красивых девушек (имею в виду сестер Абакшиных), без сомнения, вдохновило бы любого юношу, то, конечно, и Кондрат Атрахович не остался равнодушен.

Тогда, в Осташкове, он еще не подозревал, что всего через несколько месяцев его жизнь круто изменится. Очень скоро он получит первое боевое крещение — отправится на Румынский фронт, на передовую, где впервые испытает на себе весь ужас и трагизм войны. Станет суровее и жестче. После этого, вернувшись в родные места, он встретит свою единственную, верную и преданную спутницу жизни, милую девушку Елену. Будет еще очень многое. Будет смерть малыша-первенца. Будет гибель двадцатилетнего сына Бориса, отдавшего свою жизнь за Родину во время Великой Отечественной войны в боях под Сталинградом. В жизни самого Кондрата Атраховича будет еще не один военный поход. Будет и мирный созидательный труд. Многое сможет он сделать для своей страны, хотя путь этот будет нелегким и далеко не безоблачным. Придет известность, признание заслуг перед Отечеством. Он проживет долгую-долгую жизнь, длиною почти в целый век. Настолько долгую, что в самом конце жизни скажет: «Я устал и хочу отдохнуть». Но это все будет потом.

Находясь же в весеннем Осташкове, в том далеком 1916-м, он еще ни о чем не догадывался. Правда, дыхание Первой мировой чувствовалось и здесь. Война измотала страну, не хватало военных кадров, на фронт стали отправлять ополченцев. Кондрат Атрахович должен был учить их воевать. Дед признавался, что, отдавая команды: «В цепь! Ложись! Встать! Бегом!» и т. д., поначалу даже испытывал неловкость, так как многие из ополченцев были раза в два старше его. Но служба есть служба. Город, между тем, жил своей размеренной жизнью. Рядом не рвались снаряды, не полыхали пожары. А кроме того, была молодость, весна, цветущие сады и ощущение, что жизнь бесконечна.

Знакомство с сестрами Абакшиными завязалось как-то само собой. Однажды вечером, имея пару часов свободного времени, Кондрат Атрахович направился в библиотеку. Надо сказать, что поначалу он даже несколько терялся среди обилия книг. В тот вечер, раздумывая, какую же выбрать книгу, он машинально скользнул взглядом по читальному залу. У книжной полки стояла миловидная стройная девушка и что-то перелистывала. Чувствовалось, что она здесь не новичок. Мелькнула мысль: а может, подойти да спросить совета? Недолго думая, подошел. Легко и просто разговорились. Девушку звали Катя. Показалась она молодому офицеру удивительно красивой. Катюша охотно помогла ему разобраться среди книг.

Вскоре вновь случайно увиделись, обменялись впечатлениями о прочитанном. Так постепенно завязалась дружба. Вскоре Кондрат Атрахович познакомился и с Катиными сестрами. Оказалось, что всем им очень интересно друг с другом. Собирались всей компанией, иногда в библиотеке, а в хорошую погоду — в городском сквере. Много говорили, спорили, бурно обсуждали героев книг, сюжеты, авторов, а то и просто о жизни рассуждали. Порой их задушевные беседы переходили в настоящие литературные диспуты.

Заприметил это купец, стал присматриваться. Рассудил он следующим образом — литература, дескать, хорошо, но дочери по молодости да по глупости витают в облаках, а им надобно жизнь свою устраивать, замуж давно пора. А тут как раз на горизонте — молодой красивый офицер. Имеет образование, опять же, профессия в руках, по всему видно, что человек он серьезный, работы никакой не боится. Чем не жених? Вот и подумал купец: а не сосватать ли за него одну из младших дочерей. Но Кондрату Атраховичу всерьез приглянулась вовсе не та, которую вознамерился было отдать ему в жены Петр Абакшин. Понравилась ему другая. Запала в душу Катя.

Катюша Абакшина была немного младше Кондрата Атраховича. Ему только-только исполнилось двадцать, ей — и того меньше. Девушка она была серьезная, начитанная, умная. Имела озорной характер, но воспитана была в строгих правилах.

Иногда я пытаюсь представить себе, а как же выглядела юная Катерина. Но судить об этом могу только по рассказам деда, так как ни ее саму, ни фотографии ее я никогда не видела. Кондрат Кондратьевич описывал Катю примерно так: невысокая, круглолицая. Двигалась она легко и быстро. У нее были довольно мелкие черты лица, еще сохраняющего детскую припухлость. Девушка выглядела очень юной, была обаятельная, смешливая и разговорчивая, любила серьезную литературу, увлекалась поэзией. Естественно, она произвела впечатление на неискушенного деревенского парня.

А еще Катерина любила мечтать, причем, в юной головке ее бродили самые что ни есть честолюбивые мысли о том, чтобы прославиться, совершить в жизни что-то важное, стоящее. Возможно, это был результат прочитанных книг, а возможно, сказывался и характер. Девушка, видно, была не из робкого десятка. Позже, повзрослев, она не превратилась в сентиментальную барыню, проводящую время за самоваром, вареньями, соленьями да борщами. Уже в советское время она много работала на различных должностях, даже стала председателем совхоза.

Предлагаю читателю рисунок с портретом юной Катюши Абакшиной. Автор этого рисунка — художник-график, великолепный иллюстратор литературных произведений, портретист Анатолий Александрович. Портрет Кати Абакшиной, нарисованный им, — это не отвлеченная фантазия художника, навеянная воображением, а своеобразная творческая реконструкция образа. Он выполнен по представлениям на основе рассказов деда. Анатолий, став членом нашей семьи, много общался с Кондратом Кондратьевичем. Между ними сложились очень хорошие, уважительные, по-настоящему родственные отношения. Думаю, что Анатолий уловил и передал в своем рисунке главное, что было в облике Екатерины.

Но вернемся в Осташков. Катя Абакшина всерьез впечатлила Кондрата Атраховича. Внимание молодого красивого парня тронуло девушку и тоже отозвалось в ее душе. Встречались они довольно часто. Молодых людей влекло друг к другу. И хотя отношения их носили совершенно невинный, романтический характер, каждый из них очень ценил эти минуты общения. Им было вместе хорошо и интересно. Прогулки вдоль озера, вечерние беседы на набережной, встречи в городскому саду, совместное чтение книг. Катя с удовольствием помогала ему выбирать интересную и популярную в то время литературу. Кондрат Кондратьевич не раз вспоминал их вдохновенные беседы, по-юношески горячие споры о прочитанном.



Катя Абакшина,
1916 г. Рис. А.Александровича,
выполнен в 2010 г.

А еще Кондрат Кондратьевич обучал Катю ездить верхом. Для них обоих это было очень увлекательное занятие. В Осташкове, возле центральной площади находилась канцелярия полка. На этой-то площади и проходили их уроки верховой езды. Дед говорил, что Катя оказалась весьма способной ученицей. Она любила скакать на лошади по главной городской площади, привлекая к себе восхищенные взгляды прохожих.

Кондрату Атраховичу невероятно нравилась эта милая девушка. Он даже испытывал чувство влюбленности и готов был постоянно находиться в ее обществе.

Кто знает, как дальше развивались бы события, но… в отношении Екатерины у ее отца были свои планы. Дело в том, что к девушке посватался младший унтер-офицер из вольноопределяющихся Владимир Философов. Петр Абакшин пообещал Философову выдать дочь замуж за него. А своих решений купец менять не привык. Купеческое слово — закон. И так, и этак пыталась Катя смягчить крутой нрав отца, но в конце концов поняла, что все-таки послушаться придется. И уже в июне Абакшин начал приготовления к свадьбе.

Размышляя о тех далеких событиях, я не совсем понимаю один поступок Екатерины. Буквально накануне свадьбы она вдруг стала уговаривать Кондрата Кондратьевича стать ее поручителем (по нашим понятиям — свидетелем) на венчании. И уговорила-таки. Он согласился, хотя и не рад был крутому повороту событий. Мне кажется, что Катя была девушка своеобразная, немного сорвиголова, способная на неожиданный поступок. Возможно, ей хотелось таким образом оставить какую-то связующую ниточку в их зарождающихся отношениях, а может, и сама не очень понимала, почему так поступает. Однако последующие события, произошедшие уже через много лет, кое-что прояснили.

Венчание Екатерины с Владимиром Философовым состоялось 10 июля (по старому стилю) 1916 года. Церемония венчания была обставлена скромно, но проходила в одном из красивейших соборов Селигера — в Троицком. Это старинное здание было возведено еще в XVII веке.

Когда с колокольни Троицкого собора раздавался звон, он гулко разносился над водной гладью и мощным эхом отдавался где-то вдалеке. Впечатление было сильное, совершенно незабываемое. Колокольня стояла отдельно от собора и возвышалась над городом наподобие свечи.

С нее открывался великолепный вид на озеро и ближайшие окрестности. По сей день колокольня эта считается одной из красивейших шатровых колоколен, характерных для русской «свечной» архитектуры.

День венчания Кати был теплый и солнечный. Величественный облик собора, торжественный колокольный звон — все это осталось в памяти у Кондрата Атраховича. В нашей семье до сих пор хранится старинный документ — выписка из метрической книги о бракосочетавшихся за 1916 год. Бумага пожелтела и уже немного истлела от времени, но записи видны очень ясно и отчетливо. Из документа видно, что церемонию проводили протоиерей Иоанн Бобров и диакон Михаил Лазорев с псаломщиком Иоанном Бойковым. Кондрат Атрахович выступил поручителем со стороны невесты. Так Екатерина Абакшина стала

Екатериной Философовой. Осташковская весна закончилась, но в тот момент дед еще не знал, что не только весна, но и весь осташковский период его жизни подходил к концу.

Вовсю бушевала Первая мировая война. Дед по-прежнему служил, обучая пополнение для фронта. Время шло. Жизнь становилась труднее. Наступил август 1916 года. Приближалась осень. Произошедшие политические события уже вмешались в судьбу Кондрата Атраховича.

Международная обстановка обострилась. В августе Румыния объявила войну всем Центральным державам. С самого начала войны, с 1914 года, Румыния занимала выжидательную позицию, ведя политику нейтралитета и наблюдая, к кому будет выгоднее примкнуть. В июне 1916 года во время крупной наступательной операции русской армии произошел знаменитый Брусиловский прорыв, названный так по имени командующего фронтом А. Брусилова. В результате было нанесено тяжелое поражение германским и австро-венгерским войскам в Галиции и Буковине.

Именно этот момент Румыния сочла решающим, и в августе 1916 года подписала военное соглашение со странами Антанты. В соответствии с которым, Румыния надеялась получить Трансильванию, часть Буковины и Банат, взяв при этом на себя обязательство объявить войну Австро-Венгрии, что она и сделала в конце августа.

Для поддержки румынских войск в Добруджу был переброшен русский армейский корпус. Получив помощь русских, румынские войска в первые же дни сентября пошли в наступление в Трансильвании, а позже в Добрудже, но безуспешно. Началось долгое и мучительное отступление. Однако русское командование продолжало направлять подкрепление в Румынию.

Как раз в это самое время Кондрат Атрахович узнает, что через несколько дней он отправится на войну. Услышала об этом и Екатерина Философова. Сообщила ей новость сестра. Невероятно расстроилась Катя, проплакала целую ночь. А потом решилась на очередной неожиданный поступок. Хотя и была она уже замужней дамой, долго не раздумывая, прибежала в часть к Кондрату Кондратьевичу, попрощаться хотела. Запыхавшись и волнуясь, Катя много говорила, вспоминала встречи, беседы, весенние вечера у озера. Дрогнуло ее сердце.

Никто не мог знать, доведется ли им еще встретиться, но просила она своего друга навсегда запомнить эту красивую Осташковскую весну. А еще умоляла его не погибнуть, обязательно, непременно остаться в живых! Да как можно было загадывать, когда война…Те, кто воевал, знают точно, что «пуля — дура». «Я буду за тебя молиться», — сказала Катя и подарила молодому офицеру талисман — серебряный рубль. Просила хранить его как зеницу ока, потому что твердо знала — убережет от гибели, обязательно убережет! Почему была она в этом так уверена, я сейчас поясню.

Суть в том, что в подарке этом имелся тайный смысл. Не простой рубль подарила Кондрату Атраховичу Катя. Это был вышедший уже из обращения рубль императрицы Екатерины Второй с ее изображением. Подарила Катюша его и как оберег, и как память про Осташковскую весну. Интересная была девушка.

Осенью 1916 года, в тот самый момент, когда сильно потрепанные в боях армейские части под натиском противника отступали из Добруджи, Кондрат Атрахович с маршевой ротой был отправлен на фронт и оказался в Румынии в составе 494-го Верейского стрелкового полка. Про этот свой первый (но далеко не последний) военный поход сам Кондрат Кондратьевич написал так: «Там я впервые получил боевое крещение, не раз бывал в серьезных переделках, совсем не зная, что это только цветочки и что впереди еще не одна война и не один переплет».

Как-то спросила я у деда, а было ли ему страшно на войне. Он пристально посмотрел на меня и тихо сказал: «Понимаешь, Аленушка, война — это всегда страшно. Это и тяжелейшая физическая работа, которая уже где-то за гранью

человеческих возможностей, и настоящий ад. Ну как ты думаешь, что испытывает человек, оказавшись в аду?» Дед рассказывал, что особенно тяжело было «необстрелянным» солдатам в их первом бою. А еще он говорил, что перед боем нельзя оглядываться на свою жизнь, нельзя предаваться воспоминаниям, иначе размякнешь, утратишь боевой дух. Нужен какой-то особый настрой — освободиться от прошлого, идти в огонь, не помня себя, а думая только о том, чтобы выполнить боевую задачу. Больше ни о чем. Только тогда ты готов к бою. Только так можно одолеть врага. И только так, если повезет, можно остаться в живых.

В бою, как рассказывал дед, срабатывает своеобразный механизм психологической защиты. Вот разорвался снаряд, но ты слышишь, что случилось это где-то в стороне, не попали в тебя осколки, вот разорвался еще один — смотришь, опять сбоку. Не убило, не зацепило. Раз. Другой. Третий. И начинаешь верить, будто ты вроде как «заговоренный». Страх исчезает сам собой. Остаются совсем другие чувства.

Сражения 1916 года были кровопролитными, с огромными человеческими жертвами. Дед мой побывал в такой мясорубке, которая не могла присниться ему и в кошмарном сне. Остался жив. Всю войну в кармане мундира он хранил Катин серебряный рубль.

Верил ли дед в силу талисмана, я не знаю. Вообще-то он был человеком, далеким от мистики. Но в какое-то предначертание, в судьбу, как мне кажется, где-то в глубине души верил. Кондрат Кондратьевич не раз говорил о том, что в его жизни было несколько случаев, когда он непременно должен был погибнуть, но почему-то, по какой-то необъяснимой случайности не погиб. Один из таких эпизодов произошел как раз на Румынском фронте. Все случилось как-то очень быстро и просто, осознал позже. Раннее утро. Напряженное ожидание атаки. Тишина. Нехорошая тишина. Не любили бойцы эту зловещую тишину. Все заняли свои позиции перед боем. Но вдруг дед резко передумал, будто толкнуло что-то — решил поменять свою позицию на более удобную. И только перебрался он на другой конец окопа, как шальной снаряд противника взорвался прямиком в том самом месте, где находился дед минуту назад. Может, талисман уберег его… кто знает. Я верю в обереги. Подарен, наверное, был этот серебряный рубль от чистого сердца.

Румынская армия была разбита в ноябре 1916 года. Без боя сдали столицу Румынии Бухарест. После этого, к концу 1916-го, войскам удалось задержать продвижение австро-германских армий в устье Дуная. В боях участвовало около одной четверти вооруженных сил России.

Все это время дед воевал. Там же, на далеком Румынском фронте, его застала февральская революция 1917 года. События того смутного времени Кондрат Кондратьевич описывал следующим образом. Накалялась политическая обстановка в армии, очень сложно было разобраться в происходящем. Не хватало информации о том, что же все-таки происходит в России. А дед, в свою очередь, не представлял, что происходит в его родных местах. Газеты в часть не попадали. Не было никакой разъясняющей информации. Сведения о революционных событиях в России, о свержении самодержавия доходили в виде слухов, в отрывочном, запутанном и часто искаженном виде. Вместе с тем в армии резко усиливались революционные настроения, все больше обострялось классовое противостояние. Объективным обстоятельством было то, что уставшие от изнуряющей войны солдаты и многие офицеры в большинстве своем положительно воспринимали происходящее, так как надеялись, что последует скорое окончание военных действий. Воевать никто уже не хотел. Солдаты были настолько измотаны затянувшейся войной, что все чаще и чаще наотрез отказывались идти в атаку. Армия выходила из повиновения. Люди были взбудоражены и растеряны. По всему фронту проходили стихийные митинги, бурные обсуждения, которые возникали прямо на боевых позициях, в окопах. Атмосфера накалялась. Неподчинение приказам командования стало нормой армейской жизни. Офицеры нередко пытались

пресекать нарушения воинской дисциплины по всем законам военного времени, но безуспешно. Лозунг «Долой войну!» звучал все громче.

Дед рассказывал, что, находясь в чужой стране, тоже не мог толком разобраться, что же происходит в России. На этой войне он был командиром роты. Несмотря на свои офицерские погоны, он, с точки зрения классовой, оставался все тем же выходцем из деревни, таким же крестьянином, что и его солдаты. Поэтому их менталитет, их настроения были ему не только понятны, но и близки. Дед рассказывал, что солдаты, чувствуя это, относились к нему с доверием и даже выбрали в какой-то комитет. Правда, в какой, он точно не помнил.

Полк, в составе которого воевал Кондрат Кондратьевич, был сильно истрепан и ослаблен сражениями. Осенью 1917 года дед заболел брюшным тифом, попал в госпиталь и вернулся в полк уже после Октябрьской революции.

Вскоре, согласно приказу главнокомандующего Кириленко, из армии демобилизовали учителей, так как в стране уже началась работа по ликвидации неграмотности. Демобилизовался и Кондрат Кондратьевич. Таким образом, в феврале 1918 года дед вернулся в родные места. Правда, приступить к работе учителя он смог только после освобождения Беларуси от немецкой оккупации, осенью 1918 года. Проработав некоторое время в школе в деревне Каменка Узденской волости, он вновь попал под оккупацию, уже белопольскую. А в августе 1920 года его вновь призвали на военную службу. Теперь уже — в Красную Армию в качестве командира взвода.

Но вернемся к событиям 1918 года. Возвратившись на Родину после тяжелых военных походов, дед твердо был настроен осесть на земле. Было чувство, что родные места — это самое надежное пристанище. Было намерение обзавестись семьей, обосноваться. В это время он встретил замечательную девушку, Елену Махнач, мою бабушку.

Семья Елены переселилась в Низок из соседней деревни Заболотье, после того, как там сгорел их дом, а с ним и все остальное хозяйство. Бабушка иногда со смехом вспоминала своих давнишних кавалеров и говорила, что, мол, на лавочке посидеть, проводить до калитки — это пожалуйста, а вот чтобы жениться, так нет. Бедная была, бесприданница. Потому никто и не сватался. «А как в Низок переехали, встретился парень что надо», — так говорила она про моего деда.

Прожили мои дед с бабушкой в добром согласии почти полвека. Если бы не умерла бабушка от тяжелой болезни, то и целый век прожили бы они вместе. Дед пережил ее на двадцать семь лет и все эти годы был ей верен.

Поженились Кондрат Атрахович и Елена Махнач в 1919 году. Очень далеко осталось озеро Селигер. Осташковская весна стала только воспоминанием о довоенной юности. Казалось, что все это ушло очень далеко, да и вообще случилось в какой-то другой жизни.

Екатерина Петровна Философова прожила всю свою жизнь в Осташкове. Кондрат Кондратьевич в начале двадцатых годов прошлого века переехал в Минск, где и прожил уже до конца своих дней, где написал свои лучшие произведения, где не один десяток лет посвятил развитию отечественной науки. Жизненные пути их бесповоротно разошлись. У каждого была своя дорога. Здесь можно было бы поставить точку, если бы Осташковская весна вдруг не напомнила о себе. А напомнила совершенно неожиданным образом. Неожиданным, как и все Катины поступки.

Отгремела Великая Отечественная война. Началось мирное строительство. Кондрат Кондратьевич в это время уже был членом-корреспондентом Академии наук Белорусской ССР, занимался научными исследованиями в области языкознания и лингвистики, стал уже известным в республике драматургом. Кондрат Кондратьевич всегда вел активную деловую и личную переписку. И вот однажды на его адрес пришло письмо из России. Конверт был подписан очень аккуратным и каким-то знакомым почерком. Как весточка из далекого прошлого, на конверте было написано — г. Осташков.

Дед с интересом, немного волнуясь, вскрыл конверт. К слову сказать, у него было одно правило — он никогда не надрывал конверты. На его рабочем столе всегда стоял настольный мраморный письменный прибор, очень тяжелый и массивный. В нем размещались авторучки (когда-то ручка с простым пером), карандаши (простой и еще один, который помнит старшее поколение, — с одного конца синий, с другого красный), пресс-папье, и непременно был специальный ножичек для разрезания бумаги. Вот этим-то ножичком, а иногда и просто ножницами, дед очень аккуратно вскрывал письма.

Вскрыв конверт, дед достал оттуда небольшой, сложенный вчетверо листок бумаги. На нем ровным и правильным, почти каллиграфическим почерком, с небольшими росчерками, без абзацев были написаны следующие слова: «Кондрат Кондратьевич! Если Ваша фамилия Крапива — псевдоним, а настоящая Атрахович, вспомните городок Осташков Калининской обл. (бывшей Тверской губернии) и большой двухэтажный дом около пруда, где жили сестры Абакшины и прошла маленькая частица Вашей молодости — даже юношества…» В письме было поздравление от сестер Абакшиных с правительственной наградой. Сестры желали Кондрату Кондратьевичу творческих успехов.

Заканчивалось письмо такими словами: «Если Крапива и Атрахович одно и то же лицо, то черкните нам по адресу: г. Осташков… (затем был написан знакомый адрес. — *Прим. автора.*) Философовой Екатерине Петровне». В письме стояла дата — 1951 год. Под письмом подпись — Абакшины.

Выяснилось, что поводом к этому письму послужили следующие события. В 1951 году Кондрату Крапиве была во второй раз присуждена Государственная премия СССР (тогда она называлась Сталинская) за пьесу «Поют жаворонки». Об этом сообщили то ли в центральной прессе, то ли по радио, точно уже не вспомню. Важно другое — сообщение это в контексте новостей прозвучало на весь Советский Союз. Долетело оно и до Осташкова. Екатерина Петровна узнала фамилию Атрахович и тут же решила во что бы то ни стало найти Кондрата Кондратьевича.

Адрес моего деда был ей неизвестен. Но она не растерялась, направила письмо в Белорусскую ССР, адресовав его в какую-то официальную организацию, кажется, в Союз писателей. А уже оттуда письмо переслали Кондрату Крапиве.

Получив письмо от Философовой, Кондрат Кондратьевич был немного удивлен и даже обрадован. Но сразу не ответил. Почему, не знаю. Могу только предполагать. Было у него много работы, других забот, тяжело заболела дочь, словом, он, думаю, посчитал, что не время. Осташков давно остался в далеком прошлом. Не главным, наверное, было в тот момент, предаваться воспоминаниям. Но письмо Екатерины Петровны дед сохранил.

Дед всегда взвешивал и тщательно обдумывал все свои поступки. Ответ на письмо Екатерины Петровны он отложил на потом. Прошло какое-то время, прежде чем он посчитал возможным написать в городок Осташков. Судя по всему, Екатерина очень ждала его письма. «Дорогой Кондрат Кондратьевич, большим, радостным, счастливым праздником было получение Вашего письма!» — эти слова выражают ее искреннюю радость. А еще, я думаю, радовалась она тому, что уберег-таки Кондрата Кондратьевича тот ее серебряный, «екатерининский» рубль.

Постепенно между ними завязалась дружественная переписка. Писали они друг другу не часто. Письма Екатерины Петровны были эмоциональными, я бы сказала, сдержанно-эмоциональными, лишенными какой-либо фамильярности. И Кондрат Кондратьевич, и Екатерина Петровна обращались друг к другу в письмах всегда только на «вы» и всегда по имени и отчеству. Тон писем был очень уважительным, вместе с тем дружеским и даже сердечным. Похоже, что Осташковская весна сохранилась добрым и светлым воспоминанием для каждого из них.

Екатерина Петровна много рассказывала в своих письмах о том, как сложилась ее жизнь. У нее было два сына, двое внуков и одна внучка. Старший из ее сыновей, морской офицер, капитан первого ранга, жил тогда в Севастополе. Младший сын был партийным работником в Калининской области. Муж ее, Владимир Философов, в Великую Отечественную войну воевал, вернулся инвалидом войны и умер в 1945 году. С тех пор жила она одна, но на лето все дети и внуки съезжались в Осташков, погостить в ее уютном доме. Письма свои к Кондрату Кондратьевичу она подписывала так: «Уважающая Вас Е. Философова».

В одном из писем Екатерина Философова так написала о событиях той далекой весны 1916 года: «…вспомнилась наша с Вами беседа в Набережном саду, когда оба мечтали прославиться в своей жизни. Вот Вы претворили в жизнь свою мечту. Стали знаменитым человеком в государстве. У меня же получилось так: «Суждены нам благие порывы, а свершить ничего не дано».

Мне было весьма интересно прочитать эти строки. Для меня это письмо стало маленьким открытием.

Дед неизменно поздравлял Екатерину Петровну с праздниками — с Днем 8 Марта, с Новым годом. Он никогда не забывал этого сделать. Как-то я помогала ему писать новогодние поздравительные открытки. Их как всегда было много. Дед находился уже в преклонном возрасте, плохо видел, писать самому было довольно трудно. Поэтому многие открытки я печатала для него на пишущей машинке, а он только подписывал. Открытку для Философовой я уже заправила в машинку, но дед остановил меня, сказав: «Нет-нет, давай-ка я от руки напишу. Так теплее». Интересно, что письма и открытки, адресованные Екатерине Петровне, дед всегда писал от руки.

С того далекого 1916 года они больше ни разу в жизни не виделись. А вот переписка их продолжалась до тех пор, пока была жива Екатерина Петровна. Прожила она долгую, вполне благополучную и спокойную жизнь. Когда Екатерине Философовой исполнилось 90 лет, Кондрат Кондратьевич поздравил ее, написав с присущим ему добрым юмором слова: «Рад поздравить Вас со знаменательным событием в Вашей жизни — 90-летием со дня рождения! Нашего полку долгожителей прибыло». А закончил письмо так: «С сердечным дружеским приветом — долгожитель К. Атрахович».

Однажды дед позвал меня в свой кабинет и сказал: «Вот какое дело — умерла Екатерина Петровна». Вскоре после этого он отдал значительную часть своего архива в Академию наук Белорусской ССР. В этом архиве в числе прочих документов были и письма Философовой.

Видимо, будучи человеком мудрым и понимая, что жизнь рано или поздно подойдет к своему естественному завершению, дед в чем-то для себя поставил точку. Осташковская весна ушла в прошлое теперь уже навсегда. Больше дед об этом ничего никогда не рассказывал.

Родные Екатерины Петровны не раз приглашали нас приехать в гости. В Осташкове и сейчас живет кто-то из ее родственников. Надо сказать, иногда очень хочется мне побывать в тех краях, пройтись по улицам Осташкова и еще раз прочувствовать то, о чем написала я в этой главе своей книги. Надеюсь и мечтаю, что когда-нибудь все-таки найду такую возможность. Для меня это будет не просто интересная экскурсия к древнему озеру Селигер, по красивейшим местам России. Это будет увлекательное путешествие во времени.



ВЛАДИМИР ЯГОВДИК

Золотые кросна души

Штрихи к портретам

С Добречью в сердце

1

Конечно, такие поездки не забываются. Стоит февраль 1980 года. Низкое красное солнце спешит за небосвод. А мы потихоньку едем красивой лесной дорогой в добитом от бесконечных командировок телевизионном уазике. Куда и зачем на ночь глядя? Да как обычно: на литературный вечер. Сегодня — по приглашению Пружанской районной библиотеки.

В машине едва ли теплее, чем в холодильной камере: прижимаемся ближе друг к другу, топаем ногами. Если сказать, что мерзнем, значит, сказать неправду. Потому что на холод совсем не обращаешь внимания, когда слушаешь Владимира Колесника. А сегодня, несмотря на занятость, — лекции в институте, работа над статьями для журналов и энциклопедий — он вместе с нами. И чем дорога длиннее, тем лучше. Будет о чем когда-нибудь вспомнить и подумать над чем, ведь просто сыпать словами на ветер Колесник не любит и не умеет.

Как обычно, разговор наш не только о делах литературных, наоборот, он ближе к чему-то обыденному, земному. Тем временем подъезжаем к Пружанам. Взглянув на часы, Владимир Андреевич говорит:

«Хлопцы, так времени еще много. Давайте подскочим в Шерешево. Если бы вы знали, какая там чудесная книжная лавка, с пустыми руками не останемся…»

Мы — поэты Алесь Каско, Микола Прокопович и автор этих строк, — конечно, не против. Каких-то пятнадцать-двадцать минут — и мы в местечке. К сожалению, в книжную лавку не успели: было закрыто. Но зато каждый купил себе теплые носки. Натянули их на ноги в машине и в добром настроении вернулись в Пружаны.

А потом был литературный вечер. В небольшом празднично убранном зале людей собралось не так и много. На встречу, скорее всего, пришли те, кто любит и глубоко уважает Ее Величество Литературу…

Первые официально-волнующие минуты. Наконец слово берет Владимир Андреевич. Удивительно: человек давно преподает в институте, не счесть, сколько раз выступал перед самой разной публикой, а видно, что волнуется. Но только вначале, потом чувство разделения (мы — выступающие, остальные все — слушатели) незаметно исчезает, завязывается непосредственный живой разговор, во время которого незаинтересованных нет и не может быть.

Я исключительно люблю слушать Колесника именно в таких случаях. Сюда, за сто километров, он выкроил время и приехал не просто, чтобы рассказать о новых произведениях, напечатанных на страницах местных газет или республиканских изданий. Он хотел поддержать единомышленников, тех, кто любит родной язык и культуру. А еще Владимир Андреевич умеет заметить в стеснительном начинающем авторе поэтический талант, помочь ему поверить в себя. Поэтому неслучайно с каждым годом все сильней и сильней разгорается берестейский литературный огонь, который он по-хозяйски поддерживает на протяжении всей своей жизни в городе над Бугом.

Сидя в тесноватом, но уютном зале, я с интересом всматривался в увлеченные открытым разговором лица присутствующих, как будто пытался догадаться: чья искорка вспыхнет на этом литературном празднике и отправится в нелегкий творческий полет.

В конце встречи посыпались вопросы: о Скорине и Гусовском, о Купале и сказочнике Редком. И говорили мы о них как о современниках, живых людях, отчего на сердце было особенно хорошо и светло.

Обратно в Брест возвращались поздно вечером. Мороз стал заметно мягче, чувствовалось, что вскоре наступит оттепель. Почти всю дорогу молчали, иногда перебрасывались словом-другим. Не знаю, как у кого, а моя душа была переполнена (не расплескать бы) чувством радости.

2

«Все человеческое» — так он назвал свою последнюю прижизненную книгу очерков и литературных портретов, которая вышла в конце 1993 года. Вскоре я получил ее в подарок с дружеским автографом-пожеланием: «Пускай не оставляет тебя щедрая рука Аполлона!» А еще через несколько месяцев Владимира Колесника не стало. И с того времени, если мне приходится бывать в Бресте, я чувствую себя на знакомых улицах неуютно и неприкаянно, хотя и есть к кому заглянуть, где тебя всегда тепло встретят.

Нет, неслучайно он дал такое емкое название этой книге, которая освещала жизнь и творчество тех, кто был ему особенно близок, кого он хорошо знал и уважал: Рыгора Ширму, Валентина Тавлая, Янку Брыля, Владимира Короткевича, Алексея Карпюка, Алеся Рязанова… В непростой, искореженной судьбе самого Владимира Колесника, в его неординарной личности переплелось столько «всего человеческого», что хватило бы на нескольких. Наверно, такие разносторонние, с неукротимой энергией люди рождались в эпоху Возрождения, в легендарные времена Скорины, гению которого Владимир Андреевич посвятил немало проникновенных страниц, в частности, написал содержательную вступительную статью к энциклопедическому справочнику «Франциск Скорина и его время» (1988). Действительно, он был талантлив во всем, за что ни брался. Свидетельство тому — его живописные этюды, деревянные скульптуры, многочисленные фотографии, особенно те, что опубликованы на страницах созданной им вместе с Алесем Адамовичем и Янкой Брылем знаменитой книги «Я из огненной деревни…». В годы войны, будучи в партизанах, Колесник сам не однажды смотрел в глаза смерти. Об этом мы, его младшие друзья, узнали после публикации на страницах журнала «Полымя» повести «Долг памяти», за которую уже некому было пожать руку…

Владимир Колесник, родившийся на неманских берегах, стал всезнающим летописцем западнобелорусской литературной жизни, вдумчивым критиком и пропагандистом творчества таких непревзойденных мастеров слова, как Максим Танк и Владимир Жилка, именами которых гордилась бы любая литература. А вообще он постоянно стремился рассматривать национальные духовные приобретения в общеевропейском контексте, был одинаково сведущ и в античной культуре, и в народных фольклорных сокровищах. Не случайно в лучшей его книге «Творение легенды» (1987) рядом с очерками «Образ Скорины», «Аллегория зубра Николая Гусавянина», «Купалы сны неизгладимые» опубликовано эссе «Жил-был сказочник Редкий», небольшую цитату из которого я позволю себе здесь привести: «Кузнецы-богатыри Редкого неутомимо куют правду и долю, куют будущее. И это богатырское кование мудро вещается как настоящий смысл жизни, вершина земного счастья…»

Именно таким неутомимым кузнецом-чародеем был и сам Владимир Колесник. Профессор, заведующий кафедрой белорусской литературы Брестского университета, руководитель областного литературного объединения, секретарь

отделения Союза писателей… Через его руки прошло несколько поколений учителей родного языка и литературы, он благословил в творческий путь Михася Рудковского и Нину Матяш, Миколу Прокоповича и Алеся Каско. Это был Учитель с большой буквы. Прежде всего — в жизни.

…Мы возвращаемся из Каменецкого района, где выступали перед учениками средней школы. Шофер — молодой паренек — залихватски крутит баранку и похваляется охотничьими подвигами. «Дичи, — говорит, — хватает, ведь близко — беловежские леса…» В Бресте Владимир Андреевич просит его подождать возле подъезда дома, а через минуту-другую выносит из квартиры охапку книг с именами на обложках — Сетон-Томпсон, Джой Адамсон, Бернард Гржимек: «Почитай, может, иногда подумаешь, прежде чем стрелять...»

Я сижу в редакции. Телефонный звонок: «Если есть время, помоги…» Встречаемся на троллейбусной остановке. В руке у Колесника ведро с цементом и кельмой. Выходим возле кладбища на бывшей Московской улице. И потом несколько часов упорядочиваем забытую родственниками могилу поэта Миколы Засима. Я только помогал: принес песка и воды. Но тот теплый августовский денек начала 80-х и сегодня стоит перед глазами, как будто мы встретились позавчера.

А разве можно забыть наши совместные путешествия на Добречь? Добречь — это хутор на берегу Немана, недалеко от Синявской Слободы, где родился Владимир Андреевич. О, как гордился я, что сижу на переднем сиденье в том самом бордового цвета «Москвиче-407», пассажирами которого не однажды были Адамович, Брыль и Короткевич! (Где сегодня ты, старомодная легковушка? Почему не в литературном музее? Хотя бы за то, что исколесила всю Беларусь, пока собирался материал к книге «Я из огненной деревни»?) Добречь — место-сказка, удивительно белорусское по настроению и звучанию. Серебристокрылый Неман, старые вербы и богатыри дубы, луга-покосы, а за ним — леса-дубравы в голубоватом мареве. А незабываемые дружеские «говорильни» у вечернего костра… Удивительно, при всей своей профессорской мудрости и степенности, несмотря на солидный возраст, Владимир Андреевич не разучился удивляться, открыто радоваться и злиться. Поэтому я воспринимал его если не ровесником, то старшим товарищем, с которым можно поспорить, как говорят, взяться за грудки. Или о новом поэтическом сборнике, или о недавней выставке брестских художников.

Я благодарен ему за верное мужское плечо, всегда поддерживавшее меня во время непредвиденных жизненных перипетий, за те сердечные письма, которые получал от него, работая в еженедельнике «Літаратура і мастацтва».

«Брест, 30.III.86. Дорогой Владик! Высылаю материал с чувством неуверенности, не уверен, что он нужен, точнее, что из него нужно сегодняшнему дню литературы и что может быть полезно для улучшения культуры профессиональной дружбы, сплоченности, без которых нельзя выполнять нашей бедной литературе свою нелегкую в настоящее время задачу…»

«Брест. 19.VIII.89. Дорогой Владик! Лежу в палате-одиночке областной больницы (небольшая, но надоедливая травма) и думаю, не подвел ли я тебя с Евгеном Лецкой приглашением на Добречь. Жалею, что и сам много потерял, не побыв с вами, не наговорившись. Жаль и лета, что прошло незаметно. Все же надеюсь, что во вторник меня выпишут и еще хоть на несколько дней наведаюсь в Наднеманье навестить друзей и знакомых (родных уже почти никого там не осталось) — такой, как говорят мудрецы, жизненный процесс. А я, болея, написал по мотивам анкеты «ЛіМа» целую статью о творческом процессе. Статья получилась злая, сейчас я отошел немного и вижу, что нужен свежий глаз и редакторская прополка…»

И, наконец, фрагмент из его последнего письма ко мне:

«Брест. 26.VI. 93. Дорогой тёзка! Шлю тебе несколько снимков на выбор: на одном мы с Короткевичем рыбачим, на других с Брылем — в разные годы… А тот свитязянский с Короткевичем делал Янка моим аппаратом. Вообще, если

бы не Брыль, то у меня могло бы не быть ни одного снимка: у нас о фотографе не очень принято думать как о друге, думают как о каком-то функционере, которому небесная канцелярия поручила щелкать аппаратом и раздавать фотки. А на самом деле это судьба обязала фотографов-любителей ходить в вечных должниках…»

Он жил с Добречью в сердце — для людей.

1982, 2002

Волшебница из лесной хатки

1

Имя Зоськи Верас — Людвики Антоновны Сивицкой-Войтик — известно всем, кто интересуется белорусской литературой. На страницах газет и журналов были опубликованы ее содержательные воспоминания о Максиме Богдановиче, Владиславе Голубке, Гальяше Левчике, Ядвигине Ш., других деятелях нашей национальной культуры, с которыми приходилось встречаться и дружить. Известно также и то, что долгие годы Людвика Антоновна сама занималась литературной деятельностью — писала стихи, зарисовки, рассказы, часть их собрала в сборнике «Колоски» (1985).

«Начало творческого пути Зоськи Верас приходится на времена уже почти легендарные, — говорит в предисловии к этой книге Нил Гилевич, — когда в расцвете творческих сил были такие исполины белорусской изящной словесности, как Якуб Колас и Янка Купала, Тётка и Максим Богданович, когда, использовав определенные завоевания русской революции 1905—1906 годов, живо пробуждалась к самостоятельному историческому житью-бытью Беларусь, шло стремительное формирование национально сознательной белорусской интеллигенции».

Уже в начале творческого пути, в первых стихах, напечатанных в «Нашай Ніве» под псевдонимом Мирко, молодая поэтесса высказала то главное, что беспокоило ее, заставило взяться за перо.

Я не баюся жыццёвай буры,
хоць добра знаю яе шум пануры,
і змрочнага не баюся ценю
без ласкі цёплай сонейка праменю.
    І не баюся працаў мазольных
    для рук бяздольных…
Але ж баюся я ўтраты веры,
траты энергіі баюся без меры,
баюся жыцця без ідэалу,
бо ў чорнай пустцы сэрца б сканала.
    Больш чым цялеснай баюся смерці —
    душой умерці…

Поэтическая подборка под названием «Чарующий край», которая входит в сборник, состоит из семи стихотворений. В них чувствуется дыхание народной песни с ее простой формой, но глубоким жизненным содержанием. Сердечным состраданием, невыдуманной болью трогает «Песня сироты», западает в душу стихотворение «Чарующий край», похожее на мамину колыбельную.

Еще во время учебы в Киевском женском коммерческом училище Зоська Верас попробовала свои силы в жанре прозы. Сначала это были вдумчивые записи-наблюдения над необъятным и чудесным миром природы. Позже появились первые зарисовки. В книге они объединены в раздел с характерным названием — «Настроения». Читаешь эти произведения и чувствуешь краткий и точный репортаж мыслей, переживаний, а прежде всего — желание выявить сущность человеческой души, показать ее стремление к свету духовности.

«И хотя когда-то свет звезд потемнеет, хотя на глаза навернется слеза, хотя на устах погаснет смех веселый, и станешь как лозинка дрожать — месяцу ясному ночкой холодной жаловаться, — звучит живой монолог в «Надо хотеть», — и тогда не верь, что сон, к которому прикоснулся жизненный сивер, не возвращается, что сказка цветастая, горячая, как южное солнце, не встанет больше перед тобой. Не верь! Хотеть только жить! Хотеть — это сломать найсильнейшую боль! Сто раз умирать и сто раз ожить можно! Счастливой быть! Из звезд корону иметь. Надо только хотеть. Надо только хотеть!»

Нет сомнения — притягивает читателя и то, что произведения, объединенные общим названием «Настроения», отличаются между собой не только жизненным материалом, но и жанровым разнообразием. Тут есть и открытый лирический монолог, и экспрессивная пейзажная зарисовка, и мудрая сказка… Отдельно хочется остановиться на рассказе «Только сон». В определении жанра я, скорее всего, не ошибся, хоть это произведение объемом в две машинописные страницы. Перед нами емкий рассказ, где есть и напряженный сюжет, и неординарный человеческий характер.

«Грохот машин, протяжный свист паровика, сильные отголоски чужеземного разговора перемешивались в голове работника Винцука в один непонятный хаос. Откуда он здесь? Какие благие ветра занесли его, сына Беларуси, в эту далекую чужбину?..»

И далее автор сжатыми предложениями рассказывает еще одну жизненную историю, что случилась со многими и многими белорусами. Первая империалистическая война, беженство, долгое возвращение на родину.

«Рвется душа вперед. Руки сами погоняют кобылку, но та как будто сама понимает надобность спеха. Что гонит их? Что их гнетет? Тянет их голос родного серого загона, тянет их та сила таинственного, заложенного в душе каждого хлебороба, сила великая — влюбленность в Мать-Землю. Гонит их печаль, что с каждым днем, с каждым часом разрасталась шире и шире долгие месяцы, проведенные далеко, на чужбине…»

Читая это произведение, невольно вспоминаешь замечательного украинского новеллиста Василя Стефаника. Не знаю, училась ли у него Зоська Верас, но то, что она принимала близко к сердцу народное горе, — сразу видно в ее произведениях.

«Зоська Верас организовывает детский журнал «Заранка» (1927—1931), редактирует его, — пишет в послесловии к «Колоскам» Янка Саламевич. — Ей самой приходилось быть и автором, и редактором, и корректором, и экспедитором. Но энтузиазма хватало, чтобы, имея 30 злотых помощи от Белорусского посольского клуба, вести издание, радоваться, что белорусские дети ждут свой журнал…»

Большинство произведений, составляющих раздел «Поры года», в свое время было напечатано именно на страницах «Заранки» и других западнобелорусских журналов. Нужно отметить, что они и по сегодняшний день не утратили своего познавательного и эстетического значения. Писательница не просто учит любить природу, она помогает нам понять ее многочисленные тайны. Каждый, кто возьмет в руки «Колоски», убедится, что Зоська Верас владеет чудесным талантом педагога. Учителя с большой буквы. Писательница не докучает нудными поучениями, она разговаривает с детьми, как равная с равными. А кто, скажите, этого не любит? И еще. Важное место в своих произведениях она придает положительному примеру. Но первенство здесь принадлежит не взрослым, а старшим подросткам, к которым особенно тянутся младшие мальчики и девочки.

Можно много говорить о языке книги, удивляться его точности и красоте. Впечатление остается одно: читаешь — и хочется читать. А таким качеством, как известно, обладает настоящая литература. Колоски любви и добра щедро подарены людям.

2

Сегодня, 30 сентября 1992 года, необычный день. Исполнилось сто лет со дня рождения Зоськи Верас. Одиннадцать месяцев и двадцать дней не дожила она до этого юбилея, наверно, самого чудесного, который может случиться в человеческой жизни.

Сижу перед окном, за которым то улыбнется голубизной, то запечалится реденьким дождиком осенний день. Перед глазами едва ли не самое яркое воспоминание со студенческой поры — поездка осенью 1975 года в Вильню, к Зоське Верас. Мы отправились из Минска, зная, что нас встретят на железнодорожном вокзале, так как получили письмо от Людвики Антоновны, датированное 17 сентября 1975 года, в котором она писала:

«С удовольствием поделюсь своими воспоминаниями о Максиме Богдановиче с группой молодежи, которую это интересует… Если вам будет удобно, я бы просила приехать в следующем месяце. Или в начале, или посередине — нет разницы. Лучше всего в субботу или воскресенье. Чтобы вам не нужно было искать (а это действительно нелегко), предлагаю заранее договориться по телефону с моей дочкой, которая живет в городе, и приехать вместе ко мне в мой лесной уголок…»

И все же, если признаться, эту заботу мы приняли как знак внимания и гостеприимства, а лесную хатку, кружа как будто во сне по причудливым древним улочкам Старого города, представляли себе деревенской хатой где-нибудь на далекой окраине. Нашим опытным и осведомленным проводником был зять Людвики Антоновны — Левон Луцкевич, который мог рассказывать о Вильне бесконечно. Вскоре старые здания и похожие издали на серые облака громадины современных строений остались позади. Мы вышли из троллейбуса и, перескочив через железнодорожное полотно, очутились в совсем ином мире. Начался лес. Кто-то вдохновленно выдохнул: «Из одной сказки — в другую!..»

Но куда же делось наше говорливое настроение? Почему мы в одно мгновение замолчали, успокоились и притихли? Шли долго, шли, как очарованные, в золотом храме. Вдруг его стены раздвинулись. Нас ждала белая хатка доброй волшебницы.

На столе передо мной лежит папка, полная конвертов со знакомым, немножко склоненным влево выразительным читаемым почерком. Пересчитал конверты: 85 писем получил я от Людвики Антоновны за пятнадцать лет нашей переписки. А у нее же были десятки, если не сотни адресатов.

«Когда подсчитала сегодня, то за три месяца этого года я получила более 100 писем, и то преимущественно с разными вопросами на самые неожиданные темы... — писала она мне 29 марта 1979 года. — Спрашивают о делах 1916, 17 годов, о 1919 — 20, 21 и т. д. Чего не помню, ищу в письмах тех времен, а иногда пишу некоторым людям, прошу информации. Все это забирает много времени, внимания, забот. А отказать нельзя никому, тем более что в некоторых случаях людям не у кого спросить. Вот как плохо так долго жить... и еще много знать».

Я не стремился досаждать конкретными вопросами. Просто рассказывал Людвике Антоновне про свою жизнь, про свои заботы и надежды. И часто получал в ответ письма с какой-то особенно доверчивой, по-домашнему близкой душе и сердцу интонацией. Пусть же послужат мне оправданием за то, что забирал много времени, строчки из второго ее письма, датированного 5 декабря 1983 года: «Говорю, что много писем с вопросами получаю, но я на это не жалуюсь... Без такой работы доживать свою жизнь было бы печально и пусто. Что надо, спрашивайте, пишите...»

Боже, как я хотел, чтобы она дожила до своего столетия! Часто думал: неужели она своей жизнью, неужели все мы, ее приятели, которые бесконечно любим ее, не заслужили у Всевышнего такую радость — побыть на этом празднике?! Что-то значительно большее, чем просто столетний юбилей, мне представлялось в этой чуть ли не магической дате.

А что сама Людвика Антоновна? Как было ей — старенькой, немощной, высохшей, как былинка? Еще в начале 1988 года, 11 марта, она достаточно твердым почерком писала мне: «Дел у меня немало, а чувствую себя плохо. Что смогу сделать — не знаю... А может и “отдохнуть” было бы уже пора? Сколько это может тянуться?..»

Что я ответил ей — не знаю, не помню. Обычный бодрый тон здесь совсем некстати.

А жизнь — тянулась... На Людвику Антоновну, которая в молодости потеряла слух, осенью 1988 года навалилась новая беда — она начала слепнуть. Последнее письмо ко мне помечено 10 октября. Около недели я читал несколько предложений, написанных непривычно большими, не соединенными между собой буквами. Как на беду, ручка, которую держала в руке Зоська Верас, была испорчена, многих букв в словах нет, от них остались только точки и черточки. И даже теперь, через годы, я не могу до конца разобрать это последнее ее письмо, хотя смысл его понял сразу: «Дорогой Володя и вся Ваша семья! Спасибо за память. Как видите — я уже совсем почти не вижу — слепну. Пожалуйста, ответьте мне, соглашаетесь ли, чтобы все Ваши письма ко мне... вместе со всеми другими... я отдала в Музей-Архив? Я уже сдала туда около 3 тысяч писем. Жду ответа. Желаю Вам всего хорошего. Очень сердечно Л. Войтикова».

Несколько предложений — и весь человек: его душа, его суть, его жизнь.

Потом через две недели пришло письмо от Левона Луцкевича, который сообщал: «Хотя мы теперь переживаем у себя интересное и обнадеживающее время, но в нашем доме ничего радостного. Состояние здоровья Людвики Антоновны значительно ухудшилось. Хуже всего то, что она теперь уже почти совсем потеряла зрение. К сожалению, и Ваше письмо прочитать она уже не сумела. Раньше мы все письма, адресованные ей, специально переписывали большими печатными буквами, но теперь уже и это не помогает. Случилось это каких-то две-три недели тому назад. Таким образом, она почти совсем лишена контактов с окружающим миром, лишена возможности воспринимать какую-либо новую информацию и очень тяжело переживает свое вынужденное бездействие. От этого, конечно, значительно ухудшилось и общее состояние ее здоровья...»

Из лесной хатки, которую она построила своими силами, Зоську Верас перевезли в обычную городскую трехкомнатную квартиру, кажется, на седьмом этаже. А весной 1990 года домик, что остался без присмотра, умышленно подожгли какие-то нелюди. Сгорело много вещей, журналов и книг, а также несколько чудесных произведений Петры Сергиевича.

Знала ли про это Людвика Антоновна?

О чем она думала, о чем вспоминала в последние три года жизни, словно живьем замурованная глухой стеной от людей? Похоронили ее погожим октябрьским деньком на старом Панарском кладбище около Вильнюса. Под вековым дубом, что стоит на пару с красавицей-липой. Похоронили без слез, с всегдашней нашей скромностью. Мне впервые выпало держать в руках крест. Видит Бог — идти с ним было тяжело. А она, Зоська Верас, всю жизнь несла на себе этот страдальческий белорусский крест.

1985, 1992

Вечер с Короткевичем

Обычный записной блокнот «в клеточку». На картонной обложке несколько выцветших от времени васильков. Страницы пестрят торопливыми, наполовину сокращенными записями, которые теперь нелегко прочитать. Они сделаны мною в феврале 1983 года, а точнее, — 9 февраля, на квартире Владимира Короткевича. По заданию редакции «ЛіМа», где я тогда работал, в этот день мне посчастливи-

лось брать интервью у писателя по поводу присуждения ему Литературной премии имени Ивана Мележа за роман «Нельзя забыть».

Я не раз видел и слушал Владимира Семеновича, но подойти к нему, познакомиться лично не отваживался, хотя много о чем хотелось расспросить и даже посоветоваться. И вот — такая возможность! Редактор сам позвонил лауреату, заручился его согласием на публикацию, мне же оставалось подготовить вопросы и точно записать ответы. Карандашом в блокнот — так надежнее, чем надеяться на добитый редакционный магнитофон. Вечером после работы, как было заранее условлено, я поспешил в район Купаловского театра. Легко нашел нужный старый дом, квартиру на четвертом этаже, с волнением нажал на кнопку звонка. Дверь открыл сам хозяин. Он был в пижаме, в тапках на босу ногу. Вокруг глаз — темные круги. Я знал, что жена писателя, Валентина Брониславовна, тяжелобольная, лежит в больнице, что у самого Короткевича плохо со здоровьем... Невольно подумалось, что зашел я не в лучшее время. Расспрашивая на ходу про лимовские хлопоты, Владимир Семенович повел меня в свой кабинет. Там сразу бросилось в глаза множество книг на полках вдоль стены и картины, неподалеку от окна стоял письменный стол, заваленный папками и бумагами. Мы же присели около журнального столика, возле которого мягко светился торшер. Хозяин устроился на тахте, я — на мягком стуле. Не успели перекинуться и несколькими словами, как вдруг в соседней комнате или коридоре зазвонил телефон. Кто-то поднял трубку. «Племянница...» — пояснил мне писатель. Вскоре она показалась в дверном проеме: «Просят к телефону...» — «Меня нет, — твердо сказал Короткевич, — я работаю и давно ушел из дома». Племянница положила трубку, а я, почувствовав душевное напряжение собеседника, не знал, с чего начать, как подступиться к запланированному интервью. Заметив мою нерешительность, Владимир Семенович спросил: «Ну что, может, начнем? Давай первый вопрос...» Не успел я развернуть блокнот — снова зазвонил телефон. На этот раз протяжно-переливисто. Сразу узнаешь — межгород. Племянница, подняв трубку, подтвердила: «Кто-то из Москвы... Отказывать?»

Телефонные звонки, видимо, доняли писателя. Он скривился, как от зубной боли, подхватился с тахты, начал выговаривать родственнице: «Я же объяснял — меня нет! Я на банкете в ЦК или мокну в «Нёмане». Ну, выдумай что-нибудь, дай поговорить с человеком. Или не подходи к этому чертовому созданию. Пусть хоть лопнет!»

Закрыв наглухо дверь, хозяин остановился около книжной полки, достал из-за книг бутылку водки, стаканы, обернутый в бумагу хлеб: «Сделаем по капле и будем работать. Материал в следующий номер идет?»

Интервью с писателем под названием «Сперва судить читателю» появилось на лимовских страницах 18 февраля 1983 года.

— Владимир Семенович, — начал я разговор на торжественной ноте, — получение литературной премии, нет сомнения, — событие для автора приятное, радостное…

— И, как мне кажется, чуточку печальное… — улыбнулся Короткевич. — Почему? Понимаете, когда начинают писателю давать премии, награды, чаще всего ему уже не 20 лет. К сожалению… Значит, человек ты не молодой или совсем старый. А кто с этим хочет смириться?

— А как вы относитесь к популярности, к широкому читательскому признанию?

— К фанфарно-барабанному — никак. Хоть бы его и не было. А вот когда ощущаешь настоящее уважение к тому, что ты говоришь, пусть себе в чем-то и не соглашаются, — это всегда радует и волнует. Скажу по секрету: все-таки приятно, когда зайдешь в библиотеку и шутя спросишь свою книгу, а библиотекарь разводит руками: «Простите, два месяца, как последний экземпляр стянули…» Или когда случайно встретишься со случайным человеком, который случайно

твое что-либо читал и даже случайно запомнил твою фамилию… Слово за слово, смотришь — разгорелся спор, а там — кто-то кого-то и на лопатки положил. Вот это мне нравится.

— Литературная премия, которую вам присудили, носит имя Ивана Павловича Мележа. Это, пожалуй, вызывает какие-то особенные мысли, чувства…

— Я люблю Мележа. И как человека, и как писателя. Во многих вопросах литературы, вообще искусства, хочется верить, мы были единомышленниками, хоть и случались между нами горячие споры. Однако не помню в наших отношениях отчужденности, неискренности, за что я благодарен судьбе. Поэтому присуждение этой литературной премии — для меня явление очень личное, однако радость моя замешена на августовской печали, ведь очень рано Ивана Павловича не стало...

— Каким вам видится творческое звено Мележа в контексте белорусской литературы, вообще нашей национальной культуры?

— Как и много кому — золотым. Никогда не забуду то несравненное впечатление, которое произвели на меня «Люди на болоте». Это было сродни взрыву бомбы. Живые люди. Живые крыши на хатах. Живое болото вокруг. ПОЛЕСЬЕ! Очень хотелось бы писать так густо, так глубоко, как написан этот роман, как написаны лучшие страницы других мележевских книг. Теперь к этому еще обязывает и присуждение премии его имени.

— А в чем, на ваш взгляд, секрет такого счастливого возвращения к читателю романа «Нельзя забыть»?

— Произведение это — многоплановое, в определенной мере — экспериментальное. История тут переплетается с современностью, проза — с поэзией, лирика — с жизненным сухим реализмом. Такое сочетание четверть века назад было новинкой в нашей литературе, да и теперь еще редко встречается. Пожалуй, в этом одна из причин того, что роман читается… Одна из причин, но не главная, ведь помимо чисто литературных приемов и форм человек в произведении всегда находит еще что-то свое, глубокое, личное…

— И последний, традиционный вопрос: над чем теперь работаете?

— В издательстве «Беларусь» готовится к печати альбом, посвященный очень интересному старинному городу — Мстиславлю. Это родина моей матери, а значит — и моя родина. Написал к этому изданию небольшое предисловие, которое в последние дни ошлифовываю. А что получилось — судить читателю.

…Листаю блокнот, вчитываюсь в карандашные записи, который уже раз перечитываю чудесный пролог из романа «Нельзя забыть», который получил в подарок с дорогим автографом: «Уважаемому другу Володе Яговдику на добрую память от автора Вл. Короткевича. 9 февраля 83 г.». Обычная или, как в таких случаях говорят, дежурная подпись, но все равно первые два слова — «уважаемому другу» — волнуют и заставляют посмотреть на себя со стороны придирчивым взглядом. Те, кто долгие годы знал писателя, в один голос утверждают: он любил и умел дружить. От себя добавлю: и легко мог обратить каждого в свою веру, не стесняясь при этом произносить то, что думал, не обращая внимания на дружбу, звания и болезни.

Страницы блокнота сохранили фрагменты нашей беседы вот на какую тему. Я поинтересовался, имеет ли право литератор на свободную интерпретацию исторического факта. «Конечно, имеет, — ответил Короткевич и упомянул пушкинские “Маленькие трагедии”, потом добавил: — Однако художник, который уважает себя, не вправе перекручивать исторические события на свой лад, когда сохранились документы того времени, пусть себе и много в чем противоречивые...» И в качестве примера почему-то привел «Хамутиус» Аркадия Кулешова. «В свое время я говорил ему, что нельзя так пренебрегать историческими источниками, как он это сделал в поэме. Калиновский посвящает Марии Григотович стихотворения, она — чуть ли не воплощение всей Родины. В то же время, как видно из следственного дела, именно Григотович выдала жандармам Констан-

тина. Кстати, мне говорили, что Аркадию прислали микрофильм этого дела, но он даже не распаковал коробочку с пленкой... Без правды исторической меня не интересует правда художественная. Так и запиши!»

Я, конечно, записал. И тут же поинтересовался, насколько правда художественная соответствует правде исторической в романе «Христос приземлился в Городне».

«Этот роман от начала и до конца фантазия, если хочешь, даже вранье. Я только оттолкнулся от строчек из хроники Стрыйковского, где рассказывается про бродягу, который выдавал себя за Сына Божьего. У меня была совсем другая цель, чем слепить относительно правдивую историческую хронику из средневековья. Я писал притчу, роман-легенду с мыслью о том, что случилось бы в тоталитарном обществе, если бы действительно появился Христос. И я уверен: человек с головой на плечах, а не с горшком, не ткнет в меня пальцем, что я отступил от правды!»

Дальше Владимир Семенович с печалью в голосе рассуждал, почему нас, белорусов, захлестнуло историческое беспамятство. «Давай посмотрим, сколько в школьном учебнике по истории Беларуси отведено страниц прошлым столетиям и сколько так называемому периоду после 17-го года. Нет, пока не избавимся от абецедарщины, останемся слепыми и глухими. И никто в мире не станет нас уважать, если не научимся уважать самих себя, свое прошлое, культуру, язык».

Стрелки часов стремительно приближались к полуночи. Я чувствовал, что засиделся, что давно пришло время поблагодарить за гостеприимство и распрощаться. Но так было хорошо при уютном свете торшера, так интересно слушать Короткевича.

Под самый конец нашей беседы, как бы шутя, решился спросить, сколько нужно времени, чтобы научиться писать прилично. «Мне хватило 10 лет, — не удивился моему наивному вопросу Владимир Семенович. — Загляни под стол!..»

Я наклонился и увидел, что босые ноги Короткевича стоят на стопке отпечатанных машинописных страниц. С недоумением смотрю на хозяина, а он объясняет: «Это все мои словесные упражнения. Печки нет, чтобы сжечь, а вынести во двор в мусор — никак не соберусь. Понял?..» Мне ничего не оставалось, как кивнуть головой: «Понял».

Через несколько дней после выхода в свет еженедельника с интервью набираю телефонный номер квартиры писателя. Трубку поднял сам Короткевич. Поздоровавшись, спрашиваю:

— Читали, Владимир Семенович?

— А как же — посмотрел!

— Ну и как?

— Неплохо, Володя. А знаешь, что мне больше всего понравилось?

— Что?

— Что ты не назвал моим любимым литератором Максима Горького!..

Я молчу, не знаю, как реагировать. А в телефонной трубке насмешливый дружеский голос:

— Только ты не обижайся. Честное слово, такое случалось. И не один раз. Заходи, не забывай...

1983, 1993

Дядька Ян

Первую мою книжку я назвал «Горький березовик». Из издательства пришло сообщение, что рукопись включена в редакционный план. Надо ли говорить: я ощущал себя на седьмом небе. А в начале 1981-го почта принесла еще один издательский конверт — толстый и тяжелый. В нем оказалась рецензия на рассказы. Рецензентом был Ян Скрыган. Восемь убористых машинописных страниц в один момент опустили меня с небес на землю и остудили хмельную голову. Рецензия напоминала порку крапивой.

«Ваша импрессия “Горький березовик” не удалась, в ней нет той мысли, которая может тронуть воображение или душу читателя, и она не может стать названием сборника. Вообще ее не стоит включать в книжку. Она даже воспринимается не очень приятно. Зачем же пробовать чужое, брошенное “добро”, — может, там вместо березовика уже кто-то гадко пошутил. Вы видите, какую неэстетическую ситуацию вызывает Ваша импрессия?» И дальше: «Страница за страницей идет речь бог знает о чем, про то, что попадается героям на глаза, но только не про то, что является предметом повествования... Событий нет, размышления, характеров нет, внутренней напряженности сюжета нет, начинаешь утомляться от бездеятельности, бесконфликтности, от бесцельного топтания на месте… Слышно и видно, что Вам не хочется походить на других, и Вы это решаете очень просто: начинаете мудрствовать с языком...»

Цитату можно продолжать и продолжать — и все, как говорят, в одни ворота. Речь идет о рассказе «Форель», том самом рассказе, который был напечатан в еженедельнике «Літаратура і мастацтва», которым я гордился, считал лучшим в будущей книжке. Не помню уже, как так получилось, видимо, в поисках поддержки или утешения, я решился показать заключение Скрыгана другу, который писал стихи и успел пробиться на журнальные страницы. Он скользнул глазами по рецензии, почесал затылок и вздохнул: «Разве не гад?.. Назвал кнут “Хочу, чтобы вы стали хорошим писателем”, а сам без ножа зарезал!»

Через несколько недель, остыв от обиды, посидев над замечаниями, я вынужден был признать: рукопись нужно строгать и строгать. Впервые вот так, как первоклассника, меня взяли за руку и повели от слова к слову, от предложения к предложению. Правда, в конце рецензии был штрих, который не давал разувериться в своих способностях: «Почему-то я на вас очень и очень надеюсь».

Это подтолкнуло меня найти адрес Яна Скрыгана и написать ему письмо. Ответ довелось ждать долго.

«23.4.81. Дорогой Володя! Вот только сегодня я вернулся из больницы и хочу поблагодарить за Ваше письмо и за то, что не обиделись на мою рецензию, — писал Ян Алексеевич. — Буду рад, если она действительно поможет Вам. Но скажу, что Ваше письмо вселило в меня и тревогу. Из него я узнал, что серьезно Вы работать еще не умеете и этому Вам надо обязательно учиться. Систематически — работать над собой, вырабатывать дисциплину работы, овладевать материалом, неутомимо искать свои выразительные художественные средства. Почему я делаю такой вывод? Только из Вашего письма. Оно, так же как и рассказ Ваш, сумбурное, разбросанное, в нем нет последовательности мысли... Про саму графику письма. Куда Вы торопитесь, кто Вас гонит, что не успеваете даже писать буквами, а вместо них ставите какие-то условные знаки?.. И Вы гоните и гоните руку, растягивая каждое слово так, что буквы не могут догнать одна другую. Я нарочно вот так открыто написал Вам, дорогой Володя, чтобы Вы еще раз задумались, что пора серьезно посмотреть на себя и на то, чем Вы хотите заняться: на литературу. Ну вот, на том и бывайте здоровы. Не гневайтесь за правду, которую Вам говорю. Я хочу, чтобы Вы во всем были привлекательны: и в жизни, и в литературе. Ян Скрыган».

Читать такое было тяжело. «Горький березовик» оказался более горьким, чем я себе представлял. Вместе с тем не сомневался: мне желают добра. Потому не удивительно, что сердце жег стыд, а не обида. А если добавить сюда самолюбие — болезнь почти неизлечимую, — тогда можно угадать, с каким настроением я ходил в те апрельские дни.

Случилось так, что через месяц я приехал в Минск. Справился с делами и подался на Парковую магистраль. Хотелось взглянуть на родное общежитие, где пролетело пять лет студенческой жизни, повидать друзей, которые заканчивали учебу. Я долго блуждал по коридорам, стучась то в одни, то в другие двери. Было воскресенье. Никого из знакомых так и не нашел. До отправления поезда оставалось полдня. Что делать? Куда податься? И тут вспомнилось: недалеко улица Танковая, где живет Скрыган. Записная книжка с адресом и телефонным номе-

ром в кармане. Может, позвонить? И неудобно, и хочется... А ноги тем временем сами понесли к Юбилейной площади, откуда начиналась Танковая. Нужный дом нашел быстро. Высокий, красный, похожий на неприступную стену, он придушил мой хилый оптимизм. Пожалуй, если бы в эту минуту я очутился где-то около ЦУМа или на вокзале, ни за что не подошел бы к телефонному аппарату. Убегать же из-под окон посчитал не лучшим вариантом. И — набрал номер.

Мягкий женский голос спросил, кто звонит. Я назвался. «Заходите, Володя, заходите! Ян Алексеевич дома, он спустился забрать почту...» Приглашали так искренне, что отказаться было невозможно.

Та первая встреча с Яном Скрыганом особенно врезалась в память. Честно говоря, я представлял его угрюмым сухарем, застегнутым на все пуговицы, а он оказался подвижным, с внимательным взглядом сквозь старомодные очки и дружелюбной улыбкой на лице. Пока Анна Михайловна, жена писателя, не слушая мои протесты, хлопотала на кухне, мы с хозяином присели в небольшом уютном кабинете, где ощущался порядок, неслучайность каждой вещи. На стене, около письменного стола, пододвинутого к окну, желтели старые фотокарточки. На некоторых я узнал известных поэтов и прозаиков, сфотографированных в далекой молодости.

О чем говорили мы? Конечно же, о литературе. И не в общем (хорошее произведение — плохое произведение, интересное — не интересное), а конкретно, с текстом в руках. Ян Алексеевич достал из ящика в столе папку с газетными вырезками. Так вот почему на столе, на видном месте, лежали ножницы! Многие места из «лимовских» и «звездовских» текстов даже набухли от правок и подчеркиваний. И никаких нудных поучений. Со мной как будто советовались, чтобы в конце сделать один-единственный вывод: «Не надо мудрствовать и штукарить. Пиши, как ходишь. Главное в литературе — своя собственная походка».

Потом обедали. Не обошлось без радостной рюмки. На прощание Ян Алексеевич подарил мне книжку. Это были его «Круги», изданные в «Библиотеке белорусской прозы» в 1969 году. Уже в поезде, достав из саквояжа том, я прочитал на титульной странице: «Владимиру Яговдику. Чудесная минута встречи. Надежды, ожидания... Как же хочется, чтобы ожидания исполнились. Ян Скрыган. Май, 81 г.». Перелистнул несколько страниц и удивился: по тексту зелеными чернилами, что не мешало глазу, сделаны правки и сокращения. Я легко узнал руку автора. Внимательного редактирования не избежали многие произведения.

И по сей день не забылось, как захватило меня чтение «Кругов», с каким жадным интересом вглядывался я в предложения, где снова поработала рука писателя. Оказывается, он одинаково строго относился как к чужой, так и к своей прозе. Только тогда, в поезде, что мчал в лето, я понял: мне действительно повезло.

С того времени почти все, что было написано, я присылал Яну Алексеевичу. Конечно, с его согласия. Соглашался и не соглашался с замечаниями, но всегда с нетерпением ждал отзыва: конкретного, без лишних мелочей и дидактического укора. Ян Алексеевич умел порадоваться чужому успеху, похвалить без оглядки, не боясь, что у адресата вскружится голова. Так получилось с первой моей повестью «І паклікала я...». Не ради самолюбования упоминаю это письмо, а как пример внимательного прочтения рукописи, после которого хотелось работать, идти дальше.

«29.04.82. Дорогой Володя! Наконец нашел время почитать твою повесть “И стала я звать” (прости, не дружу с этим словам “кликать”, тем более людей). Рад, очень рад, поздравляю. Энергичная, душевная, волнующая, густо написанная. Я не узнаю твоего языка: колоритный, народный (временами, конечно, подделанный), нет прежних выходок, сколько свежих, простых, человеческих слов, совсем по-своему сказанных. Сколько — нет, не сколько, а какие образы — Комар, пожилая женщина, сколько авторской души в повести. На столе у меня лежит бумажка, на которой записывал настроение, когда читал: стр. 4—5. Лес. Тропинка. Меньше описания, ведь может надоесть. Надо перебивать его размышлениями. Будет интереснее читать. Стр. 6—7—8 — меньше описаний, надо размышление. Ведь

похоже на топтание на месте. Стр. 23. Молодец. Язык — не узнать, вот что значит не выдумывать, а брать домашний. Ночлег — загляденье! (в криничке: “в которой мерцает одинокая звездочка”). С Комаром пошло на загляденье хорошо. Сказка Комара про Воловича — очень удачно использованный старый мотив. Ярко, выпукло. Не часто ли сны? Но все же как бы на месте. Стр. 41: молодец — свежо, ярко, искренне. “Вроде золотые шмели, к земле прилетели первые крупные капли дождя” — хорошо. Язык! Все делает язык. Стал образный, поэтический. Только первое описание, чтобы не нудно читалось, надо перебить размышлением. Стоит издать отдельной книжечкой, а? Стр. 50: с немцами — картинно. Жутко. Никому не давай править язык. После того, как примешь мои замечания, те, что тебе будут по душе, — больше никому не давай править. Никаким ни редакторам, ни стилистам. Испакостят. На многих страницах останавливался, возвращался назад, смаковал — ты стал просто новый: уверенная рука, возмужавший голос. Голос именно свой. Будь здоров. Жму руку. Рад. Ян Скрыган».

Когда я переехал в Минск и работал в редакции «ЛіМа», мы виделись чаще, нередко обсуждали по телефону последний номер еженедельника. Жаль, положив трубку, я не записывал его комментарии к публикациям — в первую очередь для самого себя, чтобы не повторять чужие ошибки. От обычной небрежности, хочется верить, дядька Ян меня вылечил.

В 1985 году, как раз к 80-летию, в издательстве «Мастацкая літаратура» увидел свет двухтомник избранных произведений писателя. Я приобрел это шикарное, в суперобложке, издание. Во втором томе, среди статей, собранных под названием «Мастерская», нашел рецензию на «Горький березовик». Критическая крапива нисколько не привяла, напротив, жгла еще сильней. А буквально через пару дней в редакцию заглянул сам дядька Ян и попросил о помощи: надо из «Кнігарні пісьменніка» отнести на квартиру книги. Почему не подсобить? Я оделся, и вскоре мы были в книжном. Поцарапанный чемодан рыжего цвета стоял подготовленный. Взявшись за ручку, я почувствовал: есть что нести и не шибко разгонишься.

Проходили последние ноябрьские дни. Замерзшие лужи и грязь запорошило снежным размолом. Мы не спеша шли к автобусной остановке.

— Может, тяжело? — спросил озабоченно Ян Алексеевич. — Давай отдохнем.

— Ага, аж руку отрывает! — отшутился я. — Второй том — как кирпич.

— Обижаешься, что я разместил рецензию? — понял мой намек, замедлил шаг дядька Ян.

Спасибо бессмертной классике! Она выручает в безнадежной ситуации.

— Калі навука пойдзе туга, паможа бацькава папруга! — с чувством продекламировал, беря чемодан с книгами в другую руку.

А потом был долгий интересный вечер. Ян Алексеевич вспоминал «буренную» молодость, жуткие 30-е годы, про то, как однажды встретился в бане с Янкой Купалой и увидел на животе у народного поэта огромный шрам. По Минску ходили глухие слухи, что он хотел покончить жизнь самоубийством, а в «Звяздзе» от имени Купалы утверждалось, что это — вражеское вранье.

На прощание дядька Ян подписал мне двухтомник. Затем склонился с ручкой над чистым листом бумаги. Аккуратно вырезал написанное ножницами, которые лежали под рукой, и вклеил в один из томов.

— Приедешь домой — прочитаешь, — сказал на прощание, — это как раз то, что теперь на сердце у меня, разменявшего девятый десяток...

Было позднее время. Нужный автобус пришлось ждать долго. Я остановился под фонарем и достал из сумки подаренные книги. Скоро нашел во втором томе, в разделе «Ящик моего стола», нужную страницу с подклеенным рукописным текстом. Миниатюра называлась «Воспоминания». «Не хочу, чтобы помнились обиды. Только хорошее стоит того, чтобы оно вспоминалось. Ян Скрыган. 29.11.85 г.».

1993

«Поэзия — аки птица...»

В Бресте мы жили по соседству. Я — в панельной пятиэтажке, он — в огромной кирпичной домине с пристроенными несколькими магазинами. Чтобы вызвать лифт, сначала нужно было одолеть крутые ступеньки, и на немалую высоту. В подъезде темно — хоть глаз выколи. Современной молодежи не нравится «лампочка Ильича». Скользко, под каблуками трещит стекло. Тут, и правда, недолго свернуть шею. С облегчением захожу в тесную клетку лифта. Такое ощущение, что поднимаюсь не вверх, а вроде лечу в колодец. Наконец — площадка. Нажимаю на кнопку звонка и слышу в ответ: «Заходи! Открыто!..» Квартира однокомнатная. Незавешенное окно с выходом на балкон. Никакой мебели, если не считать две табуретки и старомодный круглый стол недалеко от окна. По углам — горы книг. Около стены, на раскладушке, с сигаретой в руке лежит хозяин. На груди — развернутая книжка с белой обложкой, похожая на раскрыленную птицу, о чем и сообщаю вместо приветствия.

— Ты не ошибаешься, — выдыхает вместе с дымом Рудковский. — Поэзия — аки птица неприрученная, что никак не поймут многие минские голубятники. Послушай лучше... — Он берет в руку книжку и читает:

И мнится — голос человека
Здесь никогда не прозвучит,
Лишь ветер каменного века
В ворота черные стучит.
И мнится мне, что уцелела
Под этим небом я одна —
За то, что первая хотела
Испить смертельного вина.

— Серьезное стихотворение, — соглашаюсь я, идя на кухню, где выкладываю из сумки на подоконник буханку хлеба, кусочек привезенного из деревни сала...

— Анна Андреевна! — в голосе Михася неподдельное уважение. — Слепнево, ужасный семнадцатый год... — И после короткой паузы, как бы между прочим: — Может, принесешь пол-литра?

— Не могу, — сразу отсекаю я, — нет денег.

— Я найду...

— Не проси, ведь все равно не пойду.

Присев на табуретку, вижу, как недовольно топорщатся под тонким носом смешно подстриженные короткие усики. И — занудливое ворчание, к которому я успел привыкнуть за время совместной работы на Брестском телевидении, в литературно-драматической редакции.

— Знаешь, как мне на трясущихся ногах ходить? За стену держусь, чтобы не загреметь с лестницы. Магазин во дворе, а я два часа трачу...

В начале 80-х Михась Рудковский оставил службу на студии, где работал почти двадцать лет. Плохо стало с ногами. Доктора назначили ему инвалидную группу. Поспособствовал Владимир Колесник, к которому прислушивались не только люди в белых халатах — даже партийные функционеры с их воинственным непринятием всего белорусского. Получив кое-какую пенсию, Рудковский подолгу не давал о себе знать. И сам не звонил, и к нему не дозвониться, потому что не имел домашнего телефона. Поэтому изредка я навещал Михася, не ожидая приглашения. Те встречи, когда они случались, нельзя назвать интересными. Скорее напротив: они вызывали ощущение досады — тяжело было смотреть, как человек постепенно добивает свое здоровье, губит самого себя. По инерции хотел дальше написать: и деградирует. Не послушалась рука, ведь сказал бы неправду. Не забылось, как однажды в перерыве писательского собрания в Доме литератора, Светлейший — он же автор романа «Плач перепелки» Иван Гаври-

лович Чигринов, — увидев в фойе Михася, которого сильно водило из стороны в сторону, глубокомысленно произнес: «Интеллигентный все-таки человек этот Рудковский, даже под мухой. Такое редко бывает с нашим братом...» Да, он был мягким, деликатным человеком, настоящим интеллигентом, но никогда не стеснялся сказать то, что думал. Вот характерный пример — письмо ко мне, когда я служил в редакции «ЛіМа».

«15.12.84. г. Брест. Володя, то, что я скажу тебе сейчас, покажется удивительным. И я склоняю свою глупую голову перед твоею мудрой. Я тогда, зайдя в вашу редакцию, просил за А. Ф. И кланялся в "Полымі" —"Примите!.." Я — вахлак вахлаком. А он — мой "друг" — злодей. Наглый и страшный, ведь смотрит в твои глаза ангелом, а надо — как демон. Так скажи, брат мой, что такого человека где бы то ни было печатать нельзя. Художник есть художник. И в жизни, и в творчестве. А мы должны равняться на совесть великих наставников наших — Пушкина, Толстого, Чехова, Купалу, Богдановича... Володя, скажи от моего имени "Вожыку", где лежат его юморески: "Подождите!" Ведь злодей есть злодей. Я имею в виду Ф.

Рад за тебя. Читал. Хорошо! Иди дальше и ищи. Ведь, как сказал кто-то, "остановка на мгновение — смерть!" И я догораю... А пока — будь здоров! Мой поклон Юре (Свирке. — *В. Я.*) и Сидоревичу. Всего вам хорошего. Ваш Михась Рудковский».

И еще одно короткое письмо, потому что в нем тоже весь Рудковский — человек и поэт.

«13.03.86. Брест. Дорогой Володя! Я просил бы по-человечески, внимательно, может, даже доброжелательно отнестись к этому материалу. А. Цвыд — украинец. Родился на Свитязи. Закончил Львовский университет. Учительствовал. Работал в газетах. И сейчас довольно активно сотрудничает с "Зарей" и нашим телевидением, пишет преимущественно про западно-белорусские и западно-украинские литературные, культурные и исторические связи. Хороший, немного старше тебя, искренний парень и искренний друг белорусов. Два или три года живет в Бресте, на "Востоке". И, видимо, тут останется до конца, потому что выплачивает "кооперативку". Болеет и зарабатывает на жизнь какой-то домашней технической работой. Добавлю еще, он немного пишет стихи, переводит белорусских поэтов и держит связь с украинскими периодическими изданиями.

Было бы хорошо, если бы ты его "благословил" в своем "ЛіМе". А если уже заказана статья про Гаврилюка, то не ленись и передай Цвыда, может, в "Звязду" или "Чырвонку". Вообще, возьми шефство над ним, пожалуйста.

Искренне пожимаю твою руку. Мой поклон Юре (Свирке. — *В. Я.*) и Галине (Корженевской. — *В. Я.*). За стихотворение в женском номере — искреннее спасибо. М. Рудковский».

Стихотворение Михася в «женский номер» попало неслучайно. Его любовная лирика — самобытная и неповторимая, с живым дыханием, что ощущается в каждой строчке.

Карай мяне за грэх любы,
Без літасці карай!
Але прашу — не разлюбі!
Малю: не раскахай!
Я без цябе — без лісцяў лес
Ці птах, што без крыла.
Аслепну ўраз я ў цемры без
Душы твайго святла.
....
Таму прашу: карай, карай
За грэх мой за любы!
Але малю: не раскахай,
Крый Бог, не разлюбі!

Это стихотворение — из последней книги Михася, которая называется «Горынь». Знаю: он очень ждал ее и — не дождался. Скромное оформление, бумажная обложка... Увидел бы — наверняка грустно улыбнулся бы: снова картонная солидарность досталась мастеровитым и проворным голубятникам. И не смолчал бы, обязательно дал бы мне в гриву за длинное многоточие между вторым и третьим столбцами процитированного стихотворения, за пропущенное четверостишие, как на мой взгляд, лишнее, очень «залитературное».

Прости, Михась, за такое своеволие. Представляю, как ты не на шутку возмутился бы, как, злостно встопорщив усы, не стал бы слушать моих оправданий. Я уже не говорю про критические замечания. А кто из сыновей Аполлона к ним прислушивается? Поэтому, чтобы идти дальше с чистой душою, присоединяю замолчанные четыре строчки к остальным серым прозаическим письмом: «Альбо паміж бясстрасных зор // У празе і віне // Згару — чужынец-метэор — // У роднай старане».

Горстка слов. Перечитал их еще раз вслух и не могу не удивиться: как много сказано горькой правды. И про себя, и про всех нас, кто молится родному слову. Разве не индейцы мы на своей земле? Почему так случилось — не трудно объяснить. Но улучшится ли от этого наше самовосприятие? Да и интересует меня теперь другое: что помогло поэту даже «в жажде и вине», будто стреноженному идеологическими шорами («На міг Ільіч прысеў на пень, які // Стаіць мацней, чым залатыя троны. // Ён слухае рабочыя мільёны, // Прароча ўглядаецца ў вякі...») оставаться самим собой — поэтом. Нарочно обхожусь без эпитетов наподобие «отличным», ведь Рудковского, я в этом уверен, меньше всего волновала очередь на Олимп, иллюзорными ступеньками к которому служат «ура-рецензии», государственные премии, почетные звания... И в жизни, и в поэзии с юношеских лет и до последних дней его не покидала, вела любовь, ведь

Зямля без сонца — прах, а не зямля,
а без любові чалавек — што камень...

В этом святом чувстве, как в зернышке, он видел смысл человеческого бытия:

З часоў дагістарычных і да новых
свет ўсё-такі стаіць на трох кітах:
на дабраце, на працы, на любові.

Обе цитаты, а также строчки про Ильича, от взгляда которого «збіраюцца на небакраі буры і спеюць ў грозных бурах перуны», взяты мной из сборника лирики «Позвы», изданного в 1971 году. Как и в предыдущих книгах, там много стихотворений про тишину и раскаты грома, доброту и жестокость, любовь и ненависть, но лично мне они напоминают солнечные и темные стекляшки калейдоскопа, объединенные разве только одной обложкой.

Совсем иное настроение, совсем иная интонация на страницах сборников «Тригорье» (1981), «Предостережение» (1984) и, особенно, в стихотворениях из последней книги — «Горынь». Несмотря ни на что Рудковский стремился к высокой гармонии, к сосуществованию противоположных начал, когда все дополняется друг другом. По крайней мере, он мечтал, чтобы так сталось, но не закрывал глаза и на другое: «Нам чагосьці ўсё не хапае: // то шаўкоў, то яды, то бяды. // — Стараніся! — ляцім і не знаем // і па што, і нашто, і куды...» Спасение было одно — в родной полесской природе, в ее тонких акварельных пейзажах, которые будто произносят голосом поэта:

Ён, свет, чароўны, як заўсёды:
Звініць у срэбры дня аер,
Ляціць у бездань ночы звер
І лебедзь падае на воды;
І голас кнігаўкі ў тумане,

І першы промень на сасне,
І залацінка ў баразне,
І незвычайнасці чаканне;
Далёкі грукат перуновы,
І шэпт твой мілы на мяжы,
І разняволеныя словы
У разняволенай душы...

Михась Рудковский — последний звук той чудесной сказки, которую мы называем Полесьем. Не стало Полесья, замолчал и поэт. Есть его последователи, но они дети иного времени, иных ритмов. Не хочу никого обидеть, но они не дыхание Полесья, а след от этого дыхания на зеркале. Значит, сказка не умерла, она живет — может кто-то возразить. Но живет ли голос в эхе?

Еще одно стихотворение из «Горыни». Без названия и даже без кавычек или тире перед первым словом, что характерно для монолога:

Для вас — мае пушчы, і травы, й пралескі,
І кожнае зернетка ў заўтрашнім полі,
І трубы аленяў, і зябліка песня,
Для вас — мая воля, спрадвечная воля.
А вы да мяне — у жалезе і п’яна,
У зайздрасці хцівай і жорсткай без меры.
Уся я ў атруце, у шрамах і ранах,
Канаю паціху... без страху... без веры...

Слишком пессимистично? Нет, Рудковский не был пессимистом. Напротив, он был жизнелюбом. Стихотворения про любовь золотинками рассыпаны по всем книгам Михася. А с людской злобой он сражался. Сражался и побеждал:

Рассуну я сцены ў пакоі сваім
На поўдзень і поўнач, на захад і ўсход,
І столь падніму да аблок,
І будзем там жыць —
Смяяцца, тужыць і дружыць —
Я і птушыны народ,
Я і звярыны народ.
З году ў год,
З роду ў род,
Сотню і тысячу год
Там у пакоі сваім будзем жыць
Я і мой слаўны народ.

Возвращаясь вечером после работы домой, я часто замечал на балконе, будто в ковчеге, печальную фигуру Михася, к которой с криком летели ласточки.

... — Так, может, хоть пива принеси, — поняв, что я неумолим, снова подает голос Михась.

— Очередь — человек тридцать.

— А ты скажи Зине, что от меня, — он заметно оживляется. — Только банку сполосни...

Что мне делать? Вернуться, стукнув дверью, домой? Даже не перекинувшись словом... Иду на кухню и мою трехлитровую банку. Меньших — нет. Возвращаться придется с полной, ведь знаю философию Михася: только полная банка пива имеет эстетический вид, а в остальных вариантах напоминает... Наверняка вы сами догадались, что напоминает.

Вываливаюсь из темной ямы подъезда и невольно застываю на ступеньках. Вот какое чудо: когда заходил к Рудковскому, улыбалась весна, а вышел — в реденькой тополиной листве блестит тихий августовский денек. Не иначе —

зрительный обман. Зато в торце многоэтажной домины с квартирой Михася — издалека видно — по-прежнему стоит пивная бочка. Около нее столпился народ. Направляюсь туда и я. Не спеша обхожу очередь, но поставить банку под краник не успеваю. «Куда прошь? Куда ты прошь, тебя спрашиваю?! Пратри ачки и дуй в конец очаради!..»

Кулак у паренька — как моих два, с таким серьезным аргументом не шибко поспоришь.

— Зина, — говорю спокойно торговке, — Рудковский сам не может прийти, очень просил тебя не отказать ему...

Зина — дородная, не обнять (и как не треснет на ней халат?) — женщина с мясистыми, старательно подрисованными губами, руки — еще больше, чем у паренька, что гаркнул из очереди. Какое-то мгновение она таращится в мою сторону удивленно-осоловелыми глазами, потом привстает с железного насеста и, вытирая столик полотенцем, смотрит на портрет Михася, прикрепленный к кирпичной стене с надписью: **«Тут жил и работал поэт...»**

— Не упадешь, постоишь! — бросает она изнывающему от жажды пареньку. — Он не для себя берет, а для известного писателя, у которого больные ноги...

И — не спеша наливает пиво. Подтягиваю к себе бородатую банку, наклоняюсь и целую Зинину руку, перехватив ее, как аппетитную булочку, около пивного краника. А краем глаза вижу: на углу дома, ожидая меня, улыбаются наши с Михасем приятели — поэты Микола Прокопович и Алесь Каско.

1993

«Я услышал твой голос…»

Пожухлая от времени вырезка из «Чырвонай змены». Сверху на ней большими буквами набрано: «Знакомьтесь — Алесь Письменков». А ниже — теплое дружеское слово Миколы Федюковича, рядом с ним — Твой, пожалуй, еще школьный фотоснимок. И просто по стихотворениям сердечная дарственная надпись, сделанная Тобой 12 мая 1976 года «с верой в свет наших будущих дней». Первокурсник — третьекурснику, впечатленному этим наивным, словно выдохнутым шестистрочием:

Казала маці, што нярэдка
Ў далоні пляскалі суседкі:
«Як залаты сыночак твой!..»
А я не белы і не русы —
Як жыта ў нас на Беларусі,
Што па-над Бесяддзю маёй.

Вот таким ты и вошел в мою жизнь, Алесь. Правдиво-ржаным, действительно родным, дорогим человеком. Мы встретились и сразу подружились. Навсегда, хотя, конечно же, случались между нами и горячие споры. Как далекое эхо-привет из тех незабываемых студенческих лет ко мне снова пришло Твое первое письмо.

«Белыновичи, 22 июля 76 г. Владя, день добрый! В первых же строчках своего письма хочу извиниться, что ответил не сразу на твое письмо. Дело в том, что две недели жил у бабули за 8 км от моей деревни. Она сейчас болеет, и мне пришлось помогать деду по хозяйству. Сегодня утром прихожу домой, брат подает письмо, смотрю — от Ягоды. Большое спасибо, Владя!

Много писать не буду, потому что надеюсь, что скоро все обсудим — вместе, неспешно и искренне. Ехать ко мне очень просто: в 9 ч. 50 м. утра в Минске садишься на поезд “Калининград—Москва” и спокойно едешь до Орши, там

пересаживаешься на поезд “Орша—Донецк”, а в 21 ч. 50 м. я тебя встречаю на красочной станции Белыновичи. Надеюсь, что мой “гениальный” план тебе пригодится раньше, чем пойдет на мусорку. Хочу верить, что ожидания мои оправдаются: ты — приедешь! До скорой встречи. Крепко обнимаю. Твой Алесь.

P. S. Владя, пока ты в Зельве читаешь 10 томов А. Письменкова, он написал еще пять. Ведь на Беседи сам воздух пахнет поэзией, в чем легко убедиться, если сесть на поезд “Калининград—Москва”».

К сожалению, я не смог тогда Тебя проведать, в чем теперь винюсь и сильно сожалею. В Твои Белыновичи мне довелось попасть намного позже, только в феврале 2002 года, когда мы вместе приехали на похороны Твоей мамы — Марии Семеновны. Перед тем, чтобы набраться сил зайти в Твой родной дом, я остановил машину около Беседи. С глазами, полными слез, Ты прислонился ко мне и прошептал: «Я никогда не забуду, что ты не оставил меня в эти черные дни…»

А я бесконечно благодарен Тебе за свет тех многих дней, что Ты подарил мне на жизненном пути. Ты гулял на моей свадьбе, а я — на Твоей. Потом мы вместе поднимали на ноги наших деток. Нас не разлучили даже сотни километров, когда я жил в Бресте. У меня сохранилось еще одно письмо, где Ты писал:

«За приглашение в гости — благодарю! При первой же возможности выберусь к вам. Иначе и быть не может: меня ждет крестница. Смотрите, чтобы девочка росла здоровой и была умнее родителей. А не то — всыплю вам на орехи! Что ни говорите — крестный отец. Чин обязывает…»

И сдержал свое слово. В середине марта 1981 года наведался на выходные в Брест. Вместе с симпатичным Чебурашкой, подарком для Юли. В моем блокноте с тех дней осталась запись: «Поздно вечером ходили к Мухавцу. Вокруг кричали чибисы. На душе было как-то неспокойно радостно. Алесь, хоть с виду и возмужал, но душой по-прежнему мальчишка…»

На следующий год я перебрался в Минск. И почти все 80-е мы работали рядом, в «полымянских» и «лимовских» кабинетах. Жили тоже неподалеку друг от друга, поэтому на работе или после работы в редакции часто обсуждали литературные новинки. Наконец дождались и собственных первых книжек. Твой сборник «Белый камень» я получил с трогательным автографом вместо новогоднего подарка 2 января 1984 года. И в тот же день записал, охмелевший от радости: «Вот и Письменок принес мне свою чистую прозрачную книжицу. Прочитал, не выпуская из рук. Дай Бог и впредь оставаться ему таким же честным и искренним в жизни и слове…» Жаль только, Ты почему-то не включил в «Белый камень» мое любимое шестистрочие из дебютной публикации в «Чырвонцы», не нашлось ему места и в следующих Твоих поэтических сборниках.

В середине 80-х я сотрудничал с Брестским театром кукол. Там готовились к постановке две мои пьесы. Режиссеры решили подвеселить скучноватые диалоги музыкальными номерами. И как Ты ни отнекивался, Дружище, а вынужден был написать тексты к песням, ступить на стезю детского поэта. Тогда же мы вместе с брестскими артистами и спектаклем «Солнышко, свети!» пожаловали на Слонимщину, в мои родные Костровичи, навестили небольшую лесную деревню Едначи, посидели на берегу Щары. А через несколько месяцев Ты откликнулся нежными строчками:

Сонца заходзіць — вогнішча ўсходзіць,
Свеціць ласкава ўначы.
Усё-такі добра, Валодзя,
Што ёсць на зямлі Едначы.
Ёсць бераг зялёны. Жаданая лодка.
Ёсць горкая кропля. І яснасць святла.
І песня гаючая продкаў
Балюча ў душы прарасла…

Благодаря стезе детского поэта и светлому таланту к юным читателям потом пришли Твои чудесные книжки «Болельщики» (1993), «Лакомки-весельчаки» (1997), «Мы с братом» (2003). Подписывая последнюю, Ты назвал меня «вдохновителем этой книжки». Возможно, так оно и было, хотя я больше верю следующему Твоему посланию, полученному на одном из заседаний писательского совета:

Кім не знаю станеш заўтра,
А пакуль ты вучань Маўра,
А пакуль ты вучань Янкі,
Беларускі наш Біянкі.

Ты умел шутить. Ты любил шутить. Ты всегда стремился и близкого друга, и коллегу по работе, вообще каждого человека окрылить радостью. Нет, не стремился, а просто у Тебя так получалось, ведь иначе Ты жить не умел. Конечно, Ты имел право назвать свое избранное «Я не умру, пока люблю». Однако лично мне это название не нравилось. Как не нравилось и то, что свое больное сердце Ты ублажал одним только нитроглицерином и… сигаретой. Без передыху выступал в минских библиотеках, школах и студенческих аудиториях, упорно обходя двери поликлиник. Хватался за каждую возможность вырваться в командировку, а у самого в глазах читалась нескрываемая усталость, растерянность, неуверенность в завтрашнем дне. Когда Ты почувствовал неминуемую беду? Когда впервые решился сказать вслух, что бываешь Там? Неужели началось все еще с юношеских предчувствий? Я теперь вижу их даже в строчках, которые Ты аккуратно переписал мне в июне 1978 года в связи с окончанием моей учебы в университете:

Выйшаў летнім ранкам
Сустракаць заранку.
Ды ў тумане белым
Стаў я анямелы,
Нібы сам не свой.
Хтосьці плача ў полі
Аб нялёгкай долі.
Можа, аб маёй?

Потом редакционная служба снова свела нас в одном коридоре. Я работал в «Бярозцы», а Ты — в «Вожыку». Виделись чуть ли не каждый день. С трудом продав в Белыновичах отцовскую усадьбу, Ты мечтал купить около Минска хату под березою, о чем даже признался в одном из стихотворений… После незабываемого недельного путешествия в 2000 году на Браславщину мы твердо договорились летом снова выбраться вместе в озерный край — на Лепельщину или Ушатчину. Поверь, там уже Тебя ждала хата под березою, недалеко от большого озера Полозерье…

Накануне черного 23 апреля я заглянул в редакцию «Вожыка». Впереди была неотложная работа, поэтому я спешил. Просто зашел, чтобы поздороваться с ребятами. К Тебе не заглянул, потому что знал — могу опоздать. Вдруг открываются двери, и Ты с улыбкой на лице:

— А я услышал твой голос!

Поздоровались, как обычно, пошутили. И я побежал дальше, подгоняемый заботами. А на следующий день вечером стоял на берегу Полозерья, зачарованно смотрел, как заходит солнце. На том берегу озера, вернувшись с юга, перекликались гуси. Смотрел и не знал, что в эти мгновения Твоя светлая душа отлетела в невозвратный путь.

2004

Золотые кросна души

После тяжелой рискованной операции, перед поездкой в Криничное, на родной неманский берег, он несколько недель набирался сил в санаторной Аксаковщине. И ждал сигнальный экземпляр, и много думал о своей последней подготовленной к изданию книжке.

«Ты увидишь — там только новое, что в предыдущих сборниках не печаталось, — услышал я, присев рядом с ним на скамейку. — Долго не давалось название. Проснулся среди ночи, а оно уже готово — “Росток”».

В начале июля книжка, или книжица, как сам нежно говорил про нее Иван Антонович, увидела свет в издательстве «Про Христо». С простым и таким выразительным снимком на обложке. К вековому шероховатому стволу прильнул хилый росток с зеленым чубчиком листвы, похожим на флажок непобедимой жизни.

Я листаю страницы, снова и снова возвращаюсь глазами к вот этой записи из раздела «В прошлом году» и чуть слышно шепчу — как искренний заговор, как благодарственную молитву:

«…И думается, что все оно не так себе, а должно же иметь определенный высший смысл. Слишком большой, слишком красивый наш мир, чтобы ему существовать, только чтобы существовать, без высокоразумной цели».

Мир наш действительно «слишком красивый». Про его неисчерпаемую прелесть на страницах книг Янки Брыля — целые россыпи дивных записей, зарисовок и миниатюр — клад, который мы по-настоящему еще не открыли и не оценили. Всех нас, благодарных читателей, ждут десятки томов не опубликованных пока брылёвских дневников. Он словно носил в себе золотые кросна души и каждое мгновение земного бытия стремился перевоссоздать в высокое Искусство. Незабываемая Зоська Верас писала мне из Вильнюса в конце 70-х: «Любимый писатель — Янка Брыль. Люблю в особенности его лирические записи. Этот жанр лишен искусственной обработки — шлифования. Мысли плывут просто из сердца…» И еще из одного письма: «Я все перечитываю Янки Брыля “Горсть солнечных лучей” и “Горбушка хлеба”. Кратко, а сколько глубоких мыслей, сколько выявляется вдумчивого наблюдения за окружающим миром…»

Долгий, но непростой прошел он жизненный и творческий путь. Чтобы убедиться в этом лишний раз, достаточно перечитать роман «Птицы и гнезда» или повесть «Мундштук и папка». Эти и многие другие его произведения, как и книга-реквием «Я из огненной деревни…», изданная им в соавторстве с Алесем Адамовичем и Владимиром Колесником, сегодня звучат как суровое набатное предупреждение нам, современникам, независимо от национальности и политических взглядов. За примером не надо далеко ходить, вспомним недавние ужасные события в бывшей Югославии или Чечне…

Он не любил хвалебных од. Сам же с радостью поддерживал коллег по перу, особенно молодых, доброжелательным откликом в дружеской беседе, на страницах журналов и газет. Немало нас, кто под светом его мудрой улыбки ощущал себя веселым упрямым ростком. Потому хочется по-сыновьему склонить перед ним голову и сказать:

«Низкий поклон вам, Иван Антонович, за мужество в огненные годы Вашей молодости и в годы нелегкой печальной старости. За родное криничное Слово, которому жить, пока поет под солнцем хотя бы одно белорусское сердце».

2006

Перевод с белорусского Вероники Марук.



ЭДУАРД КОРНИЛОВИЧ

Дипломат своего времени

Дипломатическая деятельность — это труд тяжелый, сложный, требующий от тех, кто им занимается, мобилизации всех своих знаний и способностей.

А. А. Громыко

Война уходила на запад, оставляя на белорусской земле разрушения и голод.

Наша победа круто меняла лицо международных отношений. Главы многих стран думали о том, как создать такую международную организацию, которая могла бы стать инструментом мира, прогресса и безопасности. Ради этого на конференцию в Сан-Франциско приехали делегации из 42 государств. От имени правительств СССР, США, Англии и Китая приглашения также получили Белоруссия и Украина как серьезно пострадавшие в годы Второй мировой войны и внесшие большой вклад в разгром фашизма.

Белорусскую делегацию, в составе которой были ученый-генетик А. Жебрак, писатель М. Лыньков, историк В. Перцев и другие, возглавил министр иностранных дел БССР К. Киселев.

26 июня 1945 года БССР подписала Устав Организации Объединенных Наций и вошла в историю как одна из ее учредительниц.

С деятельностью ООН министр иностранных дел БССР Кузьма Киселев был связан 20 лет. Он участвовал в многогранной работе по развитию сотрудничества Белорусской ССР с другими странами, зарекомендовал себя опытным дипломатом. Но шли годы, и невольно возникал вопрос: кто же станет достойной сменой ему?..

14 мая 1966 года Председатель Президиума Верховного Совета БССР В. Козлов подписал указ о назначении министром иностранных дел БССР А. Гуриновича. Приятно было, что кандидатуру поддержали П. Машеров, Т. Киселев, С. Пилотович и другие известные деятели. Анатолию Емельяновичу очень хотелось оправдать оказанное доверие и достойно продолжить традиции белорусской дипломатии. Какой житейский багаж мог помочь ему в этом?

Детство, согретое надеждой

Анатолий Гуринович родился 9 сентября 1924 года в деревне Слатвин (теперь Виноградовка) Червенского района. Его мать Василиса Васильевна и отец Емельян Фомич были крестьянами. Родители радовались появлению сына: будет помощник отцу-землепашцу. Потомственные земледельцы, они и не мечтали о другой судьбе для него. До революции никто из бедных крестьян не мог получить хорошее образование. Но многое изменилось. Открывались школы, каждый ребенок обязательно должен был учиться. Новая власть дала родителям землю. От темна до темна они работали в поле. И подросший сын стал охотно браться за любую посильную работу.

В 1932 году, в разгар коллективизации, отец стал бухгалтером, мать — сельской учительницей, и они переехали в большую деревню Пережир Пухович-

ского района. Сын пошел учиться в местную школу. Он часами просиживал над решением трудных задач, с интересом изучал историю и литературу, легко писал сочинения.

Чувство справедливости и стремление к гармонии в отношениях были очень развиты у школьника Анатолия Гуриновича, он любил, когда односельчане работали дружно, и омрачался, когда ссорились между собой, враждовали.

Как способному и старательному ученику учителя пророчат ему хорошее будущее. Но его юность, полная радужных ожиданий, закончилась в семнадцать лет вместе с налетевшей войной, в то лето, когда он окончил десятилетку.

Закаленный войной

В декабре 1941 года А. Гуринович, вчерашний школьник, вместе с отцом и матерью стал связным Минского подпольного горкома партии. Занимался весьма рискованными поручениями: доставкой подпольщикам оружия, взрывчатки, листовок, выводом из города специалистов в партизанскую зону, сбором и передачей разведданных. В те напряженные дни закалялась его воля.

Самыми юными в отряде оказались тезки: Анатолий Гуринович и Анатолий Протасевич. Они стали помощниками радиста бригады Николая Меркулова, человека дружеского и смелого, в любую минуту готового выполнять боевое задание. С каждым днем расширялся круг друзей и их действий. Вырвавшись из фашистского плена (в Червене), партизан Толя Хлыстун обнаружил в лесу в подгнившей колоде новый радиоприемник. Вместе с Анатолием Гуриновичем он притащил ценную находку к партизанской землянке. Черный лакированный ящик стал такой притягательной силой, что вокруг него постоянно толпились свободные от занятий партизаны. Каждому хотелось послушать голос Москвы. Именно тогда юный Анатолий убедился, как много значит для человека голос правды. Вместе со своим тезкой слушали сводки Совинформбюро, речи руководителей государства, вести с фронтов и записывали их, потом размножали на пишущей машинке. Командир отряда Иван Сацункевич одобрил инициативу молодых и направил их с листовками по ближайшим деревням: пусть люди знают правду о ходе войны.

Проворный и сообразительный Анатолий Гуринович вошел в группу молодых партизан, которая занималась пропагандой среди местного населения. Ею руководил комиссар бригады «Разгром» Севастьян Лащук.

Весной 1944 года Руденский подпольный райком комсомола поручил Гуриновичу и его друзьям всемерно содействовать проведению весеннего сева, помогать крестьянам тягловой силой, охраной людей, вышедших в поле. Это задание стало поучительным уроком для ребят: без хлеба, как и без оружия, победить противника нельзя.

После войны бывший партизан А. Гуринович, награжденный двумя медалями: «Партизану Отечественной войны» и «За победу над Германией», поступил в Белорусский государственный институт народного хозяйства на планово-экономический факультет. Поселился в крошечной комнате у тети; после партизанских землянок эти условия показались ему райскими.

Какое было счастье на лекциях! У него пробудился интерес к истории, экономике, политике, много читал, особенно интересовался книгами, в которых рассказывалось о жизни выдающихся государственных деятелей.

Доброжелательный Анатолий был душой студенческого общества. Появились близкие друзья Николай Фролов, Федор Боровик, Яков Гольбин, Лилия Романенко, Стефа (Степанида) Лаврусенко, впоследствии ставшая его женой.

— С первого и до последнего курса сидела с Анатолием за одной партой, — вспоминает Степанида Ивановна, — мы с ним были как два товарища: вместе ходили на улицу Свердлова строить новый корпус института, на городские суб-

ботники, вместе готовились к занятиям в библиотеке. Некоторые говорят, полюбил с первого взгляда, у нас все началось с дружбы.

Степанида Ивановна дорожит своим прошлым, до мелочей помнит молодые годы:

— Природа наделила Анатолия красивой внешностью, способностями, но еще больше — трудолюбием и даром общения с людьми. Он был лидером. Однокурсники избрали его старостой группы. Сам учился хорошо, был сталинским стипендиатом, и студентов подначивал. Кроме Анатолия еще пятеро однокурсников окончили институт с отличием.

Пережив страшную войну, мы были веселы и дружны, помогали один другому, участвовали активно в художественной самодеятельности. Анатолий хорошо играл на гитаре и мандолине, я пела в хоре. Во время выпускных экзаменов мы особенно сильно потянулись друг к другу. От одной мысли, что вскоре расстанемся, становилось грустно. Как это мы будем жить друг без друга?.. Вот тогда-то и стало понятно, что нас связывают чувства более сильные, чем дружба.

У выпускника Гуриновича был один год партстажа. Вручая диплом об окончании, ректор Е. Н. Романенко напутствовал:

— Счастливого пути, солдат! А завтра на прием к секретарю обкома.

На следующий день, волнуясь, зашел Анатолий в кабинет Ивана Варвашени, о котором много слышал еще в партизанах. Секретарь обкома встретил доброжелательно, сразу же заговорил о главном:

— Последствия войны залечим, а борьба за социальную справедливость, за мир не закончится никогда. Мы намерены послать вас в Москву в Высшую дипломатическую школу.

Анатолий согласился, понимая, что предлагают только тем, в кого верят.

Учебная база в Москве была более мощной, чем в Минске. Анатолий с головой окунулся в учебу. Слушал лекции известных ученых и политиков, часами просиживал в библиотеке. Приобретал фундаментальные знания о государстве и внешней политике, о международных отношениях. С интересом изучал курс советской дипломатии, из которого узнал о деятельности ее наиболее ярких представителей — Г. Чичерине, М. Литвинове, А. Коллонтай и других. И каждый день штудировал английский язык.

Его однокурсница и невеста Стефа Лаврусенко получила распределение в город Чехов, что в 60 километрах от Москвы. Работала экономистом арматурного завода. Переписывались, иногда перезванивались и встречались.

26 июля 1951 года в Москве они поженились, чтобы никогда больше не расставаться.

Вместе вернулись в Минск. Гуринович получил назначение в Министерство иностранных дел, которое после войны возглавлял К. Киселев. От него, эрудированного человека и талантливого дипломата, Анатолий получал первые практические навыки и первые поручения.

Учиться искусству политики

Когда госслужащий проходит все ступеньки карьерного роста, — он овладевает всеми премудростями профессии. Анатолий Гуринович начал свою службу в МИДе БССР с должности помощника заведующего политическим отделом. Его трудовое усердие и компетентность были оценены, и в январе 1953 года он был переведен на должность заместителя заведующего этим же отделом. За шесть с лишним лет его дипломатический ранг вырос от третьего секретаря до первого секретаря 2-го класса.

В сентябре, как обычно, министр иностранных дел Киселев собирал белорусскую делегацию на VIII очередную сессию Генеральной Ассамблеи ООН. В ее состав включил и Гуриновича.

Это была первая поездка молодого дипломата в США, полная впечатлений и переживаний. Когда он подходил к высотному зданию на побережье Ист-Ривера, ему подумалось, что здесь представлена вся планета со всеми ее континентами и странами в живых образах ее посланников и дипломатов. Новичок старался понять многоцветье, многоязычие и «дыхание» этой планеты.

Дипломатическая работа Гуриновича началась во второй половине XX века, в тот период всемирной истории, когда угнетенным народам удалось взорвать позорную систему колониализма. Им надо было помогать, и молодой дипломат 28 октября 1953 года выступил с высокой трибуны ООН против хозяйничания иностранных монополий в слаборазвитых странах. Искусство дипломатии не победить, а убедить. Несмотря на первое, такое ответственное выступление, Анатолий Емельянович говорил смело, убежденно о том, что иностранные капиталовложения не могут рассматриваться в качестве источника финансирования развития экономики слаборазвитых стран. Иностранные монополии, вкладывающие свои капиталы в эти страны, используют эти капиталовложения как средство выколачивания высоких прибылей. Они не заинтересованы в экономическом развитии этих стран и вкладывают свои капиталы лишь в те отрасли, которые дают им максимальные прибыли. Далее оратор отметил, что большинство развитых стран имеют достаточные ресурсы и резервы рабочей силы, чтобы осуществить развитие этих стран за счет внутренних средств. Важным источником финансирования развития их экономики, подчеркнул представитель Беларуси, должна стать международная торговля, построенная на принципе равенства и взаимной выгоды сторон, без господства и диктата иностранных монополий.

А была еще одна поездка в США, названная журналистами исторической. 4 сентября 1957 года реактивный самолет ТУ-104 А открывал первый трансатлантический рейс по маршруту Москва—Нью-Йорк—Москва. В числе первых пассажиров на борт поднялся Анатолий Гуринович с женой и четырехлетним сыном Сережей. Тревожилась душа, особенно когда летели над Атлантикой. Но рейс удался, все не скрывали своего восторга.

Его ожидала новая работа: он был назначен вторым секретарем Постоянного представительства СССР при ООН. Ответственность большая, поэтому на душе было беспокойно. Уверенности прибавилось, когда вскоре прилетела белорусская делегация, возглавляемая К. Киселевым, на очередную сессию Генеральной Ассамблеи. В составе делегации были интересные люди, которые создали такую жизнерадостную атмосферу, что силы утроились. Каким весельем наполнялся служебный кабинет, когда в нем собирались блестящий дипломат Кузьма Киселев, неукротимый фантазер Петро Глебка, остроумный журналист Олег Здоровенин, заместитель министра пищевой промышленности Ольга Сысоева, выпускник Института международных отношений Анатолий Шельдов, присланный в качестве советника. Вместе обсуждали серьезные дела, обменивались впечатлениями, шутили. Вдохновленный П. Глебка на одном дыхании написал стихотворение «Я спал. И сны мои летели», посвященное красавице Стефе, жене Анатолия.

Выполняя служебные обязанности в реферектуре по экономическим вопросам, Гуринович занимался и делами, связанными с предстоящим открытием Постоянного представительства Беларуси при ООН. Через год оно было создано, и Гуринович стал в нем первым секретарем. Он был настолько увлечен неотложной работой, что не заметил, как закончился срок его командировки.

Вернувшись в Минск в мае 1961 года, Анатолий Емельянович недолго работал заведующим отделом международных экономических организаций МИД БССР, в сентябре того же года его назначают заместителем министра иностранных дел.

Крупным событием в служебной биографии Гуриновича было участие в подписании нашей республикой Московского договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. В Москву съехались делегации из 88 стран. Момент подписания приняли по фототелегра-

фу редакции белорусских газет: «А. Е. Гуринович подписывает...», а на снимке сосредоточенный молодой, красивый дипломат. Подписывая документ, Анатолий Емельянович сказал: «Отвечая жизненным интересам всех народов, договор означает крупный успех всех миролюбивых сил, которые на протяжении многих лет вели активную борьбу за прекращение ядерных испытаний, за разоружение, за мир и дружбу между народами.

Белорусский народ присоединяет свой голос ко всем людям доброй воли, требующим закрепить достигнутый первый успех, развить его, добиться дальнейшего прогресса в решении, путем переговоров, назревших международных вопросов в целях избавления человечества от ужасов термоядерной войны, укрепления мира и развития плодотворного сотрудничества между всеми государствами».

24 года на ответственном посту

Проявив большие способности во внешнеполитической деятельности, Анатолий Емельянович Гуринович стал во главе своего ведомства. Став министром иностранных дел БССР, членом правительства, членом ЦК КПБ, непосредственные указания он получал от П. Машерова, В. Козлова, Т. Киселева, а из Москвы — от многоопытного дипломата А. Громыко. Его главным советником стал коллектив сотрудников аппарата, а правой рукой — заместитель министра Анатолий Шельдов, с которым он съел пуд соли и «брал неприступные утесы». Ему приятно было видеть рядом с собой надежного человека, готового в любую минуту браться за самое неожиданное поручение.

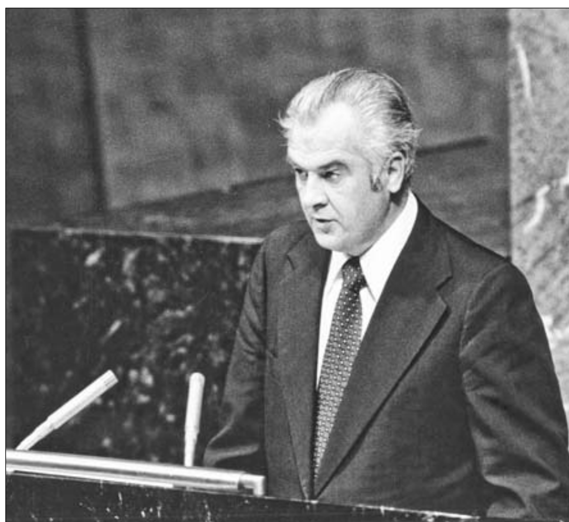
В сентябре 1966 года Гуринович впервые возглавил белорусскую делегацию, которая вылетала в Нью-Йорк, на XXI сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Вместе с ним направлялись заведующий отделом министерства Г. Чернушенко, доцент пединститута Г. Кованцева, журналист В. Пономарев, писатель П. Ковалев и другие. На одном из заседаний Гуриновича, как впервые прибывшего в ранге министра иностранных дел, представили собравшимся. Когда председатель сказал, что за массовый героизм в войне с фашизмом Беларусь назвали республикой-партизанкой и что сам Гуринович сражался в партизанском отряде, весь зал встал и долго-долго аплодировал.

На третий день министры иностранных дел социалистических стран попросили Генерального секретаря У Тана включить в повестку дня в качестве срочного вопроса пункт «О выводе всех американских и других иностранных войск, оккупирующих под флагом ООН Южную Корею». Письмо подписали А. Громыко, А. Гуринович, Д. Белоколос (Украина), представители Болгарии, Польши, Румынии, Чехословакии. Анатолий Емельянович слушал, анализировал десятки выступлений иностранных ораторов и сам готовился выступать.

Делегация БССР, вылетевшая в США 19 сентября 1967 года на XXII сессию Генеральной Ассамблеи, как обычно была солидной и разнообразной. В нее входили философ А. Гусев, журналист А. Зинин, ученый-почвовед Т. Кулаковская, советник Э. Скобелев и другие. И редкий случай: в белорусской делегации оказались три выпускника Белорусского государственного института народного хозяйства имени В. В. Куйбышева. А. Гуринович — глава делегации, А. Мардович — заведующий Проблемной научно-исследовательской лабораторией НОТ БГИНХ, созданной по его инициативе, первой в системе вузов страны, Н. Ткачев — секретарь правления Союза писателей БССР. Все они учились в институте в разное время и все дорожили своей альма-матер. Двое стали профессиональными дипломатами.

5 октября Гуриновича пригласили на трибуну ООН. Нельзя свои мысли скрывать, если сердце переполнено тревогой. И он открыто заявил, что с давних пор белорусы отрицали насилие, однако им приходилось много воевать, терять своих братьев. Поэтому от нынешней Беларуси, равной среди равных

в мировом сообществе, можно ожидать только дружелюбия и миролюбивой политики. Сегодня мир, отметил оратор, стоит перед фактом дальнейшего обострения международной обстановки, вызванного расширением войны США во Вьетнаме и их агрессивными действиями против народов Лаоса и Камбоджи. США продолжают провокации против Китая. Империалисты проводят политику жесткого подавления национально-освободительного движения, демократических свобод и суверенитета народов колониальных стран. А. Гуринович призвал делегатов срочно рассмотреть вопросы: о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств; об отказе государств от действий, затрудняющих достижение договоренности о нераспространении ядерного оружия; о ликвидации иностранных военных баз в странах Африки, Азии, Латинской Америки. И сегодня актуально звучат его слова: «…Первоочередная обязанность ООН — обуздание агрессивных сил».



А. Е. Гуринович выступает на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, 8 октября 1974 г.).

Как руководителю белорусских делегаций Гуриновичу приходилось часто выступать на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН по самым сложным проблемам международных отношений. Серьезная ситуация не позволяла отвлечься, употребляя красивости, поэтому его речи тщательно продуманы, конкретны и строго официальны. Он любил живое слово, шутки и поговорки, но мыслил все же политическими категориями. Однажды употребил «Не зная броду, не суйся в воду», и хотя в переводе мудрость пословицы была не столь ясной, дипломаты с улыбкой часто вспоминали о ней.

Громко звучал его голос в защиту стран, терпящих голод и бесправие, агрессию и бомбардировки — Вьетнама, Кипра, Кубы, африканских стран. Он требовал от ООН приложить все усилия, чтобы добиться прекращения репрессий против демократов, освобождения всех политических заключенных в Чили, «положить конец произволу и беззаконию фашистской хунты, продавшейся иностранному капиталу».

Анатолий Емельянович выражал и энергично отстаивал позицию белорусской делегации по обсуждаемому вопросу. Актуальна и сегодня его мысль о необходимости освобождения от принципов, по которым безопасность одного государства строилась на ущемлении безопасности другого: «В ядерно-космический век реальной безопасностью может быть лишь безопасность для всех». Он отстаивал идею европейской безопасности, создания системы коллективной безопасности в Азии: «Мы выступаем за то, чтобы Европа никогда в будущем не могла стать источником новой мировой войны или вооруженных конфликтов, а была континентом прочного мира и равноправного сотрудничества».

С высокой трибуны Гуринович нес слово правды о своей республике, ее истории и настоящем. Нередко кто-то из дипломатов впервые от него слышал о Белоруссии, ее трагедиях и достижениях. Выступая в общей дискуссии на XXIX сессии, он говорил, что тридцать лет назад, в июле 1944 года, на белорусскую землю вновь пришли мир и свобода, которые были завоеваны дорогой ценой, потребовавшей невиданного ратного и трудового подвига всего народа,

что в той войне погиб каждый четвертый житель, было разгромлено или уничтожено оккупантами более половины национального богатства.

— Мы участвовали в спасении мировой цивилизации от коричневой чумы и выступаем за европейскую безопасность, — звучало с трибуны ООН слово Анатолия Гуриновича. — За эти годы наше промышленное производство увеличилось в 17 раз по сравнению с довоенным периодом, труженики села в юбилейном году собрали по 27,5 центнера зерна с гектара. Нашей столице Минску присвоено почетное звание Город-герой.

— Анатолия Емельяновича интересовала глобальная политика, связанная с судьбами многих стран и народов, — рассказывает бывший начальник отдела международных отношений А. Мардович. — Отечественная история была для него уроком, который служил правде, социальной справедливости, она помогала бороться против лжи, фальсификаций, сил милитаризма.

Белорусскому министру приходилось выступать по американскому телевидению. Как он говорил и как его восприняла неоднородная аудитория телезрителей? Весьма выразительно Максим Лужанин передает это в своем репортаже «З рубцом на сэрцы». Писатель приболел и не смог посмотреть передачу, поэтому вынужден был обратиться за помощью к миссис Кундштад, которая и передала ему свои впечатления. «Очень хвалила выступление белорусского министра по телевидению. Во-первых, английский язык — блеск, во-вторых, он говорил и сказал то, что хотел, а не то и не так, как хотелось и к чему склонял ведущий Кравс. С этого времени я симпатизирую вашей стране».

Гуринович признавал только реальную и открытую политику, неискренность претила его натуре, а лицемерие и обман считал признаком слабости. Лишь изредка он прибегал к эзопову языку, языку намеков. Однажды, критикуя какое-то государство, не стремившееся решать проблемы разоружения, глава белорусской делегации в ООН (11 ноября 1976 г.) говорил: «Одна ядерная держава вообще против *любых* мер разоружения и ведет разнузданную клевету на политику государств, выступающих за разоружение. Она, выдавая себя за сторонника неприсоединившихся стран, блокирует их коллективные усилия в области разоружения». Политикам нетрудно было догадаться, что это за держава, которая чаще других создавала надуманные препятствия на пути принятия миролюбивых соглашений.

У себя на родине Анатолий Емельянович видел, как во время войны гибли люди, как фашисты открыто убивали белорусских граждан. Здесь, в Нью-Йорке, все было благочестиво, без крови, но тайная война ни на минуту не затихала. Она выражалась в хитросплетениях политической интриги или обмана, и если наши посланники это тонко улавливали, то можно утверждать, что Беларусь воспитала достойных дипломатов, способных защищать свои интересы.

Ему посвящали поэмы

Так случилось, что политическая биография Гуриновича была тесно переплетена с жизнью многих белорусских писателей. Каждый год кто-то из них входил в состав белорусской делегации, которая ежегодно в сентябре вылетала в Нью-Йорк на очередную сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

За 24 года он познакомился со многими поэтами и прозаиками, которые стали гордостью нации: Павел Ковалев, Максим Лужанин, Иван Науменко, Иван Шамякин, Михась Калачинский, Кастусь Киреенко, Иван Чигринов… Такие поездки были обоюдополезными. Писатели знакомились с жизнью американского города, с выставками и музеями, слушали выступления политиков в ООН, выступали сами, находили здесь сюжеты для своих произведений.

Делегация, как правило, собиралась в спецгостинице, комнате, в которой находился пусть даже один писатель, например, Ковалев, Науменко или Чигри-

нов, и она тут же превращалась в белорусскую хату. Звучали наши имена, знакомые слова и юмор, обсуждались наши жизненные проблемы. Общение с писателями за рубежом очень много значило для Гуриновича, оно вдохновляло его, наполняло сердце оптимизмом, повышало работоспособность.



С. И. Гуринович, жена дипломата.

Гуринович старался помогать молодым и получал наибольшее удовольствие от духовного общения с ними, начинающими, и в Минске, и в Нью-Йорке. Ему приятно было делиться своим опытом, поддерживать их. Вспоминает Нина Мазай, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, ранее представлявшая интересы нашей страны в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла во Франции и Канаде:

— У Анатолия Емельяновича гармонично сочетались лучшие человеческие и профессиональные качества. Он глубоко вникал во все мелочи международных отношений, прекрасно разбирался в нюансах различных документов.

Первая деловая встреча с ним произошла в октябре 1985 года, во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Анатолий Емельянович в деталях рассказывал о работе ООН, провел со мной экскурсию по Нью-Йорку. Я была поражена глубоким знанием особенностей города и страны. Он хорошо видел перспективы тех или иных событий, происходящих в мире, тактично и терпеливо рассказывал об этом другим и при этом никогда не показывал своего превосходства над молодыми дипломатами. К нему с уважением относились работники МИДа СССР. Помню, как они часто обращались к Гуриновичу за различными консультациями.

Молодая талантливая поэтесса Евгения Янищиц не собиралась быть дипломатом. Во время поездки в Нью-Йорк в составе белорусской делегации на нее сильное впечатление произвели наши дипломаты и их авторитетный лидер. Она стремилась понять смысл их деятельности. На своей новой книге стихов «Пара любові і жалю» Янищиц с благодарностью написала: «Шаноўнаму Анатолю Емельянавічу Гурыновічу — з вялікай чалавечай сімпатыяй, пажаданнем поспехаў і крэпасці ў Вашай нялёгкай высакароднай місіі. 19 студзеня 1984 г.».

Поэтесса написала целую поэму, посвященную белорусским дипломатам. Ее рукописный вариант хранится у А. Шельдова.

Как-то прогуливаясь с женой по набережной Гудзона, Анатолий Емельянович, уставший от заседаний, уже в который раз припомнил:

Мой родны кут, як ты мне мілы!..
Забыць цябе не маю сілы!

Вспоминая об этом, Степанида Ивановна говорит:

— Я не знаю человека, который бы так сильно любил свой край, своих людей, свою культуру. Там, за океаном, в белорусской книге он находил моральную поддержку, живую связь с родиной, возможность жить ее мыслями и образами. Постоянно он обращался к «Новой земле» Я. Коласа, романам «Люди на болоте» И. Мележа, «Сосна при дороге» И. Науменко, «Снежные зимы» И. Шамякина. Эти книги были его духовной опорой. Какой удивительной красавицей виделась ему Беларусь из окна высокого здания ООН! И как неудержимо тянулось его сердце к родной земле!

До́ма слаще пахнут розы

Минск... Для А. Е. Гуриновича он много значил. Здесь учился, здесь жила семья, были сотни знакомых и друзей. Сколько рукопожатий и приветствий, пока от дома, с улицы Я. Купалы, дойдет до площади Ленина, где раньше находилось Министерство иностранных дел БССР.

В Минске дышалось легко, хотя деловой суеты было не меньше. Дома и стены помогают, да и в Министерстве работали высокопрофессиональные дипломаты. Чего стоил только один незаменимый А. Шельдов, который действовал всегда грамотно, четко, оперативно. Гуринович всегда был уверен в исходе дела, когда его вершили А. Мардович — начальник отдела международных отношений, А. Рассолько — начальник протокольно-консульского отдела, И. Тернов — начальник отдела печати, С. Мартынов — помощник министра, и т. д. В ЦК КПБ, по вопросам эффективности зарубежных связей, он плодотворно сотрудничал с С. Бронниковым, Э. Скобелевым, ныне известным писателем.

Здесь выслушивались советы П. Машерова, Т. Киселева, если было за что — упреки. Тут было полное взаимопонимание в отстаивании интересов государства и людей. Сюда по разным каналам стекались сведения со всего света.

Чернобыльская трагедия внесла изменения и в деятельность Министерства иностранных дел республики. Гуринович вел постоянные переговоры с зарубежными партнерами, способными хоть в какой-то мере содействовать в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Нередко встречался с сотрудниками Академии наук, минских вузов, студентами и военнослужащими, выступал с лекциями. Любил, «из дальних странствий возвратясь», заглянуть в родной институт. Нархоз был для него самой святой частью его биографии, личной судьбы. Его лекции с огромным интересом слушали преподаватели и студенты, задавали много вопросов. Слово живого участника событий, компетентного практика, обладающего большой эрудицией, аналитическим умом, нравственностью, производило на аудиторию огромное впечатление.

Анатолия Емельяновича Гуриновича как дипломата признавали не только в Беларуси, России, Украине, но и во всем мире. Его высоко ценили А. Громыко, П. Машеров, С. Притыцкий, генеральные секретари ООН У Тан, Курт Вальдхайм, политики многих стран. По продолжительности пребывания на посту министра иностранных дел республики ему принадлежит рекорд — 24 года (К. В. Киселев — 22). Ему был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Пожалуй, главная его черта — благоразумная рассудительность. Этой чертой Гуриновича восхищался и признанный в мире дипломат Андрей Громыко, она же выгодно выделяла его в любой ситуации. Именно это качество помогало ему мобилизовать все свои познания и творческие силы, чтобы в самой сложной обстановке защитить стратегические интересы белорусского народа, поднять его авторитет на международной арене.

Послевоенное время обострило еще одну черту Анатолия Емельяновича — миролюбие, любовь к своим людям и народам всех стран, страстное желание всем мира и согласия. Более всего он думал над тем, как сохранить мир, не допустить войны. В своих выступлениях он везде подчеркивал, что белорусский народ хорошо знает страшную цену войне и превыше всего ценит благо мира, об этом он и в своей книге «Стратегия мира» написал: «Веками человечество, преодолевая невзгоды и даже войны, все же с надеждой смотрело в завтрашний день, веря, что он будет светлее и радостнее, а жизнь — лучше. Сейчас будущее человечества внушает тревогу. Ее вызывают растущая социальная несправедливость, разрушение и загрязнение природной среды, новые болезни, голод, охватывающий целые народы, и прежде всего, угроза всеобщего ядерного уничтожения. Человечество сможет быть уверенным в будущем, только ликвидировав совместными усилиями опасность самоуничтожения». К сожалению, эта опасность после развала СССР не уменьшалась, а увеличивалась.

По мнению коллег, А. Е. Гуриновича любили как дипломата и руководителя, который умел завоевывать сердца людей и подчиненных, доверие и признание политиков других стран. У Анатолия Емельяновича была сверхсложная профессия: общаться с людьми высшей политической сферы, достигать взаимопонимания с искушенными деятелями. А без широчайшего кругозора, умения вести переговоры невозможно было рассчитывать на успех. А именно этими качествами обладал дипломат Гуринович.

Анатолий Шельдов, проработавший с ним без малого сорок лет, отмечает:

— Если мы говорим о всей многолетней и многоплановой работе Анатолия Емельяновича, то довольно часто звучит слово «впервые», подчеркивающее важные факты белорусской дипломатии. Он в возрасте моложе 30 лет возглавил делегацию Беларуси на сессии Европейской Экономической комиссии ООН. Впервые в истории нашей республики был избран председателем одного из комитетов на сессии Международной организации труда. Приложил немалые усилия и добился, что Беларусь стала одним из непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

По словам Э. Скобелева, у дипломата Гуриновича было много достоинств, основные из которых — глубочайшая преданность интересам государства и великое трудолюбие. Кузьма Киселев закладывал основы белорусской дипломатии, положив начало ее традициям, Анатолий Емельянович обеспечил развитие дипломатической службы нашей республики. Расширил и обогатил традиции, без которых дипломатия как искусство просто немыслима.

За свою жизнь Гуринович повидал десятки стран, но для него не было лучше места на свете, чем родная земля. Думы о родном уголке, где жил с отцом и матерью, где видел сожженные избы, не покидали его. С 1990 года, когда начались перемены в обществе, должность министра иностранных дел занял другой, он понял, что сложившиеся традиции белорусской дипломатии нарушены и что новые «пришельцы» отторгают накопленный им опыт. Начинался политический хаос. Сильное душевное негодование вызывали у него люди неустойчивых взглядов, легкомысленные политики-перебежчики. В те мрачные дни Анатолий Емельянович напряженно думал о будущем страны и своей семьи, испытывал чувство униженности. Успокоения искал в своей родной деревне. Его потянули туда не только крепкие духовные корни, но и неприятие того, что обрушилось на головы людей, живущих «с мозоля».

Сраженный мучительным томлением, 9 апреля 1999 года, в страстную пятницу, Гуринович внезапно умер от инсульта. Как и просил дипломат, его похоронили в Пережире, на сельском кладбище, рядом с его родными и близкими. А в Минск со всего света шли телеграммы со словами скорби и сочувствия.

В родном Пережире чтут память своего земляка. Здесь широко отметили 80-летие со дня рождения Анатолия Емельяновича. Торжества прошли в Пережирской школе, ставшей судьбой многих Гуриновичей. В ней учился будущий министр иностранных дел, после войны его мать Василиса Васильевна, заслуженная учительница БССР, была директором этой школы. Воздать почести приезжали родственники, жена Степанида Ивановна, друзья-дипломаты, в том числе и нынешний министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Николаевич Мартынов, начинавший свою дипломатическую деятельность при А. Е. Гуриновиче. Выступая перед учащимися школы, С. Н. Мартынов сказал, что пережирцы могут гордиться своим земляком, который был выдающимся дипломатом, проявлял высокое мужество и трудолюбие, умел оценивать политические события и более 20 лет достойно отстаивал интересы нашей страны на международной арене.

Именем А. Е. Гуриновича в Пережире названы школа и улица.



А была ли исповедь?..

Резанович, А. И. Отшельник: роман /Анатолий Резанович. — Мн.: Издательство Белорусского Экзархата, 2011. — 351 с.

В своем последнем романе «Дорожный лексикон», состоящем из отдельных новелл, замечательный чукотский писатель Юрий Рытхэу (пишущий, правда, на русском) одну из глав назвал «Человек». Вообще роман похож на азбуку. Вот главы на букву А: «Абитуриент», «Автомобиль», «Анекдот», «Арбуз», «Археология». Или — на К: «Кальсоны», «Картины», «Кино», Кит», «Климат», «Книга», «Колхоз», «Корабли», «Коррупция», «Культбаза Кульпач», «Кухлянка», на Р: «Радио», «Рубашка», «Русский», «Русский язык». Есть в «Дорожном лексиконе» и глава «Человек». Да, в ней, как и в предыдущих, Ю. Рытхэу соединил исповедальность, автобиографичность и стремление передать богатейшие сведения об истории, культуре, верованиях и современной жизни чукотского народа. Но и еще что-то, объединяющее разные народы разных времен, есть в «Дорожном лексиконе» и в его главе — «Человек». «…Что же это такое — человек? С одной стороны, это огромный мир, — пишет Ю. Рытхэу, — вся вселенная вокруг, бесконечность времени, а с другой — жалкое, довольно быстро истлевающее тело, небольшой земляной холмик, а то и вовсе несколько камней, очерчивающих посмертное его пространство.

Моих земляков в прошлом хоронили просто. Уносили усопшего на ближайший холм, ограничивали его место небольшими камнями, клали рядом необходимые в иной жизни вещи, чаще всего охотничье и путевое снаряжение, раздевали тело догола и оставляли его на съедение птицам и зверям. Оставались воспоминания в памяти оставшихся близких и знакомых. Кое-кто из творческих людей оставляет след в произведениях искусства и литературы, в изобретениях, в науке.

И все же, что же такое человек? Неужели это нечто неосязаемое?»

Роман Анатолия Резановича «Отшельник» — также попытка разобраться, кто же он такой, этот простой, а вместе с тем даже самому себе не понятный, скрытый в телесной оболочке, загадочный человек. Герой произведения — Степан Лосич, житель глухой полесской деревушки, — настоящий отшельник. Человек, который почти всю жизнь, с юности до самой старости, провел в лесу, вдали от людей. Подрядившись охранять спрятанные от фашистов церковные и музейные ценности, Степан, запутавшись в хитросплетениях жизненных обстоятельств, так и остался в своей землянке. Лишь спустя несколько десятилетий, постаревший, изможденный многими испытаниями, потеряв свое лесное убежище, перебрался он в деревню, где снова прятался от людей на чердаке в хате некогда любимой им женщины. И все так же сторонился людей.

«Жизнь старика действительно заканчивалась, а потому почти ничего уже не радовало и не огорчало его. И только в провалившихся глазах этого дряхлого и исхудавшего человека еще вспыхивал, точно на выгоревших угольях, слабый огонек. Вспыхивал в ту минуту, когда старик отходил от полудремы и подолгу глядел на полусгнившую, едва заметную под слоем земли и поросших на ней кустов землянку.

Он построил ее своими руками еще в годы… войны, а потом много лет жил в ней, если, конечно, это можно назвать жизнью…

Взгляд старика рассеянно блуждал вокруг землянки, но каждый раз останавливался еще на одном месте — небольшом холме. Покрытый мхом и черными от времени сучьями, он таинственно и тяжело приподнимался из земли, точно всеми забытая и заброшенная могила. Между этим холмом и землянкой был еще один холмик — совсем маленький, вроде как детский. Он сиротливо и неприкаянно вжимался в сырую землю — как будто прятался от чужих глаз.

И землянку, и холм, и холмик медленно и старательно пережевывало время, чтобы потом выбросить в небытие.

«Вот оно — все проходит…»

Старик пошевелил высохшими губами, словно хотел сказать эту фразу вслух, но не сказал — говорить ему было тяжело. Подозрительно огляделся и закрыл глаза.

«Проходит…»

Старик часто приходил в лес, к болоту. Пожалуй, гораздо чаще, чем на могилу женщины, с которой многие годы жил, могилы родственников, односельчан — всех тех, с кем был некогда дружен и кого просто когда-то знал. Здесь он хотел умереть. Но смерть пока щадила его: может быть, давала ему еще шанс рассказать о себе и своих тайнах людям, может, просто пока не находила времени для свидания с ним.

Увы, никому из смертных этого не дано знать…»

Писатель вводит нас в динамичный, наполненный действом, художественный мир. События, казалось бы, изначально лишенные особой социальной, общественной значимости, настолько вовлекают в мир всего лишь нескольких персонажей (фактически — одного главного героя), что иногда создается впечатление открытия целого пласта жизни. Так, наверное, и случается, когда повествование богато действом внутреннего характера, когда движущей силой романа становятся художественные символы и образы. Ночной поход в село, где Степана никто не ждет, встреча с волчицей, нечаянная любовь к молодой деревенской женщине — эти и другие события для героя, считай, вселенского масштаба. Читая роман, я не думал об идеях, художественных изысках, забыл напрочь о том, что любая литература должна решать какие-то задачи. Меня волновала и тревожила лесная жизнь Степана Лосича, в душе вспыхивали огоньки переживания — будет ли что есть отшельнику на следующий день, сможет ли он в студеную зиму вылечиться от нагрянувшей вдруг болезни? Но дочитаны последние страницы, главный герой «уходит» куда-то в сторону. Начинаешь думать, задавать себе вопросы: «Что он, отшельник, собой представляет? Отражает ли его жизнь время и тревоги того поколения? И возможно ли это, если он такой вот вовсе не типичный персонаж?.. Ведь другие, пока он скрывался, страшась возможной расплаты, жили в этом времени, становясь то его героями, то жертвами… И что в общем-то хотел сказать Анатолий Резанович, выбрав этого, а не другого героя?..»

Конечно, роман, посвященный такой судьбе, как у Степана Лосича, в прежние времена просто не мог появиться. А если бы и был написан, то непременно лежал бы «под замком» в письменном столе. Да, сегодняшнее время — для откровений и более страшных, иногда, пожалуй, и небезопасных. Значит, автор «Отшельника» вряд ли задумывался о тревожном времени Степана Лосича, скорее его волновал сам главный персонаж. В памяти — оценки критики героев советской литературы.

К примеру, Михаил Пряслин из произведения Федора Абрамова. Одни считали, что Михаила следует безоговорочно отнести к положительным героям, другие усмотрели в нем немало изъянов. Сам писатель однажды так ответил на вопрос, куда, в какой «лагерь» отнести Михаила Пряслина: «Я вообще не очень склонен делить людей на положительных и отрицательных…» Так почему нас должна волновать «положительность» или «отрицательность» Степана Лосича? — спросите вы. Да и не волнует

это вовсе. Другое дело, что задумываешься все-таки вот о чем. Главный герой романа — тот стержень, вокруг которого роятся идеи и думы писателя. И произведение, очевидно, создавалось не ради только странного, чудаковатого персонажа, сам факт существования которого в реальности вызывает сомнение. Хотя было и такое… Журналисты в конце 1980-х друг перед дружкой соревновались, чтобы поярче, покрасивей рассказать о судьбе крестьянина из лунинецкой деревни, несколько десятилетий после небольшого конфликта с милицией прятавшегося в глухих лесах и болотах. У Степана Лосича, разумеется, — несколько иное: к отшельнической жизни его привели сложные обстоятельства, когда в одно целое смешались и чувство ответственности, и страх, и сомнения. Насколько же прочный нравственный стержень отшельника, выписанного Резановичем? Может ли его герой быть той личностью, через призму мировосприятия которой можно заглянуть во времена ушедшие, однако такие близкие и важные для нас?

В эпоху социалистического реализма идейно-художественная «репутация» отшельника была бы очень и очень сомнительной. Но, признаюсь, я верю, доверяю Степану Лосичу. Его жизнь соткана из обычных человеческих составляющих — переживаний, тревог, боли, случайной радости. Из понимания того, насколько люди в этом мире связаны друг с другом.

Своим отношением к многосложному мирозданию Степан Лосич близок к героям Ивана Мележа, Василя Быкова, Ивана Чигринова. Поначалу жить в лесу его заставило понимание того, что от его действий зависит жизнь близких людей. Читая «Отшельника», наблюдая судьбу главного героя романа, не можешь не осознавать, что человек в мире — не одиночка. Общество, приняв на себя всю тяжесть мыслей и переживаний каждого человека в отдельности, знает, что сказать, что сделать, что в свою очередь человеку посоветовать. Как мир в себя вобрать и вместе с тем гармонично присутствовать в нем самому. Если бы и сейчас мы меряли гармонию взаимоотношений человека и мира приснопамятными догмами соцреализма, то, наверное, на строгий суд сразу вызвали бы автора «Отшельника»: так вам, сударь-господин, с отщепенцем Лосичем революцию, социальные реформы не совершить. Какое, в таком случае, отношение имеет ваш роман к гуманистической, призывающей к созиданию и утверждению нравственности литературе?.. Но как часто авторы, носители множества догм, забывали, и случается, есть такие, что забывают и сегодня: мир можно улучшить путем нравственных усовершенствований. И (вспомните Толстого Льва Николаевича!) не что другое, как нравственное самовоспитание личности, не обладает такой силой в утверждении морали, прогресса и даже настоящей красоты.

…Оставшись наедине со своими мыслями, своей памятью, выдержав многочасовые расспросы следователя, Степан Лосич готовится к последним минутам своей жизни. Он просит пригласить к нему домой священника. «Грешен я, — повторил старик и вначале сбивчиво рассказал батюшке об убийстве бывшего районного уполномоченного Семенова, а потом поведал всю правду о церковных ценностях, которые вот уже больше полувека лежали в земле на Красном Берегу.

……………………………

— Отпустите грехи, — попросил слабым голосом Лосич. — А ценности заберите в церковь. Только прошу вас, заберите их после моей смерти. После смерти… Хоть и не купил я за них ничего, кроме греха, а жалко мне их… всю жизнь с ними… Вот как… Теперь отдаю. Вроде как покупаю землю. Свою, наконец, землю…»

Степан Лосич сделал свой выбор. Церковные ценности не искусили его. И в этом — нравственная победа отшельника, которого многократно испытывала жизнь.

Кирилл ЛАДУТЬКО

«Лячыце мяне хутчэй!»

Эта книга писалась долго. В 1966 году автор сделал первые записи, в 2006-м — последние. Естественно, что самые разные события вошли в нее — и личной жизни, и — жизни страны. Что больше волнует автора — ответить трудно. Единственное, что можно сказать определенно: книга «Паміж кубкам і вуснамі» наполнена реальным содержанием.

Не только вспоминательные заметки включены в нее. Каждый человек время от времени задается вопросом: как жить? Ответы у всех разные, у каждого — свои. «Работай, как пчела, — высказывает свое мнение Казимир Камейша, — и чаще выходи за рамки своего улья».

Известна знаменитая фраза Сэмюэла Джонсона — «патриотизм — последнее прибежище негодяев». Но ведь и для нас с вами. На что и на кого надеяться, кроме как на родину и людей вокруг нас? (Да и Джонсон писал слово «патриотизм» с большой буквы…)

Гражданским чувством, болью пронизаны многие строки в этой книге.

«Чацвёрты блок Чарнобыльскай АЭС хавалі ў саркафаг разам з праўдай пра яго. Але праўда, як і радыяцыя, знаходзіць трэшчыны, каб прасачыцца. Яе ў саркафагу не ўтрымаеш». Конечно, эти строки отзовутся в душе каждого жителя нашей многострадальной республики.

Книга бессюжетна, как бессюжетна жизнь. Впрочем, нет-нет да и подбросит она такой поворот событий, что начинаешь думать о Создателе нашего мира.

Тема религии, веры не раз и не два встречается на ее страницах. И сопряжена она всегда с нравственностью, теми или иными событиями нашей жизни.

«Сёння шмат будуецца храмаў... Аднак няверных, злачынцаў на зямлі ўсё больш і больш. Чаму так? Відаць, надта многа пастак наставіў д'ябал, пакуль была яго воля».

Жизненную школу, судя по книге, Казимир Камейша прошел основательную. Как и у всех, были радости, огорчения и настоящие беды. Были и всем понятные уроки.

«Згінацца мяне вучылі нават маленькія дзверы ў склеп ці ў лазню. Там, калі не прыгнешся, абавязкова атрымаеш добрага гуза. З цягам часу я зразумеў, што самыя балючыя гузы тыя, якія атрымоўваеш, адчыняючы вялікія дзверы. Але згінацца так і не навучыўся».

Поколение Казимира Камейши пережило многое. Менялась жизнь, мир, создавались и разваливались государства. Менялась идеология великих держав. «Распальваю дачную печку газетамі са старой хлуснёй, якая нічуць не горшая за новую. А дата зверху, пад загалоўкам, змушае згадаць і нейкі свой забыты дзень, які ўсё ж застаўся ў памяці.

Жыццё само піша свой каляндар памятных дат, выкрэсліваючы з яго часам цэлыя гады».

Детство автора, как и большинства белорусских подростков его поколения, было бедным. Личный велосипед — недостижимая мечта. А до школы, в которой он учился, десять километров, туда и обратно — двадцать. Денег на велосипед в доме не было. Тем не менее велосипед у автора появился: продавец деревенского магазина Богданович, посочувствовав парню, подарил ему такое счастье. «Хай ездзіць твой малы, — сказал отцу. — А некалі раз-

багацееш — грошы вернеш». Понятно, как благодарен был подросток этому человеку!

Много лет спустя, наведавшись в деревню, услышал от матери, что некий Богдан на своем тракторе перепахал их участок и не взял за работу никакой платы. А был он внуком того человека, который когда-то подарил автору велосипед. «І расчуліўся я, ледзь не заплакаў. Дзякуй табе вялікі і даруй, што не змог аддзячыць хоць як-небудзь твайму дзеду».

Не только любовью к своей малой родине делится с читателями автор, но и горечью. Пройдешь по улице, а «живых» хат вокруг нее и десятка не наберется... Исчезают с лица земли не только деревни, но и леса, реки. Вот печальное воспоминание о реке детства Лубянке: «Часамі яна выплывае ў маім сне такой, як была тады, калі мы пераходзілі яе па кладачцы з дзвюх жардзін, з густымі кустамі лазы і алешын па берагах. Дзіўная рэч гэтыя сны: усё бачыш як жывое, як і было некалі, а прачнешся — яго няма».

Тема не новая, затрагивает она и горожан, и сельчан, но для человека, родившегося в той погибающей деревне, у той исчезнувшей реки, это — тема беды.

В старые времена нередко можно было услышать фразу: «Извините, я последнее время как-то не слежу за художественной литературой». Произносилась эта фраза с некоторой неловкостью, как бы с извинениями, словно чтение и есть основное занятие продвинутой интеллигенции. Даже очень толстые романы прочитывались, передавались из рук в руки, обсуждались, а если публиковались, скажем, в «Роман-газете» с продолжением, с нетерпением ожидались... Времена изменились, никто больше не извиняется, дай Бог успеть просмотреть tut.by, новостной канал по TV или недлинную публикацию в толстом журнале, «а вось у літаратуры час эпапейных раманаў яшчэ працягваецца», — замечает Казимир Камейша. Подтекст прост: время таких романов закончилось.

Конечно, книга коротких наблюдений и размышлений не может быть равноценной. Есть заметки настолько личного характера, что не воспринимаются как открытие посторонним взглядом и чувством.

«Толькі ў вялікім горадзе можна адчуць і зразумець, які ты сам маленькі і нязначны ў гэтым свеце», — говорит Казимир Камейша. С таким наблюдением можно и поспорить, поскольку маленьким и незначительным вполне можно почувствовать себя в любом месте Земли, но именно в большом городе есть возможность почувствовать себя незаменимым, великим. В нашей и мировой истории тому немало подтверждений. Но с продолжением этой мысли приходится согласиться: «Тут заўсёды аб чыйсьці вялікі боль трэцца чыясьці вялікая радасць».

Немало заметок в книге о сельских жителях, об их привычках и нравах.

Например, о том, что не принято в деревне хвастаться урожаем, наоборот — принято жаловаться на невезение, на дожди или палящее солнце. Но есть и исключения из правила: деревенские лодыри. Эти хвалятся даже тогда, когда огород у хаты зарос сорной травой, а в сарае и погребе свищет ветер... Надо сказать, что главные лексические да и философские богатства К. Камейши приобретены на его малой родине. Вот, к примеру, слова бабушки, попавшей на «скорой» в районную больницу: «Вы ж, дзеткі, толькі хутчэй мяне лячыце. Бо мне ў чацвер трэба на рынак ехаць, парасят купляць». Только в белорусской деревне могли прозвучать такие замечательные слова.

Кто есть белорус? Некоторое время назад этот вопрос часто звучал в обществе. «Я ўжо даўно не «поляк малы», хоць яшчэ не вырас у сапраўднага сярэдняга беларуса», — так отвечает на него Казимир Камейша. Немало у нас и «малых русских», однако ответить на него так, как Камейша, способны далеко не все.

Обычно писатели с большим удовольствием рассказывают о методах своей работы. Когда-то спорили о том, каким инструментом следует работать, причем, те, которые писали карандашами, не доверяли тем, которые — авто-

ручкой. И одновременно вместе дружно презирали тех, которые сразу — на машинке. Времена изменились, теперь ничем таким не похвалишься, у всех компьютеры-принтеры. Правда, можно рассказать, как возник замысел произведения, как шла работа и преодолевались трудности, как шли поиски образов, кульминационных сцен или, например, финала. Есть что рассказать и чем похвалиться и Казимиру Камейше. Впрочем, за него сказал деревенский дудар: «Лягу спаць, а ў вушах само паветра грае». Думаю, что знакомо это счастливое творческое состояние и Казимиру Камейше.

Известный российский писатель Георгий Семенов заметил, что жизнь в большом городе пробуждает интерес и любовь к природе. Наверно, так. Но любовь и знание часто не совпадают. Умение живо и интересно писать природу — редкое умение. Выросший в деревне, Казимир Камейша не только хорошо чувствует жизнь природы, но и умеет так написать о ней, что чувствуем ее и мы, городские жители, никогда не бывавшие в тех местах.

«На даху хаты залівіста выспеўвае шпак новай вясны. Рассыпіста бяжыць дымок туды, куды паказвае яму вецер. Халаднаватае сонца нясмела падсушвае за ноч падмерзлую глебу. «Даганяй мяне!» — зноў гукае мая новая вясна. А я чамусьці азіраюся туды, назад, на тое, што пражыта. Што там пакінута, я добра ведаю. Што там, наперадзе, будзем яшчэ бачыць».

Кто из нас не слышал, а то и не едал знаменитую архиерейскую уху! «І вось пачалося самае галоўнае — запраўка сагана. Да кінутай раней бульбы і цыбулі далучылася качка. Тут жа ў кіпяток паляцелі і добрыя кавалкі свежага карпа. І гэта яшчэ не ўсё. Аднекуль з'явіліся кансервы з тушонкай. Іх змесціва таксама глынуў кіпень. Хутка ўсё гэта забулькала, захадзіла густымі пухірамі. І тады прыйшла чарга перцу, лаўроваму лісту і солі. Ах, якія незвычайныя, смакоўныя пахі казытнулі нос! Нават сабачка, адплюшчыўшы свае чорныя слівастыя гузічкі, неспакойна завіхляў хвастом». Длинная цитата, но читаешь ее с удовольствием, словно и сам принимаешь участие в неком языческом празднике.

Есть в книге печальные строки философского характера. «Хто прыйшоў, той мусіць пайсці. Шчаслівы той, хто зусім не нараджаўся. Як не хочацца згаджацца і з тым, і з гэтым».

«Сумныя думкі заўсёды хочацца запіць нейкім вясёлым віном». Таким вином может послужить чувство юмора. «Люстэрка ў адрозненне ад лямпачкі ніколі не перагарае. У яго могуць глядзецца колькі хочаш прыгажунь, і ад гэтага ні яму, ні тым прыгажуням ніколі не будзе сумна». Да, мы любим, а порой и преклоняемся перед ними, красавицами, но и не упустим момента поиронизировать над их привычками и особенностями. Они слишком далеко, они недостижимы и непонятны — вот, видимо, в чем дело. А раз так — получайте. Юмор и ирония уравнивают всех, очень красивых и вполне обычных.

Хотите знать отношение нашего автора к семье и браку? Пожалуйста: «После брака кулаками не машут!»

Немало в книге заметок юмористических. К примеру, любовника материвдовы, человека из Сибири, ее дети называли Мамин-Сибиряк. Или, вспоминая строки Коласа «Мой родны кут, як ты мне мілы», автор вспоминает, что в детстве у него тоже был «кут» (угол), куда его ставили за провинности...

Не чужды Казимиру Камейше и ядовитые ирония или сарказм, в том числе к собратьям по перу: «Гаворыць, як піша. А выгаварыцца, спытаеш: «А што ён сказаў?» Похоже, это о ком-то из так называемых знаменитых... Что скажешь? Видно, заслужил.

«Паэт нагадаў мне самалёт, які адарваўся ад свайго гуку. Я ўжо і не бачу таго самалёта, толькі чую ягоны гук. Звышгукавы паэт!»

С немалой иронией относится он и к новым литературным течениям, например, к постмодернизму. По крайней мере, образец, который он приводит, говорит о многом:

Калі доўга стукаць
галавою
аб бетонную сцяну,
бетон стане цёплым.

Стихотворение называется «Больница». И Камейша резонно замечает: понятно, о какой больнице идет речь.

Чувство юмора свойственно многим литераторам. Вот шутка, оброненная однажды поэтом Анатолием Велюгиным: «А ведаеш, чаму ў нашым горадзе Ліда нельга мець радыётэлецэнтр? Бо кожны дзень давядзецца прамаўляць: «Гаворыць і паказвае Ліда». Как говорится, чтобы помнили...

Есть и строки горького юмора. Например, о внуке, видевшем, как его умирающего дедушку кормили с ложки. А когда старик умер и мальчику объяснили, что такое смерть, что придется дедушку похоронить, то есть закопать в землю, внучек горько заплакал:

— А хто ж яго там будзе з лыжкі карміць?!

Наверно, едва не в каждой белорусской деревне есть свой философ и свой остроумец, а правильнее — остряк. В деревне Камейши это дядька Юзаф. «Баба, як і чаромха: чым больш абломваеш, тым больш кучаравіцца і цвіце». Или: «Хваробы ў яго толькі на адзін чых, ды затое колькі стогну!»

Что есть писательство? Известный вопрос, популярный и среди профессионалов, и просто среди вдумчивых читателей. Можно предположить, что это — сотворение образа человека. И задача эта не простая. Каждый литератор отвечает на такой вопрос по-своему. Камейша сравнивает это искусство с искусством хорошего гончара. «Самае складанае ганчарства — гэта ляпіць чалавека, — говорит он. — Не верыце — запытайцеся ў Бога. Бо і яму ў гэтым сэнсе не ўсё ўдалося».

Метафора названия книги всем понятна, но и труднопереводима на русский язык. Вот что говорит сам автор.

«“Паміж кубкам і вуснамі” — гэта маё асабістае піццё і пітво, створанае без нейкіх там рэцэптаў, па выпадковай падказцы душы ды самога жыцця. Можа, і не кожнаму яно прыйдзецца да густу. Ну, пэўна ж, не кожнаму. І сам часам зморшчышся ад яго гаркоты. Але кубачак наш, пушчанскі, гліняны, зямны».

В этом и таится причина писательской удачи Казимира Камейши.

Олег ЖДАН



Віктар Гардзей. МАЛАЯ ДЗІЦЯЧАЯ ЧЫРВОНАЯ КНІГА. Ахоўная флора. Мн.: Беларусь, 2010.

Талантливый поэт и прозаик Виктор Гордей на этот раз рассказывает о редких видах белорусской флоры, прежде всего об исчезающих. Как и предыдущая его книга, посвященная национальной фауне, данная, несомненно, будет востребована воспитателями детских садов, учителями начальных классов, а также педагогами, занимающимися внеклассной работой. Книгу эту нелишне приобрести и родителям. Ведь это — своего рода учебник о природе. Даже не учебник, а настоящая мини-энциклопедия, богато иллюстрированная фотографиями. Оригинально ее построение: о растениях рассказывается в стихах, а также даются прозаические зарисовки. При этом названия растений приводятся как на белорусском, так и на русском языках. Своего рода введение в мир флоры начинается стихотворением «Кветкі роднай мовы»:

Цвіці, мая калючая шыпшына!
Пара святла і радасці прыйшла.
І матылёк зноў кружыць над лагчынай,
І зноў на кветкі падае пчала.

После этого рассказывается о десятках «краснокнижников», настолько интересно, что получаешь полное представление о том, как выглядит то или иное растение, узнаешь, чем оно особенно.

Мікола Ермаловіч. ВЫБРАНАЕ. Мн.: Кнігазбор, 2010.

Как и следовало ожидать, добрую половину объемного тома избранных произведений известного белорусского историка и писателя Миколы Ермоловича занимает его обстоятельный исторический труд «Беларуская дзяржава Вялікае Княства Літоўскае», сделавший в свое время настоящий переворот в белорусской исторической науке. Однако составитель книги, он же и автор комментариев Кастусь Цвирка, включил в нее и другие произведения писателя: публицистические и литературно-критические статьи, рецензии, беседы и стихи, а также часть переписки, в том числе и письмо от 30 июля 1983 года, направленное в редакцию журнала «Нёман». Но, как видно из содержания, это даже не столько письмо, сколько статья. В ней М. Ермолович вступает в полемику с Ф. Гуревич, которая «выразила неудовольствие по поводу моей рецензии на ее книгу «Древний Новогрудок».

«Выбранае» М. Ермоловича стало пятьдесят шестым томом книжного проекта «Беларускі кнігазбор».

Алесь Карлюкевіч. ЗОРНЫ ШЛЯХ БЕЛЫХ ГАРЛАЧЫКАЎ. Казкі. Мн.: Мастацкая літаратура, 2010.

Хорошую серию в 2008 году, работая в то время в издательстве «Мастацкая літаратура», придумала Алена Масло — «Казкі XXI стагоддзя». Художник же Людмила Рудаковская оригинально оформила эту библиотечку для маленьких читателей. Так и начали появляться книга за книгой. «Зорны шлях белых гарлачыкаў» Алеся Карлюкевича — очередная из них. Этот писатель, как известно, успешно работает на краеведческом поприще, о чем свидетельствуют несколько его книг, которые условно можно объединить под названием «Радзімазнаўства». Кстати, одна из них именно так и называется. В «Зорным шляху белых гарлачыкаў» писатель решил соединить два пласта — краеведческий и сказочный. Так появились сказки, благодаря которым мальчишки и девчонки через неожиданные приключения героев, невероятные ситуации получают знания по географии, истории, фольклору и тем самым, по сути, открывают для себя Родину.

Наталья Советная. ТАЙНА РУССКОГО ЦАРЯ. Санкт-Петербург, 2010.

Писательница Наталья Советная, живущая на Витебщине, в Городке, — из тех авторов, в отношении творчества которых понятие «провинциализм» просто неуместно. Она, ко всему, кандидат психологических наук, создает глубоко нравственные, наполненные общечеловеческими проблемами произведения, которые никого не оставляют равнодушными. Свидетельство этому — ее книга «За краем света», вышедшая в прошлом году в РИУ «Літаратура і Мастацтва». Правильность подобной мысли подтверждает и новая книга — «Тайна русского царя», в которой помещены исторические изыскания, предсказания святых о судьбе российского императора Николая II. Вторую часть этого сборника составляют рассказы православной тематики: «Пусть она живет!», «Воровки», «Покаяние», «Сашка». Герои этих произведений обретают душевное равновесие и спокойствие через веру в Бога.

Григорий Соколовский. ДОВЕРЯЯСЬ ЧУВСТВУ ОДНОМУ… Лирика. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010.

В своей новой книге Григорий Соколовский воспевает чувства (любви к Родине, к женщине и т. д.), без которых трудно представить себе жизнь человека. Конечно, при условии, если он живет цельно, полнокровно и если, как говорится, ничто человеческое ему не чуждо. А именно таким и видится лирический герой Г. Соколовского. Поэт признается: «Пишу с натуры… Так, чтоб получилась // Реальная картина бытия, // Чтоб в каждой строчке жилкой билась // Поэзия — избранница моя!» В искренности этих строк сомневаться не приходится, ибо в этом убеждает сама книга, которую, думается, истинные любители поэзии уже успели заметить, а те, кто еще не прочитал ее, обязательно сделают это. Ибо так хочется найти что-то для сердца, для души. В сборнике Г. Соколовского все это есть.

ЦЕРКОВЬ ПРИЗЫВАЕТ К ЕДИНСТВУ. Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Составитель Александр Велько. Мн.: Белорусская Православная Церковь, 2010.

В качестве эпиграфа к этой книге, безусловно, нужной не только для верующих, но и для всех, кто обеспокоен тем, что в наше время размываются нравственные критерии, забывается о том, что истинное спасение человека лежит через высокую духовность, приведено такое высказывание Святейшего Патриарха Кирилла: «…Нужно делать все возможное для того, чтобы узы наших народов, испытанные веками, были неразрывны; чтобы Православная Церковь была той духовной скрепой, которая удерживает в единстве культурное и цивилизованное пространство, это многоценное сокровище, доставшееся нам в наследство от предков». В сборнике представлены выдержки из выступлений, проповедей, бесед и интервью, в которых Святейший Патриарх Московский и всея Руси призывает к сохранению единства внутри Православной Церкви, а также к единству и сотрудничеству Церкви и государства, да и людей разных взглядов и убеждений «на уровне любого человеческого объединения — семьи, трудового коллектива, деревни, города».

Тамара Філіповіч. ПАДАРОЖЖА ПА АШМЯНСКАМУ КРАЮ. Тэкст на беларускай і англійскай мовах, пераклад Эльвіры Палінеўскай. Мн.: Конфидо, 2010.

Заочное путешествие по Ошмянскому краю можно совершить, познакомясь с этим фотоальбомом. Отличительное свойство издания уже в том, что автором его (как текста, так и большинства снимков) является не просто человек, по-настоящему увлеченный прошлым, но и руководитель предприятия, а ко всему общественный деятель: Тамара Филиппович более 30 лет является директором ООО «Ошмянский мясокомбинат», два раза избиралась

членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, ей присвоено звание почетного гражданина города Ошмяны. Увлечение фотоделом, интерес к национальной истории поспособствовали тому, что Т. Филиппович сделала сотни снимков (в альбом вошли только немногие из них), являющихся настоящими произведениями искусства, которые приглашают «разам рушыць у падарожжа па прыгожых і багатых на гісторыю пуцявінах невялікай часткі нашай Радзімы». Их дополняют снимки, взятые из других изданий, а также из архива церкви деревни Лоск Воложинского района и из Ошмянского краеведческого музея имени Франтишка Богушевича.

Татьяна Орлова. ТЕАТРАЛЬНАЯ КРИТИКА НОВОГО ВРЕМЕНИ. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010.

«Люблю театр, хотя постоянно делю свои симпатии между журналистикой и театроведением, — признается во вступлении к своей книге «Театральная критика нового времени» доктор филологических наук, профессор Института журналистики Белорусского государственного университета, известный театральный критик Татьяна Орлова и тут же добавляет: — Несмотря на экономические трудности, сегодня для театра счастливое время. Зритель вернулся. Для особенно привередливых есть выбор: кроме выступлений государственных коллективов ежевечерне играются десятки антрепризных спектаклей». В книге помещены статьи, «опубликованные в разное время в разных изданиях». Здесь нашлось место рецензиям на спектакли, эссе, научным статьям, а также творческим портретам театральных деятелей, среди которых такие яркие имена, как Александра Климова, Виктор Тарасов, Геннадий Гарбук, Ростислав Янковский, Мария Захаревич и многие другие. Закрывая последнюю страницу книги, ловишь себя на мысли, что «сегодня для театра счастливое время» еще и потому, что о нем пишут такие авторы, как Т. Орлова.

Евгений Борковский

Николай Зарицкий. ВЫСОКАЯ ВОЛНА. Стихи. Мн.: Кнігазбор, 2010.

С журналистом Николаем Зарицким мне довелось работать в газете Академии наук. Деликатный и скромный человек, добросовестный сотрудник. И автор строк о маме: *«Как жила себе тихо, / Так и ушла, / Но зато провожало / Ее полсела».*

И других, не менее пронзительных и точных строчек о людях, с которыми сталкивала жизнь. О том, что рядом с нами жил Поэт, расскажут стихи небольшого сборника, изданного на пожертвования друзей. Путешествуя по страницам книги, читатель заново откроет для себя неброскую красоту белорусских пейзажей, почувствет тепло рябиновых бус на девичьей шее, медовый запах замеса в дубовой деже, вздохнет о былых зимах, что «за ночку по крышу поставят сугроб», и бабьем лете, «коротком, как счастье». И, захваченный любовью, увидит как, будто в молитвенном экстазе, лирический герой станет устилать подступы к калитке, в которую войдет любимая, «золотыми слитками» — последними листьями, летящими с январского дуба…

Ольга Норина



Авторы номера

ГОРДЕЙ Виктор Константинович. Родился в 1946 г. в д. Малые Круговичи Ганцевичского района Брестской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, прозаик, переводчик, критик. Автор множества книг. Лауреат литературной премии имени И. Мележа. Живет в Минске.

ПОЛИКАНИНА Валентина Петровна. Родилась в г. Кричев Могилевской области. Окончила Белорусский государственный университет. Автор многих книг поэзии. Лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь, удостоена государственной награды Российской Федерации — медали А. С. Пушкина. Живет в Минске.

САЛАМАХА Владимир Петрович. Родился в 1949 г. в д. Бересневка Кировского района Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Прозаик, публицист. Автор книг прозы «На ўзмежку радасці», «Прывід у скураным крэсле», «Напрадвесні» и др. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Работает редактором отдела прозы журнала «Полымя». Живет в Минске.

ГРИГОРЬЕВ Владимир Леонидович. Родился в 1953 г. в Ленинграде. Учился в Белорусском политехническом институте. Поэт. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в Минске.

ЛОРА МУН (ТУРОВА Елена Викторовна). Родилась в 1965 г. в Могилеве. Окончила Белорусский государственный университет по специальности филолог. Режиссер, сценарист, поэтесса. Работает на киностудии «Беларусьфильм» — режиссер анимационного и игрового кино. Живет в Минске.

ГУСЕЙН ДЖАВИД (Гусейн Абдулла оглы Раси-заде). Родился в 1884 г. в г. Нахичевань (Азербайджан). Окончил духовную школу — медресе, литературное отделение Стамбульского университета (Турция). Яркий представитель романтизма в Азербайджане начала XX века, сыгравший огромную роль в формировании азербайджанской литературы прошлого века. Автор множества произведений, в которых нашли отражение философские мотивы, вопросы гуманизма и человеколюбия. Трагически погиб в ГУЛАГе в 1944 году.